

СТРАНИЦЫ МИЛБУРНСКОГО КЛУБА, 9

The Annals of the Millburn Club, 9
Slava Brodsky (ed.)



2019



**Александр
Басков**



**Слава
Бродский**



**Игорь
Ефимов**



**Наталья
Зарембская**



**Петр
Ильинский**



**Зиновий
Кане**



**Яна
Кане**



**Илья
Липкович**



**Анна
Мазурова**



**Игорь
Мандель**



**Лазарь
Мармур**



**Юрий
Солодкин**



**Аркадий
Шпильский**



**Бен-
Эф**



ISBN 978-1-936581-18-4



9 781936 581184

90000

*СТРАНИЦЫ
МИЛБУРНСКОГО
КЛУБА, 9*

*The Annals of the Millburn Club, 9
Slava Brodsky (ed.)*



*Под общей редакцией
Славы Бродского*



Manhattan Academia

Страницы Миллбурнского клуба, 9
Слава Бродский, ред.
Анастасия Мандель, рисунок на титульном листе

The Annals of the Millburn Club, 9
Slava Brodsky (ed.)
Stacy Mandel, drawing on the title page

Manhattan Academia, 2019
www.manhattanacademia.com
mail@manhattanacademia.com
ISBN: 978-1-936581-18-4
Copyright © 2019 by Manhattan Academia

В сборнике представлены произведения членов Миллбурнского литературного клуба. Его авторы – Александр Басков, Слава Бродский, Игорь Ефимов, Наталья Зарембская, Петр Ильинский, Зиновий Кане, Яна Кане, Илья Липкович, Анна Мазурова, Игорь Мандель, Лазарь Мармур, Юрий Солодкин, Аркадий Шпильский и Бен-Эф.

This collection features works by members of the Millburn Literary Club: Aleksander Baskov, Slava Brodsky, Igor Efimov, Ben-Eph, Pyotr Ilyinskii, Zinovy Kane, Yana Kane-Esrig, Ilya Lipkovich, Igor Mandel, Lazar Marmur, Anna Mazurova, Arkady Shpilsky, Yuri Solodkin, and Natalie Zaremsky.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА	5
АЛЕКСАНДР БАСКОВ	
ИСТОРИИ ПРОШЛОГО И НАШЕГО ВЕКА	7
СЛАВА БРОДСКИЙ	
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА	38
ИГОРЬ ЕФИМОВ	
«ЭРМИТАЖ» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПЛАВАНИЕ	66
НАТАЛЬЯ ЗАРЕМБСКАЯ	
АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА – ПОЭТЕССА, ПОЭТ	88
ПЕТР ИЛЬИНСКИЙ	
КЛЯТВА НАД ПРОПАСТЬЮ	104
ЗИНОВИЙ КАНЕ	
ЯЗЫК МОЙ – ВРАГ МОЙ	141
ЯНА КАНЕ	
КНИГА КНИГОЕДА	167
ИЛЬЯ ЛИПКОВИЧ	
СТУДЕНЧЕСКОЕ	187
АННА МАЗУРОВА	
ПРОКУРАТОР	208
STAROMĚSTSKÝ ORLOJ	213
ИГОРЬ МАНДЕЛЬ	
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, АТТРАКТОР	225
СИНДРОМ	228
ЛАЗАРЬ МАРМУР	
СТИХОТВОРЕНИЯ	235
ЮРИЙ СОЛОДКИН	
СКВОЗЬ БУРИ И ГРОЗЫ	249
АРКАДИЙ ШПИЛЬСКИЙ	
ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА	280
БЕН-ЭФ	
СТИРАЯ ГРАНИ	296

Предисловие редактора

В этом году Миллбурнский литературный клуб отметил свое пятнадцатилетие. За прошедшие годы клуб превратился в один из наиболее авторитетных русскоязычных литературных объединений Америки. За это время в его работе приняли участие около 300 человек. А на каждое заседание клуба приходят до 60 и даже 70 его членов. Как правило, клубные встречи происходят четыре раза в год. Все их участники – это лица, приглашаемые мной по рекомендации актива Клуба.

Миллбурнский клуб является рабочей площадкой для его членов, то есть для тех, кто имеет намерение постоянно или эпизодически участвовать в его работе. Заседания клуба всегда бесплатные – как для выступающих, так и для слушателей. И вообще, вся работа клуба не имеет коммерческой направленности. То же самое можно сказать и о нашем ежегодном альманахе, который непосредственно связан с работой клуба. Это издание не коммерческое. Мы располагаем его со свободным доступом на различных сайтах интернета. В частности, его можно читать бесплатно на сайте клуба www.nypedia.com.

В этом году произошло одно весьма печальное событие – после тяжелой болезни от нас ушла Аня Мазурова. Она была замечательным, неординарным человеком и блестящим прозаиком. Ее произведения украшали наш сборник. И вот в июне этого года я получил от нее прощальное письмо. А через несколько дней Ани не стало. Она успела еще прислать две свои небольшие работы. Они включены в сборник как дань памяти о ней. А в конце подборки ее работ помещены два коротких воспоминания об Ане.

Сборник этого года содержит в основном прозаические творения. Их авторы – Александр Басков, Игорь Ефимов, Наталья Зарембская, Петр Ильинский, Евгений Кане, Яна Кане, Илья Липкович, Анна Мазурова, Игорь Мандель, Юрий Солодкин, Аркадий Шпильский и я, Слава Бродский. Все эти имена знакомы

читателям по предыдущим выпускам нашего альманаха. Поэтические произведения на этот раз представили только два автора: Бен-Эфф и дебютант сборника Лазарь Мармур.

В целом сборник получился, как мне кажется, совсем неплохим. И он безусловно должен порадовать своих читателей.

Считаю своим приятным долгом поблагодарить Рашель Миневич за ту большую помощь, которую она оказала мне в процессе подготовки сборника к публикации.

Слава Бродский
Миллбурн, Нью-Джерси
19 октября 2019 года



Александр Басков (Бродский) – родился в 1937 году. Окончил Ленинградский театральный институт по специальности «театроведение» в 1961 году. Работал на телевидении в Петрозаводске и Ленинграде, в документальном и научно-популярном кино. Написал более 80 сценариев документальных и учебных короткометражных фильмов. В 25 лет стал членом Союза журналистов. В Америке с 1977 года. Печатался в газетах «Новый Американец», «Новое Русское Слово» и других изданиях. Книга литературных пародий «Извините за внимание» вышла более 40 лет назад. Недавно вышла книга «40 + 40». Сейчас на пенсии. Женат, трое детей и пять внуков.

Истории прошлого и нашего века

Я счастливчик.

Родился, как говорили, на два месяца раньше срока.

Не умер от брюшного тифа в два года.

Меня вывезли в сентябре 1941 года из Ленинграда последним поездом. И я не умер от голода в блокаду.

Отец и брат вернулись с фронта живыми.

Поступил в Театральный институт по чистой случайности.

Папку с моими главными курсовыми работами случайно уронил в Неву будущий кинорежиссер Александр Прошкин. Папка поплыла по кругу и приплыла обратно.

Годовая практика в лучшем театре страны – БДТ.

Военная кафедра в институте обещала, что я никогда не закончу институт и не получу диплом. Кафедру разогнали через месяц.

Работал на телевидении и в кино, встретил и знал интереснейших людей.

Прожил 40 лет в СССР и вот уже 42 года живу в США.

У меня не много друзей, но все они замечательные. Я горжусь знакомством с ними.

У меня трое взрослых детей, которые относятся ко мне с любовью и уважением. Могу рассказать и о пяти внуках.

С моей женой мы вместе почти полвека. В наше время это редкость. Значит, я все-таки счастливчик.

Как говорила моя мама – только бы не сглазить...

А чего бояться в моем-то возрасте?..

Жизнь прекрасна, если рядом люди, которых любишь.

О тех, кого знал

Бывает, вспоминаешь людей, которых встречал в молодости, их истории и жизни сегодня выглядят достаточно грустными... Но что поделать, «одних уж нет, а тех... долечим», как сказал один доктор. И с высоты нынешнего возраста автора все видится иначе, нежели было сказано или написано прежде. А если о ком-то вы никогда не

слышали?.. Ну, я и расскажу о тех, кого знал.

Написал я в своей книжке «40+40» о студенческих годах в нашем Театральном институте им. А. Н. Островского и подумал: а почему я почти ничего не знал о судьбе своих однокурсников? Весь курс – всего-то шестнадцать человек. Или семнадцать? Мы дружили, вместе отмечали дни рождения. Однажды на первом курсе напились до зеленого змия – каждый принес вино. Дома у Кости Палечека не было холодильника, и бутылки поставили в ванну, под холодную воду; этикетки смыло...

А потом закончили обучение и пропали друг для друга. Сразу после нас театроведческий факультет на Моховой улице закрыли и перевели на Исаакиевскую площадь, в здание с длинным названием – Ленинградский Государственный Институт Театра, Музыки и Кинематографии. Кто придумал нелепое сокращение – ЛГИТМИК?

Наш курс выпуска шестьдесят первого года дал не так уж много театроведов. Мы растеклись по стране. Иногородние вернулись в родные города. Наташа Свищева возвратилась в Саратов, Рая Земель – в Ригу, Лира Таранова уехала с мужем не то в Саранск, не то в Волгоград. Майя Смелянская, самая старшая из нас, вернулась в Таллинн, где ее муж служил на флоте капитаном подлодки (она всегда боялась за него). Дима Максимов вернулся в родную Якутию; говорили, он стал там министром культуры (а я много лет играл с ним в карманные шахматы на задних партах). Анвар Насыров, направленный изучать театральные науки из Башкирии, туда и вернулся. Умница и труженица Тася Каменер была из Николаева. Вот она-то поступила в аспирантуру и стала настоящим ученым.

Только ленинградцы никуда не поехали. Костя Палечек и Миша Кураев пошли в кино, редакторами «Ленфильма». Потом Михаил Кураев стал известным писателем, он лауреат всяких премий, в том числе премии имени нашего общего приятеля Сергея Довлатова. Знаю, что Светлана Дружинина долгие годы работала редактором в издательстве «Искусство». Я ее после института не встречал, но видел ее имя на книгах этого издательства. Светлана дружила с нашей Валей Галаховой. Тихая и скромная Валя вышла замуж за красавца-киноактера Анатолия Азо. Толя снимался много, часто в главных ролях, ездил на съемки, и однажды к Вале не вернулся. Потом Валентина заболела и умерла – одна из первых на нашем курсе.

Уехал на периферию только один ленинградец. Это был я. Уехал в Карелию, где открыли телестудию. В Петрозаводске навещала меня пару раз однокурсница Вета Хамармер, она служила экскурсоводом на теплоходах, плавающих по Онеге и Ладоге. Потом Вета уехала с дочкой и вторым мужем, поэтом Василием Бетаки, во Францию.

Было это в то не прекрасное время, когда советским гражданам приходилось оплачивать отказ от родного гражданства и возвращать расходы на образование. Мне рассказывали, как ее семья распродала шмотки, чтобы собрать деньги и откупиться от советской власти. Вета с Васей осели в Париже, работали в журнале «Континент», у писателя Владимира Максимова. Вета публиковала свои статьи под псевдонимом Виолетта Иверни. Журнал считался антисоветским, Максимова в брежневские годы лишили советского гражданства. О дальнейшей судьбе Веты ничего не знаю.

Через два года я вернулся в Ленинград, на студию в новый телецентр, что на улице Чапыгина. Меня взяли в эстрадный отдел музыкальной редакции. Часто видел в передачах друзей-актеров. С давним приятелем, режиссером БДТ Юрием Аксеновым, мы придумывали музыкальные программы. Мы сделали как-то инсценировки популярных песен, которые исполняли актеры драматических театров. А вот однокурсников встречать почти не приходилось. Разнесла нас жизнь по разным уголкам...

И стал я всех искать. Я написал в своей книжке «40+40» о Тасе Каменир, которая, по-моему, была самой достойной для занятия наукой среди нас, юных разгильдяев. И вот радость! Интернет все знает! Таиса Ефимовна Каменир живет и работает в Ярославле. Она поистине последний из могикан нашего курса, преподает в Театральной Академии историю зарубежного театра, кандидат искусствоведения. Тася дала мне телефон нашей однокурсницы, Верочки Соминой, тоже кандидата наук, живущей в Санкт-Петербурге. Я даже нашел выступление Веры на ТВ о том, как она пережила в нежном детстве ленинградскую блокаду.

Когда-то я написал о своем давнем друге, актере Гелии Сысоеве. О том, как мы дружили в годы учебы, как встречались в Петрозаводске, где оба работали: я – на студии телевидения, Гелий – в драмтеатре. Заслуженный артист России Гелий Борисович Сысоев сыграл в кино больше сотни ролей, работал в лучших театрах Санкт-Петербурга, в свои 83 до сих пор играет в разных питерских антрепризах. Я оставил сообщение на актерском сайте российского театра и кино, дважды написал ему, но ответа не получил. Потом узнал, что летом Гелий живет в деревне, где нет интернета и вроде нет телефонной связи. А я нахожу на компьютере и смотрю фильмы с его участием – давнюю «Свадьбу в Малиновке», где он такой молодой Андрейка, и «Зеленую карету», и совсем забытый фильм «Горизонт» режиссера Иосифа Хейфица, где Сысоев играл одну из главных ролей и пел в этом фильме малоизвестные тогда песни Окуджавы, аккомпанируя себе на гитаре. А на гитаре он играл прекрасно! И когда вернулся после съемок в Петрозаводск, мне

одному все эти песни сыграл и спел!

По моей просьбе Вера Сомина начала искать Сысоева, и в один прекрасный (действительно прекрасный!) день сообщает мне его телефон! Мне помогли выйти на *WhatsApp*, и в конце концов я дозвонился! По-моему, мы оба закричали от радости! И неожиданно Гелий сказал мне несколько фраз на очень приличном английском! Оказывается, он был на гастролях в Англии, играл в Лондоне моноспектакль, играл в «Ревизоре» в Нью-Йорке, и не знал, что я тут, совсем близко! Нашел я отзыв о нем в рецензии на спектакль «Поминальная молитва» (инсценировка Г.Горина знаменитого «Тевье-молочника») в Театре на Литейном. Постановку критик обругал, но написал, что единственная роль, из-за которой стоит посмотреть спектакль, – это роль, которую замечательно играет известный по многим кинофильмам актер Гелий Сысоев.

Такая была радость – поговорить со старыми друзьями; кажется, мои звонки их тоже обрадовали... И, надеюсь, еще поговорим.

Немного про институтскую жизнь

Вечер в институтском зале. За белый рояль садится старшекурсница Лара Келдыш, дочь известного советского музыковеда, и начинает играть и петь:

По аллеям центрального парка
С пионером гуляла вдова.
Пионера вдове стало жалко,
И вдова пионеру дала.
Как же так, вдруг вдова пионеру дала,
Почему, объясните вы мне...
Потому что у нас каждый молод сейчас
В нашей юной прекрасной стране!..

Я записал слова и сам исполнял эту песенку в компаниях с неизменным успехом! Спасибо, Лара! И пусть простят меня, что вспомнил эту не совсем приличную песенку сейчас... Профессор, доктор театроведения Лариса Георгиевна Пригожина (Келдыш) ушла из жизни совсем недавно...

На последнем курсе мы проходили такую науку – марксистско-ленинскую эстетику. Именно мимо проходили, чтобы после экзамена тут же забыть. Но экзамен сдавали легко. Потому что ассистент кафедры марксизма (была такая во всех вузах страны) выносила нам билеты накануне – переписать. Завкафедрой Локтев предлагал – экзамен начнется в 9, вы готовьтесь, а я приду в 9:30. Очень удобно было – и ему, и нам. Мы знали, где какие билеты лежат, в каком порядке. Никто не промахнулся. Каждый свой билет нашел, и курс получил фантастическое количество пятерок. Все были

довольны. Особенно Локтев.

И на той же кафедре я получил свою единственную в институте тройку – по политэкономии. Вечером накануне экзамена мы с Сергеем Довлатовым слушали футбольный репортаж из Швеции: на чемпионате мира шел матч СССР – Англия. И это было гораздо важнее политэкономии. Но я запомнил замечательную фразу: «При капитализме рабочий навечно прикован цепями к колеснице капитала». Наш преподаватель со странной фамилией Валивач спрашивает на экзамене: «Кто пойдет без подготовки? За это сразу ставлю на балл выше». И я тут же иду отвечать первым. Разумеется, толком ничего не знаю, но эту легендарную фразу вставляю в ответы на все вопросы. Валивач скептически на меня посмотрел, но пришлось поставить мне тройку. И я навсегда избавился от марксистской лжеэкономики.

Хотя нет, не навсегда. Впоследствии я вставил эту фразу в статью «Мой босс – акула капитализма», которую опубликовало «Новое Русское Слово». Сосед и приятель Валерий Молот перевел статью на английский, и мой босс Уолтер очень смеялся...

О старых актерах замолвите слово

Давно хотел написать о друзьях-актерах, особенно о Леониде Дьячкове. Хотя о нем и так есть много статей на Интернете. Актер он был талантливый, удивительно разнообразный, тяготел к трагическим ролям, сыграл несколько главных ролей в фильмах 60 – 80-х годов. У него была необычная манера разговора, он произносил слова замедленно, вдумчиво, и получалось многозначительно. Мы с ним дружили, крутились в одной компании с будущими актерами – Женей Меркурьевым, Сашей Прошкиным, Стасом Ландграфом, Сережей Дрейденем, Сашей Боярским.

Актерский курс в Ленинградском Театральном всегда славился. Студенты Бориса Вольфовича Зона и народной артистки Елизаветы Ивановны Тиме становились обычно ведущими актерами питерских театров. Однажды мы, театроведы, сидели на уроках первого актерского курса. Б.В.Зон спрашивал своих студентов, что они хотели бы сыграть в будущем. Странно, запомнил я только ответ Дьяčkова. Леня сказал: «Я хочу сыграть Идиота». Зон улыбнулся: «Догадываюсь. Вы хотите сыграть роль князя Мышкина в инсценировке романа "Идиот"»? «Конечно», – сказал Леня сконфуженно. Все тогда были под впечатлением, как сыграл эту роль Смоктуновский в спектакле БДТ. Роль князя Мышкина Дьячкову сыграть не пришлось, но Алиса Фрейндлих вспоминала, как блестяще он играл Раскольникова в спектакле «Преступление и

наказание» по Достоевскому в Театре им. Ленсовета.

Я давно собирался написать о Дьячкове. Утром подумал, а вечером – смотрю на *YouTube* фильм-спектакль «Пятый десяток», который никогда не видел, а в главных ролях – Леонид Дьячков, и ему там не только по роли, но и в реальной жизни лет сорок пять, да и Алиса Фрейндлих, с которой мы по утрам ездили в институт на пятом трамвае, уже не та девочка с мальчишеской прической. И в том же спектакле играли наши соученики – Борис Улитин и первая жена Дьяčkова, Елена Маркина...

Вернусь к институтским годам. Значит, Лена Маркина и Лиля Малкина, студентки курса Б.Петровых и А.Авербух, показывают свой придуманный этюд. Лиля – габаритная, с громовым голосом медсестра, а Ленка – тоненькая, болезненная, с тихим голоском. Медсестра Лиля уговаривает больную Лену съесть гороховый суп. А пациентка есть не желает. Медсестра долго и грозно уговаривает, и наконец больная признается: «Я это есть не могу. У меня (шепотом) понос...». А в аудитории народ с разных курсов. То, что Ленка была хитренькая и вроде не большого ума девушка, все знали. И в тишине раздается громкий бархатный голос театроведа Володи Чеснокова, будущего диктора Ленрадио: «Так у нее еще и понос?...» Хохот стоял – чуть экзамен не сорвали! Обе они – и Лиля, и Лена – впоследствии стали прекрасными комедийными актрисами. Вот так запомнился этюд. И вообще, курс этот называли по именам мастеров – Петровыхнутые и Авербухнутые!

Когда лет 20 назад в Америку приехала моя старая знакомая из Питера, первый вопрос к ней был – как там Дьячков? Она посмотрела на меня и грустно сказала: «Разве ты не слышал? (А что я мог в Америке услышать?!) Леня случайно узнал свой страшный диагноз (рак мозга) и выбросился с балкона четвертого этажа...». Трагические для российской жизни девятностые годы... А я хорошо помню, как Леня в своей неторопливой манере, выразительно и с юморком пел в нашей компании песню братьев Покрасс «Мы – красные кавалеристы, и про нас былинные речистые ведут рассказ...».

И уже нет Стасика Ландграфа, Толи Семенова (блистательно сыгравшего с Алисой Фрейндлих в «Варшавской мелодии»), моего однокурсника Кости Палечека, и многих других... Столько лет прошло... Странное ощущение: смотришь советские (и хорошие!) фильмы шестидесятых – семидесятых годов и видишь старых знакомых, институтских друзей.

Судьба актерского выпуска 1960 – 61-го годов была довольно счастливой. Почти все – известные, заслуженные и народные артисты России. Иван Краско, Олег Белов, Александр Прошкин, Сергей

Коковкин, Лилян Малкина, Игорь Волгин (недавно передавал мне привет – спасибо, Игорь!). Всех помню, но разве всех перечислишь...

Лиля Малкина, отличная актриса, играла в Ленинградском театре Комедии, послужила в «Современнике», дружила с Фаиной Георгиевной Раневской, а в голодные годы перестройки уехала в Чехию. Она снималась в немецких, французских, чешских фильмах и в российских сериалах, потом осела в Праге. С тех пор живет и с успехом играет в пражских театрах. Российское ТВ сделало о Лиле документальный фильм «Пани Малкина – чешская Раневская». Можно найти его на *YouTube*.

Часто вижу на ТВ и в кинофильмах Эммануила Виторгана. Он, слава Богу, жив и до сих пор востребован. Наверное, не помнит Эмка, что я был на его свадьбе с однокурсницей Тамарой, когда их пригласили в Театр имени Ленинского комсомола. Студенческая свадьба прошла в общежитии театра, где стояло пианино, на котором я ребятам подыгрывал. Зато развод был шумный, когда Эмка уехал в Москву с Аллой Балтер.

А мой приятель Саша Прошкин, с которым мы увлекались кинолюбительством, бросил актерство, закончил режиссерские курсы и стал кинорежиссером. Это его фильмы – «Увидеть Париж и умереть», «Холодное лето 1953-го» и очень достойная российская версия романа «Доктор Живаго».

P.S. Посмотрел документальный телефильм «Пани Малкина – чешская Раневская». В этом фильме о судьбе актрисы есть замечательная сцена. Встретились в Питере старые (что делать, действительно постаревшие!) подружки – Лиля Малкина и народная актриса России Лена Маркина. Вы помните их этюд в больнице? Встретились подружки 50 лет спустя (фильм 2008 года), и так же веселы, и так же хохочут! Подначивают друг дружку и так же полны неиссякаемого юмора и смешливости! Как хорошо, девочки, было вас снова увидеть!

P.P.S. Только что передали: умер Сергей Юрьевич Юрский. Мы не были близкими друзьями, но были знакомы по институту, хотя Сережа был на два года старше. Я проходил практику в Большом Драматическом театре, у Г. А. Товстоногова, а Юрский репетировал свою первую роль в театре – в спектакле «Трасса». Он играл молоденького рабочего в бригаде мужиков, строителей таежной дороги. Я сидел в зале, шла репетиция на сцене. Подошел Юрский: «Смотри, какую шапку я нашел в реквизите. (Шапка была с метровыми ушами, я такие в детстве на Урале видел.) Как ты думаешь, Гоге понравится?» Потом спросил, как мне первый акт и его картина. «Хорошо, – говорю, – только ты как-то со взрослыми

мужиками грубовато разговариваешь». Он: «А мне так велел говорить Товстоногов».

Оказалось, что наши отцы были знакомы. «Мой папа передает твоему привет!» Через неделю: «А мой папа передает привет твоему папе». Посмеялись.

Я думаю, Сергей Юрский был одним из образцов уходящего театрального поколения. Не знаю, кого можно поставить с ним рядом. Думаю, сегодня актеров такого класса, с таким влиянием на актерский мир России, уже нет... Не имело никакого значения его звание – заслуженный, народный...

Актер, режиссер, прозаик, поэт. Творец и художник каждую минуту. Его главной ролью стала совесть театрального и прочего мира. Его слово всегда было емким, достойным и следовало времени. Он предчувствовал и видел расслоение российского общества и народа, и горько было такой независимой от властей личности сознавать, что он ничего не может сделать, чтобы предотвратить моральное обнищание целой страны...

Чем дальше годы, тем теснее круг,
Тем меньше вижу близких лиц вокруг.
Не потому, что меньше стало лиц,
А потому, что меньше стало близких.
Содружество распалось, братства нет...

(С. Юрский. Из книги стихов и прозы «Жест».)

«Юрский период»

Я начал работать на Петрозаводской студии телевидения, и тут приехал новый главный режиссер, мой старый друг Юра Зайончковский. Я еще в студенческие годы навещал его в Вильнюсе, откуда он был родом. Помню огромный дом и сад. И отец, знаменитый адвокат, всегда при галстукe и шапочке – они были караимами. Каким-то образом караимов в Литве во время оккупации не тронули. Вместе с Юрой приехала его жена, актриса Людмила Живых. Юра прекрасно знал особенности и специфику телевидения. Он знал не только театральное дело, – он прекрасно разбирался в телекамерах и их возможностях, знал, как ставить свет в маленькой телестудии. Зайончковский работал быстро и уверенно, его опыт в студии ценили: главный режиссер сказал – значит, надо сделать.

Но однажды мы с ним поссорились. Мы с Эриком Ворониным написали сценарий новогоднего обозрения, короткие сценки с юмором. Сатира не шла дальше обывателя, который надевал три пары часов, – ведь при коммунизме все будет бесплатно!

Начало декабря. Уже утвердили текст, подобраны актеры. Юра

не репетирует. Ему то ли не хочется, то ли некогда. И только 28 декабря он читает сценарий – «Да вы не волнуйтесь, ребята, все сделаем! Я обещаю!» Начал репетиции 29-го, а выпустил обзорное 31-го, в новогодний вечер! И оно прошло на ура! Вот в таком темпе работали в провинции. Две-три репетиции – и в эфир!

Людмила Живых – худющая, глазастая, выпускница легендарного Шукинского училища. С Юрой она работала в Новосибирске, в Вильнюсе. Актрисой она была исключительно многогранной, играла классику, драму, комедию. Но ее долго не брали в Карельский драмтеатр – то не было свободной ставки, то боялись обвинения: все-таки жена главного режиссера телестудии... Мы занимали Люду в разных телепередачах, она блестяще читала дикторские тексты за кадром, особенно поэтические выпуски, играла в телеспектаклях. Через пару лет ее взяли, наконец, в драмтеатр. И она стала его ведущей актрисой! Людмила Филипповна Живых – легенда театра, Народная артистка, лауреат театральных премий, почетная гражданка республики Карелия. В конце жизни ее избрали председателем Карельского филиала Всероссийского театрального общества. О ней есть большая и очень теплая статья в Википедии с воспоминаниями коллег-актеров. Вот только Юра умер довольно молодым – у него было слабое сердце, но об этом никто не знал...

В штате режиссеров нашей телестудии было несколько Юриев: Юрий Хорош, Юрий Чевский, Юрий Рогожин. Годы, когда Юрий Зайончковский был главным режиссером Карельского телевидения, остроумно называли «Юрским периодом».

И как не рассказать о моем многолетнем друге Эрике Васильевиче Воронине. Судьба его была необычна даже для суровых сороковых и пятидесятых. Эрик сам точно не знал, кем он приходился маршалу авиации Новикову. Намекали, что он его внебрачный сын. После войны по личному распоряжению маршала юного Эрика Воронина зачислили курсантом авиационного училища. Прочулся он год, и вдруг Сталин отправил маршала Новикова в тюрьму, сегодня даже удивляться не приходится почему. Очень боялся вождь и учитель заговора высшего круга военных. Эрика мгновенно вышибли из училища, но он поступил в Петрозаводский пединститут и закончил его с отличием. Стал учителем физики в обычной средней школе.

Но таланты у Эрика были разносторонние, энергия просто зашкаливала. Он устраивал олимпиады по физике, водил своих учеников в лыжные походы, организовывал концерты самодеятельности, сам ставил спектакли и играл в них. И тут как раз открыли Петрозаводскую студию телевидения. Эрик ушел из школы,

стал ассистентом режиссера. Очень скоро Воронина повысили до режиссера детской редакции – все-таки учитель.

Через десять минут после нашего знакомства, не слушая возражений, Эрик повез меня на стареньком «Москвиче» к себе домой, обедать. Его популярность в городе была необыкновенной. Идешь с ним по городу, каждый второй здоровается: «Здравствуйте, Эрик Васильевич!»

Мы делали телепередачи, помогали друг другу, виделись и на работе, и дома. У него была замечательная и преданная жена Инна, два прекрасных сына. Уже после сорока он поступил в наш Театральный институт на режиссерский факультет и окончил его с отличием. Мы общались и после моего возвращения в Ленинград. Приезжая на сессию, Эрик останавливался у нас.

Когда стало возможным звонить из Америки в Россию, не рискуя подвести советских граждан, я позвонил всем друзьям в Петрозаводск. Первым делом – Эрику Воронину. Он ответил без удивления – «Привет, Саня», – будто мы виделись два дня назад, и таким тихим голосом, что я насторожился. Он ничего не сказал о себе. Только когда я снова позвонил, его младший сын рассказал, что в то время Эрик был смертельно болен. Семью почти сразу постигла вторая утрата – умер старший сын Эрика, после такой же болезни. А меня по наводке младшего сына Воронина разыскали из вечерней газеты Петрозаводска и просили рассказать, что я видел 11-го сентября...

Одна история не имеет отношения к телевидению. В центре Петрозаводска было кафе «Молочное». Ассортимент простой: суп молочный и сосиски с зеленым горошком. Кафе находилось в здании, где жили актеры, большинство из них – мои приятели. Мы забегали туда наскоро перекусить. Официантка обслуживает – всё, как в приличном заведении. А за соседним столом расположились два мужичка. Явно приезжие, лесники – ватники, высокие сапоги, шапки-ушанки. И что-то им очень некомфортно. Неохотно похлебали пустой супчик и тихо вытаскивают бутылку водки, «маленькую», четвертинку. Только собрался один разливать, как подскочила официантка Валечка и закричала: «Это что такое! А ну, убрать немедленно!»

Мужички доели сосиски, и так обиженно и молча пошли на выход, что мне стало искренне их жаль. Это была живая картинка – несолоно хлебавши. Не дали людям нормально пообедать...

Должен признаться – очень люблю Карелию. Люди там замечательные, гостеприимные. Как меня привечали в Кеми, я уже писал. Газета «Советское Заполярье» (выходит с таким названием до

сих пор) 14 марта 1964 года сообщила о главных событиях страны. Слева на первой странице – заметка: визит Хрущева в Афганистан. А справа – мой визит в Кемь. Заметьте – такого же размера и тем же шрифтом. Вот так!

Местный человек в гостинице охотно расшифровал мне слово Кемь. Якобы, когда Петр Первый ссылал провинившихся на Соловки (архипелаг сотни островов в Белом море, недалеко от Кеми), он писал буквы сокращенно, посылая бояр бранным словом к определенной матери. Отсюда и родился город КЕМЬ...Так или нет, не знаю. Википедия объявляет эту историю топонимической легендой. А может, так и было на самом деле?..

Последние из семьи Люком

Моя невестка Маргарита закончила Ленинградское хореографическое училище во время войны, в эвакуации в Перми. Это был класс легендарного педагога Агриппины Яковлевны Вагановой, у которой учились великие звезды советского балета тридцатых – сороковых годов. (Достаточно вспомнить их имена: Уланова, Дудинская, Чабукиани.) Потом Маргоша служила в ансамбле Карельского фронта и вышла замуж за моего брата Леву, который служил там же. После демобилизации они вернулись в Ленинград с сыном, моим тезкой, – его назвали Александром. Они расписались 18 апреля 1945 года. С тех пор в семье этот день праздновали вместе – их юбилеи и мой день рождения.

Маргарита была единственной племянницей довоенной примы Кировского балета Елены Михайловны Люком. Выйдя замуж, Маргоша сохранила свою фамилию. Елена Люком танцевала в Мариинском-Кировском балете долго, ее имя еще в начале века упомянул в своем дневнике сам Александр Блок: «Люком – красный микроскопик...» (ее концертный костюм был красного цвета). Начинала она балетную карьеру еще в 1909 году, восемнадцатилетней, а закончила в пятьдесят лет, и прощальный бенефис Люком состоялся 23 июня 1941 года. Несмотря на первый день войны, ее концерт в Кировском театре в переполненном зале не отменили! Партнерами бенефициантки в тот памятный вечер были Уланова, Вечеслова, Чабукиани, Дудинская, а роль Дон Кихота в отрывке из балета исполнил сам Николай Черкасов. Я помню газету-многотиражку Кировского театра оперы и балета, посвященную бенефису Люком, датированную 22 июня 1941 года.

Маргоша была невысокой, скорее даже маленькой, располневшей после рождения сына. Еще студенткой она танцевала на сцене театра в номере «Кот и Кошечка» в «Щелкунчике». После

войны и рождения сына ей пришлось забыть о балете. Не знаю, как она приняла перемену в судьбе, но на моего брата она смотрела такими влюбленными глазами, что даже я, мальчишка, понимал: он для нее – смысл всей жизни. Белобрысая, с косичками, вроде бы не видная рядом с красавцем-брюнетом с роскошными выщипанными волосами, она никогда не пользовалась косметикой. Может, на это тогда не было денег, это ведь были первые послевоенные годы. В ее голубых глазах светились такие искренность и доброта, что она мгновенно вошла в нашу семью. Родители мои обожали Маргошу! Почему я никогда не спрашивал ее о родне? Кто родители, были ли у нее братья, сестры? Может, существовала тайна, о которой не говорили вслух? В восемь лет простительно не спрашивать, но потом-то... Это сегодня мы такие умные.

Елена Михайловна навещала нас, всегда с конфетами для меня и своего внучатого племянника Сашки. Детей у нее не было, но были родные сестры, пережившие блокаду, я звал их тетя Соня и тетя Зина. Их мужья погибли в ленинградском ополчении. Сестры тоже были бездетными. Мне они тогда казались старушками, а было им чуть-чуть за пятьдесят. Они служили медсестрами всю войну и блокаду Ленинграда! Они тоже приходили навещать Маргошу и поиграть с нами в карты и в лото. Тетя Соня была глуховата – или притворялась, что не слышала, какая масть козырная. Жутьничала в лото, поставив бочонок с номером не на ту цифру, и кричала – «квартира!» Это означало, что линия из пяти цифр скоро будет закрыта (все то же самое, что в американском бинго), на что тетя Зина говорила: «Соня, перестань дурака валять! Ты в приличном доме!»

Потом брат завершил образование, и его распределили на работу в Биробиджан. Ближе работы для журналиста, окончившего университет с красным дипломом, не нашлось. На него пришел запрос из редакции Ленинградского радио, где Лева внештатно работал долгие годы, но кто-то этот запрос утаил. На дворе стоял 1951-й год, время поиска космополитов известного происхождения.

Брат отработал по распределению положенные три года ответственным секретарем газеты «Биробиджанская звезда» (какая это была звезда, не уточняется, Моген Довид – тоже звезда, шестиконечная). Он присылал свои обязательные статьи о лауреатах Сталинской премии тех лет, ныне давно забытых. Кто их сегодня помнит – этих Бубеннова, Бабаевского, Сурова? Семья брата приезжала в отпуск, поезд из Биробиджана шел восемь дней. Жители Дальнего Востока копили отпуск за три года, чтобы он был трехмесячным. Брат сказал мне тогда: «Не надо идти в журналистику, наплачешься. Неблагодарная профессия». Не послушал я умного брата, потом все же вляпался...

Наше семейство собиралось объединиться снова в Ленинграде. Однако летом брат утонул, спасая двух мальчишек, сыновей приятеля, затянутых в водоворот на реке Бире. Их спас, вытолкнул, сам не успел... Родственники одолжили родителям деньги, брата перезахоронили в Ленинграде. В день его тридцатилетия, 10-го декабря 1954 года.

Маргарита с Сашкой вернулись в Ленинград. Разумеется, к нам, мы же родные. А через пару лет приехал из Москвы Израиль Адаскин, близкий друг моего погибшего брата. И попросил руки Маргариты – у нее и у моих родителей. Он потерял жену во время родов второго ребенка. Маргоша уехала в Москву к Адаскину. Я был огорчен и спросил, как она может уехать от нас, да еще с Сашкой. И она ответила мне, подростку: «Потому что мне нужна моя жизнь».

Она воспитала троих детей – кроме собственного сына, теперь были еще Галя и Сашок, так звали младшего, чтобы не путать с моим племянником. Поначалу Маргоше было очень трудно. Галя росла трудным ребенком. Она помнила мать и не желала принимать мачеху. Только когда подросла, она поняла, сколько сил положила нелюбимая мачеха на троих детей. Все дружили с Маргошей. А Галя стала врачом. Работая на киностудии, я часто ездил в Москву в командировки и останавливался у Адаскиных, это был и мой дом. Мне повезло, я еще успел повидать Маргошу, приехав в Россию в 1991 году.

Иногда пересматриваю книгу Ольги Розановой «Елена Люком». Только в книге о замечательной балерине да в библиографиях по истории советского балета осталась эта фамилия... А редактор книги – Светлана Дружинина, моя однокурсница.

Целина ты моя, целина...

После второго курса нас отправили на целину. Добровольно: если не согласишься, могут выгнать из института. Убирать целинный урожай ехали будущие актеры, театроведы и художники-постановщики. Из режиссеров был только Леня Белявский – он не хотел отпускать невесту с актерского курса. Их отпустишь, а потом не найдешь... Ехали весело, в товарных вагонах. В нашем вагоне человек пятьдесят из Театрального. Главный лозунг в дороге – девочки налево, мальчики направо... если приспичит. Ехали до Казахстана дней семь. Жара была страшная, мылись на станциях под трубой для паровозной воды.

Приехали на край земли – как называлось это место, не помню. Разместили нас в гигантском амбаре, куда, видимо, будут засыпать богатый урожай. Но зерна еще не было, по периметру

зернохранилища стояли койки с железными пружинными матрасами. Скрипели они очень. Там ночевали девушки из Библиотечного, парни из Военно-механического и мы, Театральный. Ах, как нам нравились студентки – библиотекарки, красотки как на подбор. А меня ждала в Питере моя девушка. Она прислала мне письмо, несколько фраз почему-то по-французски. Перевести помог Леня Белявский, режиссеры – они же такие умные! Вечерами мы пели у костра, я тогда вывез свое главное богатство – популярные туристские песни тех лет.

Что мы делали на целине? А то, что поручали. Лучше всех устроились наши художники Эдик Кочергин и Олег Целков – будущие знаменитости три месяца оформляли местный клуб. Сальвадор Дали, Энди Уорхолл и сам Пикассо взвыли бы от восторга – так расписали наши ребята сцену и клубные стены. Нельзя сказать, что шоферам, трактористам и строителям эта работа очень понравилась. Помню, один мужик сказал: «Абстраки какие-то».

А мы – неумелые – были на подхвате. Возили гравий, копали на жаре канавы, землянки. Однажды я работал на заводике, где готовили саманные кирпичи из смеси глины, соломы и всякого мусора. Там мой партнер и приятель, а ныне заслуженный деятель искусств, режиссер и сценарист Сергей Коковкин отдал мне палец вагонеткой – случайно, конечно. Как-то мне дали замечательную работу – клеймить скот. Молодых бычков было около сотни, их загоняли по одному в узкую клетку. Там на рога накидывали петлю. Загончик открывали, и бычок пулей вылетал на свободу. Вот в этот самый момент я должен был его остановить, взяв быка за рога (в самом буквальном смысле этого слова!), быстро свалить и удерживать. Двое ветеринаров выворачивали бычку шею и брали анализ крови. Потом какими-то средневековыми щипцами ставили клеймо на ухо. И я отпускал бычка. Целый день я себя чувствовал таким тореадором, честное слово, это было так необычно!

А еще мы копали картофель. Когда осенью студентов почти поголовно посылали «на картошку», было мало радости ковыряться в грязи и выкапывать этот областной горошек. Там главным было – отлынивать от работы, что мы успешно и делали. А первый урожай этого фрукта на целине был действительно огромным: в ведро влезало штук восемь картофелин, мы легко перевыполняли норму. Ребята веселились: ударники на картошке Римма Шантур-Шидловская и Сашка Бредов-Бродский... За что им две нормы считают, их же четверо! Недавно Вера Сомина рассказала: оказывается, был такой план – поженить нас. Вот был бы смех – четыре фамилии на двоих!

Вообще-то аналогичный прецедент случился в Ленинградской Академии художеств. Мне рассказала эту историю Наташа Л., студентка-искусствовед. Якобы поженились двое с их факультета. Его фамилия была Голенький, ее – Хрущева. И будто бы хотели они расписаться под двойной фамилией: ее была бы Хрущева-Голенькая, а его – Голенький-Хрущев. Вся Академия ржала неделю! Конечно, взять такую двойную фамилию им не разрешили.

Метрах в трехстах от амбара стояли общественные туалеты, а около амбара – агрегат под названием «сенопресс». Его назначение – подбирать сено или солому и вязать проволокой пакеты. Сенопресс работал лишь однажды, всего час. Потом этот монстр стоял, солому не вязал, зато мог хорошо ездить. А сооружение огромное, в длину метров семь, громоздкое как танк. Десятки ступеней, поручней, мостиков и переходов. Водительские права из всей нашей оравы были только у одного – у Анатолия Лазо. Он вправду был племянником легендарного героя гражданской войны. Его определили в Библиотечный институт потому, что он нигде не задерживался из-за отсутствия мозгов и нежелания учиться. Зато в Питере у него была своя машина. В Библиотечном институте он пользовался исключительным вниманием, как петух в курятнике. Ему, шоферу с правами, доверили сенопресс. И начиналось большое веселье: на агрегате повисали одновременно человек тридцать, Толя Лазо запускал двигатель и на этом дребезжащем танке с шумом и гамом вез народ в туалет.

Электричества в нашем гигантском спальном амбаре не было. Проснувшись ночью, можно было услышать шепот, тихие смешки и скрип пружинных коек. Тайные ночные свидания...

Не знаю, каким выдался урожай в этом совхозе. Когда мы третьего октября уезжали домой, спелые колосья на полях лежали под снегом. Вот такая целина...

Настоящие полковники

Неожиданно в нашем институте открыли военную кафедру. Из будущих театроведов и актеров готовили офицеров запаса. Без нас Советская армия никак не смогла бы справиться с заокеанским супостатом. И вместо долгожданных каникул нас отправили в военные лагеря на подготовку. Там наши палатки – Театрального, Консерватории и Института физкультуры – стояли в лесу, в военном городке под Выборгом, вдали от населенных пунктов. Вечером никуда не смыться, не погулять. Рядом – финская граница. Та самая, что на замке у советской власти.

Командовал нами старшина Резинкин. Старшина был суров –

когда еще дадут покомандовать будущими офицерами! Потребовал, чтобы мы разучили маршевую песню и хором пели ее в строю. Не помню, кто предложил... Песней это хулиганство назвать было трудно, мы в шутку звали ее «Курсантская лирическая»:

Там, где полковник не пройдет,
Где подполковник не промчится,
Тяжелый танк не проползет,
Туда наш взвод ходил мочиться...

Остальные куплеты в темпе марша целиком и полностью состояли из нецензурной лексики. Однако старшина в текст не вникал. Главное – хорошо маршировать! Молодцы, товарищи артисты! Хорошо поете!..

Однажды мы шли маршем и пели это нецензурное произведение. Неожиданно на холмике справа от нашей колонны возник какой-то генерал: «Взвод, стой!» Остановились. «Вольно!» Маленький, толстенький и очень старенький генерал оказался начальником суворовского училища. И вдруг он обратился к нам каким-то просящим тоном:

– Товарищи курсанты, вот что я скажу... песня эта ваша, ведь у меня дети, совсем молоденькие ребятишки – суворовцы, им всего лет по десять... Вы бы все-таки эту песню... В общем, не надо это петь возле наших палаток... Надеюсь на вашу сознательность...

И мы старенького генерала уважили, больше хулиганскую песню в строю не пели. А старшина попросил текст песни переписать. Сказал – для генерала. Врал, наверное...

В конце нашей военной практики нас бросили в учебное наступление. Автоматы заряжены холостыми патронами, мы бежим через лес, кругом полно белых грибов, мы их отстреливаем автоматными выхлопами, сзади идет капитан, собирает грибы в мешок... Вот так мы наступаем день, потом бежим второй, поздно вечером нас перевозили через широкую реку на плавающих бронетранспортерах... Помню странный сгусток сознания – мы озлоблены, озверели... Если сейчас нам прикажут стрелять настоящими патронами, мы же будем убивать и ни о чем не думать!..

Уже темнота, наше бравое наступление захлебнулось, мы валимся в какие-то траншеи, и атакующая братия засыпает...

Я проснулся рано, на часах – пять утра. Напротив, метрах в двухстах, – заброшенный, черный от старости домик, понимаю, что это бывшая финская усадьба, а у меня над головой куст спелой красной смородины. Ягод такого гигантского размера я никогда не видел! Размером с советский пятак! В этом пограничном лесу никого не было с финско-советской войны, лет двадцать...

Дядя Сеня и тетя Ида

Как я мог забыть – не написал раньше о двоюродном брате отца! Дядя Сеня, Семен Яковлевич... Столько с ним связано с самого детства и до последних дней жизни в Ленинграде! Дядя Сеня был уроженцем Крыма, как и мои родители. Кажется, он и его жена Ида дружили с нашей семьей всегда, потому что все мои детские годы были связаны с ними, с их комнатой, а потом и квартирой на улице Плеханова, дом 34а. Дядя Сеня – коренастый, невысокий, с буйной шевелюрой и седой прядью посредине... Сейчас, когда вижу портрет Лили Брик, думаю, что тетя Ида была такого же жгучего южного типа, только гораздо ярче и добрее – лицом и особенно глазами... И тоже помню седую прядь... Да и фамилия у них была какая-то близкая, родная. Любичи.

Дядя Сеня был футбольным болельщиком, когда-то он играл за сборную Крыма. И стал брать меня с собой на футбол. Было мне тогда лет десять – значит, болельщик я уже лет семьдесят с хвостиком. Впечатления от игры «Зенит» – «Динамо» я помню и теперь, много лет спустя.

Своих детей у Любичей не было. Двое младенцев тети Иды умерли при рождении – может, поэтому дядя Сеня и тетя Ида так были привязаны к мальчишке. Мы с дядей Сеней почти каждую неделю встречались, садились на трамвай, ехали на стадион «Динамо» и весь вечер проводили вместе. А уж атмосфера праздника на стадионе!.. Даже когда в Ленинграде появился стотысячный стадион имени Кирова, было уже что-то не то. Исчезло дружески-родственное отношение к футболу, которое витало в воздухе на стареньком «Динамо», где болельщики не разделялись, как теперь, на своих и чужих. А любимое мороженое в вафельном стаканчике было такое вкусное!

Когда я вырос, дядя Сеня рассказал мне, как его в начале тридцатых посадили. Он был директором заводика, и его арестовали за кражу на складе, к которому он не имел никакого отношения. Без суда отправили на строительство Беломорско-Балтийского канала. То была первая стройка СССР, где сотни тысяч зэков копали этот канал буквально руками. Дядя Сеня был бухгалтером, его расконвоировали, то есть он мог ходить по всей территории без охраны. Умудрившись выпросить неделю отпуска, он тайно поехал в Москву, где добился приема у всесоюзного старосты, как тогда называли Михаила Ивановича Калинина. Он прошел по паспорту друга и рассказал Калинин свою историю как историю незаконно посаженного родственника. Потом дядя Сеня вернулся на стройку, где ежедневно от непосильной, каторжной работы и от голода

умирали десятки и сотни заключенных. Известно, что за 20 месяцев на строительстве канала погибло более 12 тысяч человек.

Даже в те кошмарные времена случались чудеса. Через месяц пришло письмо об освобождении С.Я.Любича. В виде извинения, что ли, дядю Сеню назначили директором фабрики елочных игрушек в Ленинграде. Тогда у нас дома появилось два ящика блестящих ярких шариков, елочной мишуры, блессток, матерчатых человечков, которые и располагались каждый Новый год на нашей елке. Почему-то я особенно любил фигурку почтальона. Того, что с толстой сумкой на ремне. Даже укладывал его под подушку, когда игрушки прятали в ящики после выноса елки на свалку.

Во время войны дядя Сеня был начальником санитарного поезда. И всю войну с ним ездила шеф-поваром тетя Ида. Она рассказывала, как во время остановок в Польше голодные польские женщины приходили просить работу: «Пани, тшеба пшепадло простирач?» (Надо простыни постирать?) Это звучало довольно забавно. А дядя Сеня добавлял: «И она им хлеб отдавала, из своего пайка...» И это было уже не так смешно...

Главным в семье Любичей была, конечно, Ида Ильинична, дядя Сеня слушался ее беспрекословно. Но при этом хитро нам подмигивал – дескать, пусть говорит... Тетя Ида потрясающе готовила. Мы всей нашей семьей приходили к Любичам на дни рождения и просто так. Однажды в Новый год без четверти двенадцать ночи в их дверь позвонили. Пришли три музыканта из легендарного питерского ресторана «Кавказский», которых пригласил дядя Сеня, – он сделал жене сюрприз на Новый год! Они играли на своих экзотических дудках и барабанах всю новогоднюю ночь. В этой одной комнате Любичей! Ушли утром.

Иногда дядя Сеня брал гитару и напевал песню из прошлого:

Колокольчики-бубенчики динь-бом...
Завтра утром на работу не пойдём.
Пусть взрывают динамит и аммонал...
На кой черт нам сдался ваш канал.

Потом у дяди Сени начались проблемы с больными ногами. Он ушел на пенсию, инвалиду войны дали «Жигули» с ручным управлением. Самая большая сложность, говорил он, когда в машине сидит тетя Ида. Она руководила! Говорила, куда и как ехать: «Он же правил не помнит!» Дядя Сеня посмеивался, но ехал. Так и умер однажды, прямо за рулем. Тети Иды с ним в тот день не было. А то бы ничего не случилось!.. Я так думаю. Она бы не позволила ему умереть...

Как меня вербовало ЦРУ

После второго курса я собирался поехать в Литву, где отдыхали родители. Но тут пришло письмо из института: нас отправляют на целину (разумеется, совершенно добровольно). Родители на даче. Думаю, надо пойти к тетке пообедать. Жаль, Любичей дома нет. А в одном квартале – ресторан гостиницы «Астория». Тем более, я перед отъездом стипендию получил. Это та самая «Астория», где Есенин погиб. Почему-то тогда еще и пьесу ставили в советских театрах «Гостиница “Астория”» – о временах ленинградской блокады, не о Сергее Есенине.

У ресторана – очередь. А вы видели при социализме ресторан без очереди? Ладно, мы не гордые, постоим. Передо мной человек пять, говорят по-английски. Американцы. И поскольку я только что сдал зачет по английскому (мы заучивали наизусть «Школу злословия» Шеридана на языке автора), я довольно нагло спросил этих ребят, какого черта их американская армия в эти дни полезла в Ливан. На что они чуть ли не хором спросили – а что ваша Красная армия делает в Венгрии? У всего мира была тогда на слуху кровавая история венгерского восстания против коммунистов. Поговорив на чуть повышенных тонах, мы, однако, мирно вошли в ресторан, и они пригласили меня за свой стол. Четверо парней, девушка и я. Они рассказали, что в Ленинграде всего на три дня, проездом в Швецию, где будут учиться следующий год по студенческому обмену. Их кормили по каким-то талонам, я заказал вино, мы эту бутылочку распили за дружбу и решили дружно прогуляться до гостиницы.

Жили они в «Европейской» (хоть и студенты, но американцы!). Дошли мы до гостиницы, и они позвали меня к себе. Заходить туда советским гражданам не рекомендовалось. Расположились мы в номере девушки. Меня угостили кока-колой и жвачкой. Они с любопытством и легкой усмешкой смотрели, как я стал эту жвачку жевать. С опаской. Очень медленно. Впервые в жизни. Мы проговорили часов до двух ночи, никто в номер к американцам не заглядывал, ребята были очень милы и подарили мне какие-то сувениры, сигареты, жвачку. Особенно хороша была девушка, она тепло со мной разговаривала, и мы с ней обменялись адресами.

Через два дня я уехал на целину. Вернулись мы в начале октября, и дома меня ждала открытка от этой девушки, имя которой я, к сожалению, забыл. Всего несколько слов – привет от ребят, они учатся в стокгольмском университете и желают мне всего наилучшего. Вот и все. А через пару недель я получаю письмо – официальное приглашение посетить знаменитый дом на Литейном проспекте, многоэтажное здание КГБ. В Ленинграде его звали

«Большой дом». Иду, разумеется. Страху не чувствую, потому что никакой вины за собой не знаю. Мужик в штатском встречает меня довольно приветливо, спрашивает, где я учусь. «О, в театральном!..» Как прошло лето, и понимаю ли я, почему меня вызвали. Честно говорю – понятия не имею. Тут он и стал мне, дураку, объяснять. Те ребята, с которыми я встретился в ресторане, а потом разговаривал в гостинице, они, оказывается, агенты ЦРУ. Знаю ли я, что такое ЦРУ? Особенно та девушка, которая мне прислала открытку, она же агент американской разведки! И своей открыткой из Швеции она меня пытается завербовать! Да что вы, говорю, ей всего девятнадцать лет, как и мне.

«Нельзя им верить, – говорит гэбэшник. – Они прячут свое подлинное лицо! И если еще вам от них придет письмо (тут он перешел на “ты”), ты обязан принести его нам! – Уже и тон его стал жестким. – А если что, – мы и в институт сообщим!»

Он дал мне подписать бумагу о неразглашении беседы, хотя я ему откровенно сказал – родители знают, куда пошел. Только выйдя на Литейный, я понял, что ситуация была достаточно опасной...

Но писем от той девушки я больше не получил. А жаль! Такая красотка! Неужели у них все такие хорошенькие – и все агенты ЦРУ? Жалко-то как! Я бы у такой наверняка завербовался!

Владимир Кунин

Я служил редактором эстрадных передач на Ленинградском телевидении. Однажды вошла моя начальница Нина Титова: «Познакомьтесь, это Владимир Кунин. Он пишет о цирке. Может быть, получится у вас сделать какую-то передачу?» – «Конечно! Кто же цирк не любит!»

С Володей Куниным мы мгновенно подружились. Он обладал удивительным шармом, говорил весело, с милой хрипотцой. Всегда с улыбкой. Кажется, девушки в редакции в него поголовно влюбились. Однажды он пришел к нам домой, и мои родители приняли его с первого раза. Это был единственный случай в моей жизни, когда с человеком старше меня на десять лет я сразу перешел на ты. Кунин был прежде мастером спорта по акробатике. На первенстве Ленинграда занимал вторые места, чемпионство ему из-за его подлинной фамилии Фейнберг не светило. И он стал цирковым акробатом. Выступал за рубежом. Однажды сильно разбился, страховочную лонжу разъела ржавчина (сказал – в Индии). Получил травму позвоночника, выступать больше не мог. Пенсию Володе положили по инвалидности 26 рублей в месяц. Как он сам говорил, на шесть бутылок пива и десять пачек сигарет. Бедствовал. Занял 15

рублей у моего отца, смог отдать только через год. Володя – человек одаренный, он начал кропать очерки для журнала «Эстрада и цирк», и кто-то привел его на студию. Мы стали делать рассказы о цирке. Кажется, это были первые подобные передачи в СССР. В молодости Володя был очень похож на Марселя Марсо, знаменитого французского мима. Кстати, по заданию журнала он ездил с Марсо и был его гидом во время гастролей по Союзу. Французский язык Кунин выучил во время долгих выступлений на Всемирной выставке в Брюсселе.

В Ленинград тогда приехал американский цирк. Очень крепкая интернациональная труппа, были даже знаменитые мастера легендарного семейства Валенда. Американцы выступали на Зимнем стадионе, здание ленинградского цирка было тогда в стадии реконструкции. Я слышал разговор Карла Валенды с переводчиком и представителем Госцирка. Валенда отказывался выступать: крыша стадиона была низкой, и невозможно было показывать мастерство канатоходца под куполом. Его все же уговорили, он выступил. Когда Карл Валенда впоследствии разбился, ему было уже за семьдесят. Но цирковая династия Валенда до сих пор выступает на аренах мира.

Мы с Куниным посмотрели американскую программу и отобрали номера для съемок в архив телестудии. Среди них был славный номер с дрессированными обезьянами. Их укротитель сам был похож на маленькую сморщенную обезьянку. А вот его партнерша, высоченная жгучая мексиканка, на меня, видимо, обиделась: я говорил с ней без официального переводчика, и неосторожно назвал ее партнера *"your father"* (ваш отец), она поправила: *"my husband"* (мой муж). Иди знай... Лет пятьдесят разницы... Привезли артистов на студию, отработали они четко, без дублей. Выдаем наличные – 50 рублей за номер. Все берут. Обезьянья мадам деньги брать отказывается (муж молчит, а говорит она – в жуткой ярости): «Вы обещали 50 рублей каждому!» – «Да нет, вы меня не поняли. Это не я, это студия платит за весь номер по пятьдесят рублей». – «Деньги не возьмем!» – «Но другие-то взяли». – «А нам плевать!» Так я впервые услышал фразу *"I don't care about others!"* (А мне плевать на остальных!) Злобная мегера! Где, говорю, ваша пролетарская солидарность? Они повернулись и уехали. Ну и черт с ними!

История на этом не закончилась. Звонит мне домой директор студии Фирсов. Меня, говорит, американское посольство достало, почему их артистам не заплатили! Словом, международный конфликт! Посольство США звонит в обком партии (знают, кто в городе хозяин!). Из Смольного звонят в студию. Директор вызывает на ковер меня, я – к главному бухгалтеру Варваре Михайловне

(помню ее!), а та уперлась, и ни в какую: больше не положено! Директор студии нашел выход: распорядился выдать Кунину 50 рублей сверх авторского гонорара, и мы с Володей отвезли деньги мегере в гостиницу. Она нам даже спасибо не сказала – ни по-английски, ни по-испански. Ну и чихать! Зато был предотвращен международный цирковой конфликт! А вдруг бы нам Америка войну объявила? Вот это был бы цирк!

С Куниным мы общались часто. Володя стал киносценаристом. Один из своих первых телесценариев он правил практически на моем столе. Сценарий назывался «Я шофер такси». Телефильм снимал режиссер нашей редакции Лев Цуцульковский, он знал и моего старшего брата по Университету. Конечно, столько знакомых, и я постоянно торчал на съемках. Главную роль – немногословного и хитроватого ленинградского водителя – сыграл Ефим Захарович Копелян. Был в фильме такой эпизод: в конце смены уставшие таксисты считают выручку и откладывают немного мелочи в сторону – это их чаевые. В обкоме на просмотре возмутились: это же недостойно! Наши гордые советские водители чаевых не берут! И опять партийные вожди за народ решали! Картину положили на полку. Не знаю, вышел ли этот фильм позже на телеэкраны. Был он крепко скроен актерски, прекрасно были сняты ленинградские площади и проспекты...

Впоследствии, когда Кунин написал «Хронику пикирующего бомбардировщика» и повесть неожиданно получила премию комсомола, ею заинтересовалась студия «Ленфильм». И режиссер Наум Бирман снял фильм, по мнению критики, – один из лучших об Отечественной войне, без прикрас.

Когда я читаю повести Кунина, я вижу его ироничный и чуть хитрый взгляд и его юморок в этих иногда забавных, иногда грустных историях. Кинофильм «Иванов и Рабинович, или *I go to Haifa*» – это живой и веселый Володя Кунин!

Последние 20 лет Володя жил в Мюнхене, где умер не так давно...

Не знаю, войдут ли книги Владимира Кунина в золотой фонд отечественной литературы. Но легкая авантюризм, изобретательность сюжета, теплый юмор – такими видит книги Кунина читательская аудитория. «Интердевочку», придуманную им от начала до конца и снятую режиссером Тодоровским с великолепным психологизмом, посмотрели больше сорока миллионов зрителей! И его сценарий «Ребро Адама» (фильм с Инной Чуриковой в главной роли), написанный по его же повести, был назван лучшим сценарием года.

А меня даже приключения кота Кыси (в трех книгах!) тоже

трогают, потому что за хулиганистым и хитрым Кысей виден добрый и веселый писатель Владимир Кунин.

Н. Н. Павлов, или просто НикНик

Рассказывать о нем и легко, и трудно. Легко – потому, что я помню все его рассказы. А трудно – потому, что он был моим тестем. И неудобно рассказывать о родственнике, даже бывшем. Но НикНика, как его все называли, давно уже нет. А человек он был в своем роде уникальный.

Он был одним из самых крупных специалистов по радиопередатчикам, представлял нашу страну в ОИРТ, международной ассоциации, ведающей распределением радиоволн среди радиостанций мира, или чем-то еще, точно не знаю. Он строил передатчики и радиостанции для советских войск, стоявших в странах так называемой народной демократии.

После 20-го съезда партии, развенчавшего моральный облик вождя и учителя, было приказано всем нашим поделникам, от Албании до Польши, убрать сталинские изваяния. Николай Николаевич в тот момент был в Албании и со своими делами был вхож напрямиком во дворец самого Энвера Ходжи, которому наши строили радиостанцию.

Вот один из его рассказов:

«Звонит мне Ходжа (тогда он еще был нашим союзником) и в панике спрашивает, что делать. Памятник вождю был на холме, так что вся Тирана его видела. Я ему – да не волнуйтесь. Сделаем к утру». «Ну и как?» – спрашиваю. «Просто, как вода. Позвонил командиру советской дивизии, мы с ним накануне водку пили у него дома. Прислали два крана, накинули трос на шею товарища Сталина. Утром Тирана проснулась – а где памятник великому вождю? А нет больше памятника великому вождю!»

История, которую рассказал однажды Николай Николаевич, поразила не только меня, но и его родных. Видимо, до этого он ее не рассказывал. Вот почти дословно:

«Году в 28-м или 29-м поехали мы с женой в Гагры. Сняли милую дачку возле пляжа. Утречком пошли по тропинке к морю. Народу никого. Лежит мужик в белой панаме. Рядом лодка.

– Можно позаимствовать, покататься?

– Почему нет? Бери, дорогой! Катайся!

Покатались, пошавали. Мужик говорит:

– Откуда, товарищи?

- Из Ленинграда.

- Давайте знакомиться. Меня Лаврентий зовут. Берия моя фамилия. Вернетесь домой, привет Миронычу передавайте, Кирову, значит...»

И что, спрашиваю я, больше вы его не видели?

«Видел. Второй раз – уже после войны. Меня отправляли за границу работать, в нашу зону оккупации Германии. А выездными делами заправляла комиссия ЦК. Председателем ее был Берия. Ну, пришел я на комиссию.

Человек передо мной заходит, нет его полчаса, час. Выходит, мокрый от пережитого. За ним вхожу я. Берия посмотрел на меня и поздоровался. И я понимаю, что он меня узнал. И говорит: – Есть предложение направить товарища Павлова на работу в Германию, возражений нет? – Возражений не было. – А вы, товарищ Павлов, зайдите ко мне, когда вернетесь... – Весь разговор полминуты».

- И вы зашли?..

- А попробовал бы я не зайти...

И сколько ни спрашивал я и тогда, и после, НикНик не сказал больше ничего. Но зато рассказал случай, бывший с одним из его инженеров:

«Наши работали за границей без семей. Тоскуют мужики! Ну, немочки кругом тоже тепла просят. Одна такая, что называется, залетела от советского инженера. Тот от нее спасается, прячется. Немка к начальству нашла дорогу. Не уйду, пока не женится! А у того в Союзе жена, ждет мужа из долгой командировки...»

Дошло до высокого начальства, и дураки доложили в Москву. Берия приказал доставить инженера к нему. Того взяли прямо на улице и отвезли в аэропорт. Через несколько часов его, трясущегося от ужаса, ввели в кабинет Берии. Тот посмотрел на нашего героя-любownika и вынул из письменного стола кинжал.

- Расстегни штаны и клади его на стол! Сейчас резать буду!

Инженер упал в обморок. Когда очнулся, целехонький и дрожащий, Берия сказал тихим голосом:

- Чтобы больше этого не было! Отвезите его обратно в Берлин.

Инженер этот вскоре получил справку о болезни и вернулся в Москву. О его дальнейшей судьбе история умалчивает».

Николай Николаевич был чистокровным дворянином, человеком исключительной честности и порядочности. Преподавал он в последние годы в Электротехническом институте им. Бонч-Бруевича. Жил в коммунальной квартире и никогда не просил

ничего! Ненавидел неучей, хамов и бездельников. Я пришел как-то к нему в институт и увидел такую сцену: по лестнице мчался студент – видимо, опаздывал. НикНик остановил его: «Молодой человек, вы где – в синагоге или в мечети?»

Обалдевший студент тихо спросил: «Почему?» – «А потому что только в этих храмах шапку не снимают! А здесь храм науки, и будьте так любезны!..»

Незадолго до 60-летия Н.Н. в институте спохватились: ведущий специалист, доцент, а у него никаких научных званий. Павлов защищаться отказался наотрез: «Зачем? Кому это надо? Мне – определенно нет». Тогда уговорили составить список его научных статей и публикаций. Николай Николаевич, скрепя сердце и уступая настояниям друзей, подготовил несколько страничек. И по совокупности работ ему присвоили звание кандидата наук без защиты.

Жили мы в то время трудно. Какие могли быть доходы у двух малооплачиваемых работников телевидения! Часто деньги у соседей занимали. Однажды мои родители подарили нам немного денег на новый холодильник. НикНик забежал на несколько минут. И после его ухода мы нашли такую же сумму, что дали и мои предки. Потом он объяснил: мог дать и больше, но боялся, что мои родители – пенсионеры – могут обидеться...

Какой обед нам подавали...

Какое-то время я был без работы и подрядился в Общество «Знание» читать лекции о кино. Поскольку я был членом Союза журналистов, мне платили за лекцию целых десять рублей! Часто отправляли читать лекции пограничникам – на финскую границу.

Однажды моя лекция была в Доме офицеров в Сортавале, в Карелии. За двадцать лет до этого здесь размещался театр, которым руководил мой отец. После лекции подошел человек, рассказал, что был в театре осветителем. «Помню вас вот таким», – сказал он и показал, каким. Мне было тогда лет восемь.

Следующую лекцию назначили в тот же день в каком-то дальнем гарнизоне. Объяснили, как ехать местным поездом, который возит строителей куда-то на самую границу. Поезд состоял из трех вагонов. Вместо нормального паровоза – «кукушка», такой крохотный паровозик. Поезд был медленным, шел минут 40, и несмотря на короткое расстояние, почему-то опоздал. Встретили меня на армейском «газике», надо было ехать полчаса по заснеженной дороге, вокруг метровые сугробы. Как я понял, едем на самый краешек Советского Союза. Зимы в Карелии темные. Приехали в

пограничную часть уже к вечеру, что почему-то взволновало тамошних офицеров.

Начинаю лекцию. Минут через десять полковник показывает знаками – пора, закругляйтесь. Ничего не понимаю. Я еще не дошел и до середины рассказа «Как делается кино», да и фильм еще не начался, который мои лекции сопровождает. А майор тихо говорит: «У нас солдаты из Средней Азии, они по-русски плохо понимают, а гостя надо накормить. И обратный поезд пойдет через час. Последний поезд сегодня, так что поторопитесь, товарищ лектор».

Какой обед мне подавали! А главное – кто и как! Такого в моей жизни не было и никогда больше не будет! Меня кормили офицеры пограничных войск Советской Армии! Капитан нес тарелку шей, майор торопил повара положить и поднести мясо с кашей, полковник лично сахар в стакане чая размешивал! Вы такое можете представить?

Обратно ехали быстро, но все-таки застряли. В машине было человек пять, «газик» из сугроба мы вынули. И опоздали. Когда подъехали к поезду, к той самой «кукушке», пограничник махнул машинисту и закричал: «Приехал! Можешь ехать!» Оказывается, пограничники из-за меня целый поезд задержали! Я же говорил – такое разве забудешь! Паровозик тихонько свистнул, простуженно зашипел, и мы поплылись в Сортавалу. Приехали как раз к ленинградскому поезду.

Не бери в голову...

«Не бери в голову, а бери на грудь!» Такая поговорка была у штангистов. Я написал сценарий фильма об олимпийском чемпионе в среднем весе, штангисте Борисе Селицком. Борис выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Мексике. Был он славным парнем, такой спокойный, уверенный в себе крепьш. На премиальные за свои рекорды (за всесоюзный – 500, за мировой – 1000 рублей, в те времена деньги огромные!) построил дом под Ленинградом, где и живет до сих пор. Но подружился я с его одноклубником, штангистом Германом Столповским.

Мы оказались соседями. Почетный мастер спорта, Гера был не то десятикратным, не то двенадцатикратным чемпионом Ленинграда. Выступал он в легчайшем весе. Росточком был, наверное, метр сорок пять с кепкой. А силы необыкновенной! При собственном весе 56 килограммов он толкал штангу больше 135! Долгие годы в Питере рекорды Столповского побить не могли. Не знаю, существуют ли, живы ли его достижения поныне. Столько лет прошло...

Одно время Герман даже числился в своей весовой категории вторым-третьим номером в сборной СССР. Он работал в каком-то институте, не фиктивно, как многие спортсмены, а по-настоящему. Был мастер – золотые руки. Рассказывал, что в их отделе создавали новый тип трамвая. После нескольких лет работы ему дали две крохотные комнатухи, он разместил в них мебель в два этажа, я помогал ему выдолбить нишу в капитальной стене – место для телевизора. Мы встречались, дружили семьями. Он был женат на маленькой росточком, как и он, Людочке, необыкновенной красавице. В нашей семье ее все любили, называли японской статуэткой. К ней пытались подкатываться многие, но она хранила верность своему Герке, и это не обсуждалось.

Гера был верным и преданным другом, только попроси помочь – и он тут же являлся. Ему прощались «пинжак» и «транвай». Мы все умеренно выпивали, и Герман трезвенником не был. Весельчак, душа любой нашей компании, всегда с улыбкой. Однажды уговорил меня поработать судьей-информатором на первенстве Ленинграда по штанге.

Но потом...

Столповский выступал за общество «Локомотив» и был бессменным чемпионом этого общества в своей легчайшей категории. Во Франции однажды задумали проводить не то европейскую, не то всемирную олимпиаду железнодорожников. Советский Союз в шестидесятые годы не пропускал соревнований, где можно было завоевать побольше медалей во славу советского спорта, и Гера (он был «выездной») отправился с командой не в замшелую Польшу или привычно-братскую Болгарию, а в славный город Париж. Выступив одним из первых и завоевав золотую медаль в своей очень легкой категории, он был приглашен в компанию молодых русских ребят из эмигрантской семьи, и его утащили погулять.

Вернулся он в отель через три дня. Команда уже выиграла абсолютное большинство медалей, но шум начался... Геру успели отправить в Москву вместе со всеми. Его бы простили, все-таки почетный мастер спорта, член сборной... Но тут оказалось, что у него много недостатков. Во-первых, жена-еврейка. Почему штангистских лидеров так волновала его жена, – было понятно: уезжали и обычные люди, и спортсмены. Старший тренер Богдановский откровенно говорил ему: «Хочешь выступать в форме сборной Союза – разведись». А он, понимаете, отказался. Во-вторых, ушел со сборов в Финляндии, а потом в Румынии после турнира. А теперь еще и во Франции: нарушил правила, где гулял в одиночестве – неизвестно.

Так и не добились покаяния от Германа. А то, что выпивал, так кто же тогда не пил. Потом он мне рассказал: провел три дня в роскошном замке, где его кормили, поили, и он всерьез собирался остаться во Франции. Говорил: «Фиг бы они меня нашли! Я за Францию мог бы на чемпионаты мира и Европы ездить».

Вернула его в родное отечество любовь не к родине, а любовь к его Людочке.

А в Париже тогда случилась такая история. Приехали наши штангисты-победители в аэропорт, а самолет в Москву уже улетел. Оказывается, Франция выслала сотни нелегалов-вьетнамцев. Куда их? А пускай их Советы-союзники забирают! Посадили бедолаг в советский самолет и отправили рейс досрочно. И наши медалисты сидели в аэропорту всю ночь. У них даже денег не было на платный туалет, все потратили. Уж как они устроились, неизвестно. Только рассказывали: сидят, ждут рейс на Москву, поставили свои кубки на пол, а французы проходят и в эти кубки окурки сбрасывают...

С работы Германа уволили. Родилась дочь Светлана. Переждав время, дали ему должность тренера в родном «Локомотиве», Герман ходил на тренировки и получал зарплату за штангистские успехи. Потом наша семья уехала в эмиграцию, но мы продолжали переписываться. Гера не боялся общаться с эмигрантами. Но стал выпивать еще больше.

Людмила терпела долгие годы, а потом получила развод и уехала с сестрой в Израиль. В Питере осталась дочь, вышедшая замуж. Результаты Столповского стали ухудшаться. Герман окончательно запил. Кроме дочери, жившей с ним в одной квартире, ему никто не помогал. Потом он начал продавать вещи. Светлане пришлось поставить железную дверь в свою комнату...

Когда я был в 1991 году в Ленинграде, мы никак не могли встретиться. Я привез ему в подарок теплый свитер, звонил, он неделю обещал прийти... Появился только в аэропорту в шесть утра, когда я проходил таможду перед возвращением домой. Он был почти трезв...

А потом Герман пропал. Его нашли на улице, опознала соседка дней через десять. Недавно я разыскал в архиве фотокадр из нашего фильма «Атланты». На обороте – три автографа: тренера Александра Елизарова, олимпийского чемпиона 1968 года Бориса Селицкого и Германа Столповского. И общий автограф: «Вспоминай нас».

Честно говорю: вспоминаю часто. Мы общаемся с Людочкой Столповской по телефону, поддерживаем контакт все сорок лет.

Даже пару раз виделись у меня дома. Недавно она сказала: «Сколько у меня Герка крови выпил, ты ведь знаешь, а вспоминаю и думаю... Так, как он, меня никто и никогда не любил...»

Довлатовы

С Борисом Довлатовым мы учились в Театральном институте им. Островского, что на Моховой улице, напротив старого ТЮЗа. Сидели за одним столом, бегали друг к другу. Даже ездили вместе на каникулы в Литву. Большею частью проводили время и готовились к экзаменам у Бориса, у них с женой была своя комната.

К Борису часто заходил его брат Сергей, живший рядом. Они были двоюродными братьями, но потрясающе похожими, словно родные: оба высоченные красавцы. Как теперь говорят, – кавказского типа. Кажется, Сереже тогда было лет шестнадцать. Он пришел звать Бориса подзаработать. На «Леннаучфильме» режиссер Клушанцев снимал космическую фантазию, и нужны были актеры гигантского роста на роли роботов. Сниматься они так и не стали. А когда через несколько лет и я пришел работать на «Научпопу», Клушанцев все снимал и переснимал какие-то космические эпизоды.

Уже окончив институт, я встречал Сережу то в электричке, то в трамвае, почему-то нам часто было по дороге. И его истории помню до сих пор. Рассказывая, он, видимо, оттачивал манеру легкого и изящного повествования, которая принесла ему такую славу в сегодняшней России.

Из университета накануне очередных выборов Довлатова как агитатора направили к одной тетке, которая отказалась голосовать. «Жуткий подвал, вода по стенам... Тетка разворачивает платок. А там черные зубы. Видите, говорит, как я живу, зубы вываливаются от сырости...»

Как-то Боря был в Сибири на съемках фильма «Даурия» и попал в тюрьму. Он был за рулем грузовика и задавил человека. Впрочем, подробности и я описывал, да и у Довлатова об этом есть рассказ. Я встретил Сергея в электричке, он рассказал, как трудоустроивал брата на отсидку:

– Идем вдоль забора на «Металлострое» (там был большой лагерь для заключенных по легким статьям уголовного кодекса. – А.Б.). Навстречу – знакомый офицер из охраны. «Серега, ты чего тут?» – «Да вот, иду брата устраивать. Познакомьтесь». Пожимают друг другу руки. «Боря». – «Володя». Ну, кайф!..

Довлатов приехал в Америку чуть позже меня. Встретились мы на собрании Клуба русскоязычных писателей Нью-Йорка (у меня

тогда вышла крохотная книжка пародий, и меня избрали вице-президентом Клуба). Нисколько не удивившись, он спросил: «Саха, а что ты тут делаешь?» Такая кличка была у меня в нашей старой компании. Общались мы часто. Как-то он попросил подвезти его к особе, продающей мебель. Женщина немолодая, одинокая. Меня она просто не увидела. Запала, что называется, на Довлатова: «Ой, какой вы большой!» Какой хлам она предлагала! Но надо знать Довлатова. Он же пришел, он обещал, он обязан купить! Что-то он купил, отбиваясь от теткинских атак. Лена потом сурово сдвинула брови: «Зачем ты привез домой это г...?». Я поскорее сбежал.

Иногда я думаю: кроме его родителей, никто не знал Сережу дольше меня. 33 года!

Однажды Довлатовы приобрели домик на севере штата Нью-Йорк, недалеко от нашей дачи. Купили у русских эмигрантов вагончик, в котором проблем было больше, чем окон и дверей! Позвонил Довлатов: зима, холод, отопление не работает. Мы с женой приехали, дали телефоны специалистов, успокоили, напоили чаем, показали, как включить отопление, где газ. Следующим летом Довлатовы собирались приехать к нам, на нашу дачку. Приехала только Лена с маленьким Колей, Сережу вызвали на радио «Свобода». Когда он умер, мы были в Канаде. До сих пор не могу решиться посетить его могилу...

О Довлатове уже написано больше книг, чем он сам написал. И все-таки одну вещь никто не отметил: его редкостную терпимость, уважение к чужому труду. Однажды в свежем номере «Нового Американца», главным редактором которого был Довлатов, вышел мой фельетон, им подправленный. Ничего мне не сказав, он переставил начало и конец. В ярости я ворвался к Довлатову и накричал на него, ожидая возражений... а он легко, без обиды согласился. Фельетон перепечатали в следующем номере «НА» в моем варианте. И что я разорался, стоило ли оно того... Подозреваю, он относился ко мне с уважением потому, что я был старше. И я был частью его молодости. Один поэт как-то гордо заметил: «Обо мне даже Довлатов написал!» Я нашел эти строки – Довлатов высек его за пошлость.

Как-то я отдал Довлатову маленький фельетон, переделав анекдот о Брежневе в стихах. Для этого опуса Довлатов нарисовал и поместил прелестный шарж на советского вождя. Эдакий опухший морж получился. Я немного горжусь: кто еще в русскоязычной эмиграции может похвастаться соавторством с Довлатовым!

Уж по кому только ни прошелся Довлатов своим тяжелым катком, даже родному отцу досталось – кстати, совершенно

несправедливо, – а обо мне не написал ни слова. Хотя печатал мои фельетоны и стихи постоянно. Даже обидно. Мог бы и я войти в литературную историю эмиграции.

Однако нашел. Статья «Американская мечта», газета «Новый Американец», декабрь 1980 года:

«Читатели тоже хороши! Зайдите в “Красное яблоко” (магазин на 108-й улице). Присмотритесь к окружающим. Рыбы закупили. Сосисок закупили. Рядом пылится забавная книжка Александра Баскова “Извините за внимание”. И стоит-то несчастных четыре доллара! Не покупают! Даже журнал «Искусство кино» не покупают. Даже про шпионов читать не хотят! Советский читатель. Вот о ком я по-настоящему тоскую...»

В 1991 году я приехал в Питер. На лестнице Дома Книги, что на Невском проспекте, стояла очередь от первого этажа до конца второго. Ожидали трехтомник Довлатова...

Нью-Йорк, 2019



Слава Бродский

– выпускник Московского университета (математического отделения мехмата). Автор многочисленных работ в области прикладной математической статистики. С 1991 года живет в Соединенных Штатах. Свою трудовую деятельность в Америке начал в небольшой компьютерной фирме штата Нью-Джерси, выполняющей заказы компаний Уолл-стрита. Через два года перешел в *Chase Manhattan Bank*. С тех пор работал в крупнейших финансовых компаниях Манхэттена. В 2004 году была опубликована его первая повесть «Бредовый суп». Затем вышли и другие его книги. Он работает также в

различных стилевых направлениях изобразительного искусства. Значительная часть таких работ относится к керамике, над которой он трудится в керамической мастерской своего дома в Миллбурне (Нью-Джерси). Его вебсайт – www.slavabrodsky.com.

Недавно вышла в свет моя книжка коротких рассказов «С первого взгляда» (Manhattan Academia, 2019). В сборник этого года я включил рассказы первой части книги.

С первого взгляда

Брачный контракт

Он был женат уже пятнадцать лет. И к концу этого срока у всех его близких друзей что-то случилось в семье. Его друг детства был в разводе с женой и уже давно встречался с какой-то молоденькой девушкой. Да и у всех остальных семейные отношения, по меньшей мере, дали глубокую трещину. Получалось так, что их замечательная компания, существовавшая многие годы, теперь практически распалась. И вот в преддверии Нового года он абсолютно не представлял себе, где и с кем они могли бы провести новогоднюю ночь. Конечно, он очень хотел бы встретиться с другом детства и его новой пассией. Но когда он сказал об этом жене, она отреагировала на его предложение резко отрицательно. Она всегда была очень близка с женой его друга и не хотела ее обижать.

В последние дни декабря он неожиданно узнал у себя на работе, что их начальство отводит зал совещаний для встречи Нового года. Те, кто был там однажды, посоветовали ему туда пойти. Он предложил это жене, и она согласилась. Вот так в конце концов получилось, что Новый год они встречали в компании, где было

много незнакомых им людей.

Ему в этой компании, в общем-то, понравилось. Засиделись они там далеко за полночь. По тому, что многие рассказывали свои жизненные истории, он понял, что все мало знали друг друга. А уже под утро, когда народ готов был расходиться, кто-то поведал простую историю своей первой детской увлеченности. И тут он тоже предложил рассказать одну почти совсем уже забытую им историю. Человек пять или шесть, включая его жену, повернулись к нему, и он начал свой рассказ.

Ему было всего девять лет. Летом они с мамой жили на Украине. Мама считала, что ребенку надо дышать свежим воздухом. Они снимали комнатку в доме. За продуктами мама ходила на рынок. Он помогал ей нести оттуда то, что она там покупала. То небольшое, что она ему давала, она делила на две части, чтобы он нес это в двух руках, – мама следила за тем, чтобы у него не было искривления позвоночника.

Как-то на рынке его мама познакомилась с одной женщиной, которая, как оказалось, тоже снимала на лето комнату, неподалеку от них. Жила она там со своей дочерью, Элей.

В тот день Эля не была с мамой на рынке с утра. Она пошла туда позднее и встретила их, когда все уже шли обратно. Подойдя к своей маме, она прошептала ей что-то на ушко. Мама тут же закричала на нее и велела замолчать. А Эля сказала, что слышала это по радио. А когда все стали спрашивать Элю, о чем она шепталась с мамой, ее мама закричала:

– Молчи! Молчи, я тебе говорю!

А Эля все повторяла, что слышала это по радио. И в конце концов, ее мама разрешила ей рассказать об этом всем.

Вот так они узнали, что Берия – шпион и враг народа. И так он в первый раз увидел Элю.

Он дружил там с ребятами, которые были старше него. Однажды один из них сказал ему, что Эля очень красивая, и спросил, нравится ли она ему. Он не знал, что все это значит, и признался в этом своему приятелю.

– Как! Ты что же, не знаешь, что такое красивая девочка?

– Нет.

– Давай, я тебя научу.

Он согласился.

– Вот Валя, – сказал приятель, – она совсем не красивая. Светка – ничего себе, симпатичная. Но Эля, конечно, самая-самая красивая. А если она тебе нравится, значит, ты ее любишь.

Приятель посмотрел на него и спросил:

– Понял?

– Понял, – ответил он.

Они складывали пальцы одной руки полукольцом, а указательный палец другой руки располагали в середине этого полукольца. Получалась буква «Э». Когда они видели Элю, то всегда показывали друг другу на пальцах эту букву «Э» и понимающе улыбались.

Он стал все время думать об Эле. И вдруг понял, что она действительно красивая. А также понял, что он ее ужасно любит.

Однажды вечером он со своими друзьями оказался около танцевальной площадки. Они смотрели сквозь ограду, кто с кем танцует. И он увидел Элю. Она танцевала со своей мамой. Он поразился, как по-взрослому она выглядела. Понял, какая глубокая пропасть между ними, и очень расстроился.

Его жена внимательно слушала рассказ, а потом спросила:

– Ну и чем же закончилась эта история?

– Да ничем, – сказал он. – В конце августа все стали разъезжаться по домам, и кто-то из наших сказал мне, что на следующий день и Эля с мамой уедут домой. Тогда мне стало просто страшно. Я понял, что обязательно должен узнать ее фамилию и где она живет. Но не представлял себе, как я могу это сделать.

– Ну и что, ты все-таки узнал все, что хотел узнать?

– Да.

– Конечно, сейчас уже не помнишь.

– Почему же. Ее звали Эля Котова.

– Надо же!

– Она жила с родителями в Днепропетровске – проспект Пушкина, дом 16, квартира 4.

Жена стала придирчиво допрашивать его, как он смог запомнить адрес. В ответ он только пожимал плечами. А потом она спросила, разыскал ли он свою Элю. А он ответил, что никогда и не собирался ее разыскивать.

- Почему? – спросила жена.
- Потому что она ни в какое сравнение не шла с тобой.
- Нет, до того, как мы встретились?
- Но я же знал, что скоро встречу тебя.
- Очень остроумно.

Народ стал подниматься со своих мест. Все расходились по домам.

- А ты мне никогда ничего не говорил об этом, – сказала его жена.
- Почему?
- Потому что в нашем брачном контракте об этом ничего не было.
- У вас был брачный контракт? – спросил кто-то.
- Нет, – сказала она, – это у него такие шутки. Он любит пошутить.

Туся

Это было в конце восьмидесятых. Наша шабашная бригада, которая раньше сплошь состояла из отказников, теперь стала меняться. Кого-то из наших выпустили, и к нам присоединились те, кто подал заявление на выезд из страны совсем недавно. Им тоже пришлось покинуть свою работу. А заработки в шабашной бригаде давали возможность прокормиться и подготовиться к отъезду.

Нашим бригадиром был Кирилл. Зимой он отдыхал. А ранней весной ездил по сельским местностям и договаривался с руководителями колхозов и совхозов о постройке АВМ – агрегатов витаминной муки. А потом, с середины весны вплоть до осени, мы, его бригада, делали там всю работу: возводили постройки, устанавливали и налаживали оборудование.

В тот год мы работали в рязанской деревне. Жили в комнатке при колхозном клубе. Покупали у местного населения овощи, молоко. Иногда нам доставалось из колхозного распределителя немного мяса.

Молоко нам приносила совсем молоденькая девушка, Наташа. Но в деревне все звали ее Тусей. Было ей семнадцать лет. Сначала она просто приносила молоко по просьбе своей матери. Приносила, ставила на стол и уходила. Но потом, со временем, готова была немного задержаться у нас. Старалась прийти вечером, когда мы уже заканчивали работу. Норовила помочь приготовить что-то поесть.

Объясняла, как проще делать творог из прокисшего молока, как размягчить и поджарить засохший хлеб. А потом даже стала приходить и в середине дня. Поила нас холодным яблочным компотом, который готовила по просьбе Кирилла.

Постепенно мы стали понимать, что у нее был вполне определенный интерес к нашей компании. И в какой-то момент всем стало очевидно, что ей ужасно нравится Кирилл. Да он и сам стал это осознавать. Но то ли считал это совершенно несерьезным, то ли был сильно поглощен своей работой, то ли понимал, какая пропасть между ними, – но относился к ней хоть и тепло, но чисто товарищески.

Так мы и работали в то лето под присмотром Туси. Она была девочкой смышленной. Любой из нас не прочь был перекинуться с ней парой слов. Она делилась с нами местными новостями. И ее рязанский говор казался нам всем очень милым. А все, о чем говорили мы, она слушала с жадным вниманием.

Как-то я сказал ей, что хотел бы пойти на рыбалку, и спросил, есть ли у кого-то из местных бредень. Она ответила, что бредень есть у ее старшего брата и что он, конечно же, может помочь в этом деле.

– А ты сама-то бреднем ловила когда? – спросил я.

– Да-аа.

– Ну и что, рыба-то есть?

– А как же нет?

– А какая?

– Окунья, лящи, щука.

– Большие?

– Кила на три бывают.

Как-то, еще до этой рыбалки, я спросил у нее, кем она хочет быть, когда вырастет. И она очень серьезно сказала, что уже выросла. Что у них в ее возрасте уже замуж выходят. Я пытался возразить, напомнил о законе двадцатилетней давности. Но она сказала, что у них свои порядки и что ей вообще скоро уже восемнадцать. Я опять спросил, кем же она хочет стать. И она ответила, что хочет стать хорошей женой, родить детей. Потом добавила, что хочет жить там, где живем мы, и научиться говорить так, как говорим мы.

Мы договорились с ней, что вечером пойдем рыбачить. Из наших на это дело не подписался никто. С трудом мне удалось уговорить только Кирилла присоединиться к нам. Так и пошли мы рыбачить

вчетвером, с ней и ее братом.

Видно было, что рыбачила она не в первый раз. Командовала всеми нами она, а не ее брат. Покрикивала на нас, когда мы совершали какую-то ошибку.

Она ходила в воде, ничего не снимая с себя. И когда выходила на берег, мокрая, в прилегающем к телу платье, то выглядела в лунном свете сказочно. Даже Кирилл в какой-то момент задержал на ней свой взгляд. А она, конечно, подметила это и сделалась еще оживленнее. Весело торопила его и все удивлялась, почему он так долго вызволяет рыбу из сетки. В конце концов, она стала это делать сама, а ему велела складывать рыбу в «мяшок».

Это был ее звездный час. Глаза ее светились таким счастьем, что больно было смотреть.

Туся знала, что наша бригада договорилась с соседним колхозом на следующий год, и была очень рада, когда услышала об этом.

В конце сентября, в наш последний день, она спросила Кирилла, приедет ли он на следующий год. Возникла напряженная пауза, и Кирилл сказал, что до следующего года еще надо дожить. А я подметил, что после этого эпизода Туся заметно помрачнела.

Туся ушла домой. Вскоре и я пошел к ним. Мне надо было рассчитаться за молоко с ее матерью. Уходя от них, я слышал, как Туся горько рыдала в своей комнатке.

Назавтра мы уезжали из колхоза. Добрались сначала до Рязани. А оттуда каждый поехал своим путем. Это была последняя шабашка Кирилла. Через две недели он улетал в Вену и надеялся к концу года быть в Нью-Йорке.

Шутка

Мой близкий приятель попал в больницу с острой болью в животе. Оказался аппендицит. Операция прошла успешно. Но у него стало пошаливать сердце. Сделали кардиограмму. Она показала обширный инфаркт. Его перевели в кардиологическое отделение. Местный кардиолог сказал, что положение серьезное.

В это время я в своем Первом медицинском успешно шел вверх. Кардиология, правда, не была моей областью. Однако у меня было много знакомых врачей самой высокой квалификации. Я позвал на консультацию одного из них, очень известного у нас в Питере кардиолога. И тот подтвердил все опасения местного врача. На

вопрос, стоит ли перевести моего приятеля из этой больницы куда-нибудь в другое место, ответил, что это вовсе не обязательно. Сказал, что хотя положение его серьезное, но не угрожающее, и что все находится под контролем. Сказал также, что знает местного кардиолога, вполне ему доверяет и будет время от времени звонить ему и справляться о здоровье приятеля.

Больница вроде бы была неплохая. Но все-таки не самой первой категории. Состояние больного ночью там не отслеживалось, и нам сказали, что было бы лучше, если бы мы установили постоянное ночное дежурство. И вот мы, друзья моего приятеля и его жена, стали дежурить там ночами. Если бы мы заметили, что с ним что-то не так, то должны были бы поднять тревогу, звать врача. К счастью, звать врача никому из нас не пришлось ни разу. Приятелю становилось лучше, и ночные дежурства отменили.

Потом ему стало еще лучше, и он уже начал выходить на прогулку в больничный садик. И вот однажды, когда мы там гуляли, он сказал, что хочет мне что-то показать.

Он повел меня на зады больницы. Там мы наткнулись на невысокий забор. Когда я увидел, что он собрался через него перелезть, я спросил:

– А тебе можно?

– Можно, можно, – ответил он. – Мне теперь все можно.

Мы перемахнули через этот забор. Прошли еще дальше. И я увидел, что на огороженной асфальтированной площадке были свалены скульптуры нашего бывшего усатого генсека. Там были большие и маленькие бюсты, скульптуры в рост и всякие поломанные руки, ноги.

Он стал щелкать генсека по носу, и это выглядело очень забавно. Потом спросил, не хочу ли я отколоть себе на память кусочек генсековского носа. Я отказался, а он решил, что отколет такой кусочек для себя. Эта идея ему очень понравилась. Он сказал, что повезет нос с собой в Израиль и там будет его всем показывать – пусть, мол, отгадают, что это такое.

– А ты не боишься, что тебе надо будет получить специальное разрешение?

– На вывоз произведения искусства?

– Ну да. Тебе еще повезло, что этому носу явно меньше 50 лет.

Мой приятель считал, что непременно должен уехать в Израиль. И как можно быстрее. Из всей нашей компании он был настроен

наиболее решительно. Однако его жена не менее решительно была против этой затеи – во многом потому, что их отъезд очень подпортил бы карьеру ее отца. А тот вообще рассматривал их намерение уехать как непорядочное по отношению к нему. И все мы знали, что ситуация в их семействе сложилась очень напряженная.

Тем не менее приятель полагал, что, так или иначе, он все-таки уедет в Израиль. Готовился он к этому вполне серьезно. Достал учебник иврита. Сделал копию и для меня. И мы с ним уже могли потихоньку читать Библию. А до этого мы на русском языке прочитали все Пятикнижие. Многие места перечитывали по несколько раз и ориентировались во всех этих библейских историях довольно свободно.

Откалывать кусочек генсековского носа пришлось мне. С самого начала это показалось мне не совсем простым делом. Поэтому я не хотел, чтобы приятель со своими сердечными проблемами принимал в нем участие. Но когда я приступил к выполнению задуманного, все оказалось сложнее, чем я ожидал. В конечном итоге я с этим все-таки справился. Приятель мой положил нос к себе в карман, и мы пошли обратно в больницу. И тут по дороге он сообщил мне, что собрался разводиться.

Мне всегда казалось, что если с моими друзьями случается что-то такое, я обычно переживаю больше, чем они сами. Расстроился я и на этот раз. А он сказал:

– Чтобы ты не огорчался сильно, давай посмотрим еще раз на то, что нам удалось отколоть.

Но я все еще переваривал его сообщение:

– Подожди, так вы опять разругались по поводу отъезда или...

– Или, – сказал он.

– Серьезно?

– Да.

– Подожди... Ты имеешь в виду...

– Да, да. Я же говорю тебе.

– Боже! Никак не ожидал этого от тебя.

Он развел руками.

– Ты знаешь, – опять сказал я, – никак не ожидал от тебя. Я в тебя верил, ну как...

– ...как в себя? – закончил он за меня.

У меня в это время был трудный, запутанный период жизни. И его шутка показалось мне довольно злой.

Сынишка

Никита вызвался поработать на шабашке у Кирилла вместо поварахи. Шабашная бригада была небольшой, и Кирилл все раздумывал, нужна ему повараха или нет. Но он знал, что Никита довольно рукастый, так что от него могла быть и какая-то другая польза. Поэтому согласился с его предложением.

Перед самым приездом Никита попросил разрешения привезти с собой своего сынишку. Говорил, что он никому мешать не будет, а ему, мол, так уж получилось, не с кем его оставить. Кирилл дал добро и на это.

Оказалось, что сыну Никиты было всего восемь лет, а ему самому – уже шестьдесят шесть. И когда Кирилл удивился немного, как он в таком возрасте решил завести еще одного ребенка, Никита рассказал ему свою непростую историю.

Последняя его работа была связана с химической технологией. Он занимался гербицидами. Создавал пилотные установки для их производства. А в соседней лаборатории работал его приятель. Обычно они небольшой компанией ходили обедать в институтскую столовую. С ними ходила лаборантка его приятеля, Нина.

Она никогда не была замужем, у нее не было детей, и вообще никого не было. Как-то Никита разговорился с ней, и она сказала, что ей уже под сорок и что живет она совсем одна. И если у нее не будет ребенка в ближайший год или два, то его уже никогда не будет.

Тут Никита сказал ей, что для того, чтобы заиметь ребенка, не обязательно выходить замуж. Вокруг полно мужиков, и среди них наверняка найдутся такие, кто вполне будет готов помочь ей в этом деле. А Нина спросила его, мол, а вот он-то готов был бы помочь ей?

Никита никак не ожидал такого поворота разговора и отказался принимать участие в этой затее. Но Нина разговор не забыла. Все время к нему возвращалась. Говорила Никите, что он мог бы просто осчастливить ее. А он не должен чувствовать никаких обязательств перед ней. И вообще, для него никаких проблем с ребенком не будет, и никто об этом даже не узнает.

В процессе всех этих доверительных разговоров они сдружились. На обед уже часто ходили только вдвоем, без всякой компании. Им приятно было посидеть часок вместе, поболтать о том о сем. И хотя

никакого особого сближения между ними не было и не намечалось, Никита стал подумывать, а не стоит ли ему, и правда, посодействовать Нине. В конце концов, после долгих колебаний, Никита сказал, что готов ей по-дружески помочь в ее деле.

У Нины родился мальчик. Она была просто счастлива. Очень благодарила Никиту. И действительно, никогда не обременяла его никакими просьбами. Жена Никиты ничего об этом не знала. Да и никто, кроме них двоих, не знал об этом. Поначалу, конечно, никто не знал.

Через очень короткое время случилось так, что Нина познакомилась с другим мужчиной и вышла за него замуж. Вскоре у них родилась девочка. Мальчику к тому моменту было уже два года. Ну и внимания ему стало уделяться, видно, все меньше и меньше. Хотя Никита говорил, что отношение к сыну у матери не изменилось.

Потом у Никиты умерла жена. А их дети уже давно с ними не жили. И Никита стал навещать к своему сынишке. Иногда забирал его к себе. Даже ушел с работы, чтобы чувствовать себя свободным.

Со временем Никита брал к себе мальчика все чаще и чаще. И постепенно все привыкли к тому, что сынишка его стал жить в основном с ним.

В школе у его сынишки дела шли не очень. И Никита однажды намекнул Кириллу на это довольно прозрачно. После этого Кирилл и сам стал замечать, что не все у мальчика было гладко. Но выражалось это, может быть, только в каком-то чрезмерном его послушании. Он бросался выполнять что угодно по первому слову отца. Глядел на него с нескрываемым обожанием.

В бригаде сынишка помогал Никите, мыл посуду. А когда поздно вечером после работы все садились ужинать, носил вместе с Никитой на стол еду. И хотя мальчик не выглядел несчастным, но у всех возникало к нему какое-то чувство жалости. Каждый старался сделать ему что-то приятное. Для этого все всегда держали в запасе простенькие конфеты, печенье. Однако прежде чем принять их, мальчик всегда бросал взгляд на своего отца, чтобы точно знать, что ему позволительно делать, а что нет. И даже когда кто-то говорил ему что-то похвальное, он тоже смотрел сначала на отца, а потом уже на того, кто его похвалил, и, как бы принимая эту похвалу, робко улыбался.

После того как Никита ушел с работы, он жил случайными заработками. Мог сорваться с места в любой момент и поехать по вызову. То варил новые днища к старым машинам, то ремонтировал дома. За короткий срок освоил водопроводное дело. Часто помогал шабашникам, когда у них появлялась срочная и незапланированная работа.

И с ним всегда был его сынишка.

На всю жизнь

Он познакомился с ней в байдарочном походе. Она была чертовски хороша. К тому же очень неглупа. Вела она себя довольно высокомерно. Высмеивала всех и каждого за малейшую оплошность, действительную или мнимую. И к ней никто не осмеливался даже подступить.

Она ему, конечно, сразу понравилась. Ему было с ней интересно. О чем бы он ни начинал говорить, их разговор приобретал неожиданное для него направление. Они могли болтать обо всем на свете часами. Однако он был далек от того, чтобы строить какие бы то ни было планы, связанные с ней. И не то чтобы она была не в его вкусе, но он представлял себе всегда свою девушку несколько иначе. К тому же он знал, что у нее есть жених и что она собиралась в конце лета переехать к нему в Академгородок Новосибирска. Да он и сам недавно решил, что не скоро еще свяжет свою судьбу с чьей-то другой.

Но когда она стала проявлять к нему какое-то внимание во вполне определенном смысле, ему это польстило. Ему, конечно же, нравилось, как они общались. Они понимали друг друга с полуслова и даже – с четверти слова. И ему стало казаться, что он знаком с ней всю жизнь. Он еще старался сдерживать себя в их отношениях. Но несмотря на это, они развивались довольно быстро.

С самого раннего детства он жил в Москве. В школе серьезно занимался физикой. Там еще проштудировал всего Ландсберга. Побеждал на физических олимпиадах. Но знал, что в Университет его не примут. Учился, как и многие его талантливые сверстники, в «керосинке». После ее окончания несколько месяцев не мог никуда устроиться. И вот наконец его приняли в НИИ, где занимались медико-биологическими проблемами. Его начальство каким-то образом было связано с одним из академических институтов Питера. А там собирались приступить к разработке системы медицинской

диагностики. В Москве сколотили группу программистов, которая должна была помогать академии. Для этой цели набрали толковых молодых ребят. А его дядя, который хорошо знал всю верхушку московского НИИ, помог ему туда устроиться.

– В твоей нефтехимии диссертацию за десять лет не напишешь, – сказал ему при первой встрече его начальник. – А тут вам всем, как теперь говорят, семафоры зеленые. Защищаться все будете в академии.

В первый свой год он уходил с работы не раньше десяти вечера. Ему очень не хотелось подвести своего дядю. А там, на его работе, все было для него новым – и общая постановка проблемы, и инструментарий, с помощью которого эта проблема должна была решаться.

Поначалу народ в НИИ не воспринимал его серьезно. Но он довольно быстро стал постигать все программистские премудрости. К следующему лету он уже работал почти на уровне лучших ребят в группе. Кроме того, он смог быстро ухватить контуры всей системы в целом. И был уже незаменим на всех совещаниях у начальства.

К концу первого года своей службы он понял, что настал момент, когда он может перевести дыхание. Он испросил себе отпуск на неделю. Очень хотелось пойти в байдарочный поход с друзьями. И он, конечно же, совсем не ожидал, чем все это может закончиться.

В один из последних походных дней они ушли от общего костра и долго бродили по лесу.

– Это ведь у нас не просто летнее развлечение? – спросила она его.

– Нет, – сказал он.

– Подумай хорошенько. Это очень важно для меня. Ты уверен, что любишь меня?

– Да.

– И никогда не разлюбишь?

– Нет.

Ему показалось, что она напряженно думала о чем-то.

– Значит, на всю жизнь? – спросила она.

– Да, – сказал он.

Поход закончился. Они возвращались в Москву. Он спросил ее,

собирается ли она что-то сообщить своему жениху. И она ответила, что пошлет ему письмо, как только они вернутся домой.

Уже потом, в Москве, он узнал от нее, что она отправила письмо жениху. Написала ему, что это была ошибка. Хотя она до сих пор считает, что он очень хороший человек. Написала, что вышла замуж.

– Но ты же еще не вышла замуж, – сказал он.

– Как? Мы же с тобой все решили. Что это у нас на всю жизнь. Разве теперь важны формальности? Я считаю себя твоей женой. А ты должен считать себя моим мужем.

Со временем направление их разговоров поменялось. Они уже не так часто говорили на отвлеченные темы. Больше обсуждали бытовые моменты.

И он, и она снимали комнату. А теперь они поняли, что совместными усилиями могли бы снимать квартиру, и она стала активно заниматься ее поиском. Обзванивала всех своих друзей, знакомых.

– Послушай, – сказала она ему как-то. – Я хотела тебя спросить вот о чем. Мой папочка... Ну, когда я еще жила с ними... Он каждый вечер, когда приходил с работы, садился в кресло, разворачивал газету и часами ее читал. Это было так ужасно. Мы с мамой так залились на него. Ведь ты не будешь так делать?

– Нет, не буду. Я не люблю читать газеты. А что еще ужасного делал твой отец?

– О, много всего. Мы с мамой просто от него с ума сходили. Он все делал не так. Знаешь, он хлеб откусывал прямо от целого куска.

– Как это?

– Ну, не отламывал себе кусочек, а прямо от целого куска. Понимаешь?

– Кошмар.

– Но самое ужасное я тебе еще не рассказала.

– Что же это?

– Он дома носил тренировочные штаны. А они у него были вытянуты на коленках. Это выглядело так смешно. Мы с мамой все пытались ему объяснить, как это смешно. Но он нас не слушал. Ты ведь не будешь носить тренировочные штаны дома? Правда?

– Правда. Я вообще буду дома ходить без штанов.

В какой-то момент она повела его знакомиться с родителями. Те пригласили их на чай. Она познакомила его с мамой, отцом и со своим младшим братом, Костиком. Когда познакомила с отцом, сказала:

– А это мой папочка.

Ее отец кивнул головой:

– Да, папочка.

Тут она и ее мать засмеялись. Стали выговаривать отцу, что он не должен был называть себя папочкой. Ведь он папочка только для своей дочери. А для других он должен был назвать свое имя.

– Ну это не важно, – сказала она. – Папочка у нас часто все путает. Не обращай внимания.

Прямо там же, еще в коридоре их квартиры, ее мать стала говорить, что это все ерунда и что сейчас она расскажет про Завялова... И тут все засмеялись. И она, и ее мать, и папочка, и Костик.

Ее мать стала рассказывать про свою работу. Она говорила, что многие сейчас не понимают важности момента и что у них там работает один парень, который особенно этого не понимает. Она называла его Завяловым. Хотя, как он потом понял, настоящая фамилия его была Завьялов. Она считала, что этот Завялов – полный идиот. Стала объяснять, важности какого именно момента не понимает этот Завялов, что и как по-идиотски он делает и почему это все очень смешно. А потом сказала, что, в общем-то, это даже и не смешно, а очень грустно.

– Ой! – вдруг вспомнил ее отец. – Мы же вас позвали чай пить!

– Ой! – в тон ему воскликнула ее мать. – А мы бы без тебя и не вспомнили!

Все опять засмеялись. А ее мать сказала, что их папочка всегда может не вовремя перебить кого угодно.

Тут все, наконец, перешли из коридора в комнату, и все завертелось вокруг чая. Когда все сели пить чай, ее мать опять вспомнила про Завялова. Стала показывать, как он насыпает в чай сахар, как долго и с каким звоном размешивает его ложечкой, как выдавливает в чай лимон и с каким страшным присвистом потом этот чай пьет.

А отец стал расспрашивать его о том, что он делает на своей работе. И как только он начал рассказывать про систему, которую они зарабатывали, ее мама перебила его:

– Ага, так вы, значит, медик. Тогда я хочу спросить вас...

– Он не медик, – заметил ее отец. – Он занимается компьютерной медицинской диагностикой.

– Папочка! – сказала ее мать. – Ты опять все перепутал. Ведь я спрашиваю не тебя. Какой же ты смешной!

– Папочка опять все перепутал! – сказал Костик.

На следующий день он проснулся с ощущением, что должен что-то изменить в своей жизни. Он не мог определенно сказать самому себе, что именно ему не нравилось в его жизни. Напротив, в последнее время все у него складывалось удачно. И не просто удачно, а очень здорово. Но его все-таки настораживало то, что последние перемены, пусть даже и очень хорошие, произошли у него как бы сами собой, без особого его участия. Что-то в моей жизни, думал он, пошло на самотек. Мне надо, думал он, перехватить инициативу.

Он поехал на работу. Вломился в кабинет к своему начальнику.

– Сан Саныч, – сказал он. – Вы, кажется, искали кого-то, кто смог бы поехать в Питер на долгое время?

– Ну, искал.

– Пошлите меня.

Сан Саныч долго выпытывал у него, что такое с ним произошло. Но ничего определенного он своему начальству так и не сообщил. В конце концов Сан Саныч отчаялся понять что-либо. И сказал ему, что он может начинать работать в Питере хоть с завтрашнего дня, потому что положение сейчас там довольно критическое. А они там уже утрясли с начальством все проблемы, и посланца из Москвы на первое время ждет какая-то небольшая комната. Он тут же дал Сан Санычу на это свое «добро». А тот велел собрать народ в обед – праздновать его отъезд.

На следующее утро он уже выходил из поезда на перрон Московского вокзала в Питере. С маленьким чемоданчиком в руке.

Этика стука

Романа взяли на работу в институт, где много лет трудился его старший брат. Он хорошо знал будущего начальника Романа. Тот искал человека на должность заведующего лабораторией, а Роман обладал всей необходимой квалификацией.

Это был сверхсекретный ракетный ящик. Роману с самого начала

там все не понравилось. В отделе кадров с ним разговаривал мужчина с маленькими, быстро бегающими глазками и с манерами отставного военного. Во время разговора кто-то ему позвонил, и он отвечал краткими репликами: никак нет, будет сделано, так точно.

Кадровик вызвал начальника Романа, и тот повел его к себе в лабораторию – знакомиться. Дорога от проходной до лаборатории произвела на Романа удручающее впечатление. Там не было ни одного деревца или даже кустика. Нигде не было травы. Один голый потрескавшийся асфальт с многочисленными ямками, заполненными водой. Да и вода-то в этих ямках имела какой-то зловещий оттенок.

Помещение лаборатории оказалось не менее мрачным. Деревянные полы с выломанными кое-где досками. Грязные стены, которые, как казалось, никто не приводил в порядок уже много-много лет. Начальник показал Роману стол, за которым он будет сидеть. Стол был ужасно старый. Один ящик не открывался. Другой открылся со скрипом, и в нос ударил запах несвежести.

Начальник стал знакомить Романа с его коллегами. А точнее – с подчиненными. Народ был молодой, и это прибавило Роману немного бодрости. Среди всех ребят он выделил девушку Веру. Она единственная, здороваясь с ним, улыбнулась. И ему это, конечно, понравилось.

С самого начала Вера влюбилась в Романа прочно и, как потом оказалось, безнадежно. Со временем ее отношение к нему стало настолько очевидным для всех, что она даже и не пыталась скрывать это ни от него, ни от окружающих.

Роман и Вера очень сдружились. Так что многие, кто не знал их близко, были уверены, что между ними явно что-то произошло. Но самые близкие их друзья знали, что дела у Веры беспросветные. А она говорила, что может ждать сколько угодно. И если эти ожидания будут напрасными, значит, такова ее судьба. Достаточно ли серьезно она это говорила – никто определенно сказать не мог.

Вера очень нравилась Борису, который работал у Романа в лаборатории. От Романа она, конечно, не скрывала, что Борис сильно приударяет за ней. И как-то сказала:

– Борис мне признался, что у него могут быть проблемы с женщинами. Зачем он мне это говорил?

– А зачем ты мне это говоришь? – спросил Роман.

– Не знаю.

– Ну вот и я не знаю, зачем он тебе это говорил.

Роман всегда считал, что с еврейскими ребятами он может вести себя достаточно свободно. И поначалу был не против сдружиться с Борисом. Однажды они даже ездили вместе за грибами. Но потом произошла какая-то непонятная история. Борис устроил у себя дома вечеринку. Когда гости стали разъезжаться по домам, пошел проводить одного из них. Возвращался обратно по привокзальной площади. Настроение у него было прекрасное. Увидел там двух носильщиков с тележкой, на которой они развозили всякие вещи. Попросил их покатать его на этой тележке. Попросил в шутку. Но носильщикам это не понравилось. Завязалась драка, и все закончилось в отделении милиции. Там был составлен протокол, где Борис был обозначен как зачинщик драки. Дело было передано в суд.

Как было положено тогда, милиция сообщила о происшедшем по месту работы. И как было положено, тут же было назначено комсомольское собрание, на котором был поставлен вопрос об исключении Бориса из комсомола и ходатайстве перед администрацией об увольнении его с работы. Роман на собрании вступился за Бориса, хотя и считал это совершенно бесполезным. Говорил, что до решения суда вообще нельзя сказать, кто прав, а кто виноват в этом инциденте.

К удивлению Романа, его доводы были приняты во внимание. Бориса из комсомола не исключили и с работы не выгнали. Позже суд признал Бориса виновным и осудил его условно. Но на работе на это никак не прореагировали. И Роман заподозрил что-то неладное. Потом время от времени обсуждал это с Верой. А она считала, что Роман зря что-то подозревает, и никак не могла поверить, что Борис связан с гэбэшниками.

В середине восьмидесятых Роман ушел из своего ракетного ящика. Решил, что он не должен быть связан ни с какими секретами. Надеялся, что когда-нибудь все-таки сможет уехать в Америку. Летом 91-го он понял, что пробил его час. Подал заявление на отъезд. В анкете он не указал свой ракетный ящик, отметил только последнее место работы. В стране в это время была страшнейшая неразбериха. Никто не поймал его на этой «неточности», и буквально через несколько недель он получил разрешение на выезд.

После того как Роман уехал в далекие края, он перезванивался с Верой. Однажды она сообщила ему, что в 92-м рассекретили какие-то гэбэшные списки. И оказалось, что он был прав: Борис стучал все

это время, пока они там работали.

– Ну вот, – сказал он, – хорошо, что у тебя с ним ничего такого не случилось.

– А с чего ты взял, что у меня с ним могло что-то случиться?

– Ну, ты же мне говорила, что была бы с Борисом не так сурова, если бы он был чуть поумнее.

– Так я говорила это тебе. Понимаешь? Тебе.

– Ну, это был слишком тонкий намек. И вообще, я же был занят тогда.

– Мне ли не знать!

– Ну, а кто еще стучал? – спросил он Веру.

– Да чуть ли не каждый второй.

– У нас тоже?

– Нет, у нас только Борис.

– Михалыч, конечно, тоже стучал?

– Конечно. Но, ты знаешь, он меня как-то спас. У меня была там одна неприятная история, и меня хотели выгнать с работы. Так вот, он долго за меня бился и в конце концов отстоял. Я всегда считала его дубарем, а он проявил такое внимание ко мне. Бился, как за родную дочь.

– Не зря, значит, я ему помогал?

– Ты думаешь, тут есть какая-то связь?

– Теперь определенно так думаю.

В том же отделе, но в соседней лаборатории, работал бывший фронтовик, которого все звали Михалыч. Войну он прошел в гэбэшных войсках. Все это знали. Да он и не пытался ни от кого это скрывать. Конечно, все понимали, что он стучал на всех. Стучал он, как Роману тогда по какой-то причине казалось, беззлобно. Был он со всеми приветлив. И с Романом – тоже. В делах своих на работе он мало что понимал, и Роман ему иногда помогал по-соседски. Роману всегда нравились приветливые люди.

Михалыч его помощь очень ценил. И благодарил. А Роман, конечно, вполне отдавал себе отчет в том, что означают его благодарности. Но понимал, что у них есть свой предел. И уж, конечно, тогда, раньше, никак не мог себе представить, что эти благодарности могут распространиться и на Веру тоже. Теперь Роман неожиданно осознал, что те, кто стучал, могли иметь свои,

этические, принципы стука.

Они еще поговорили с Верой о том о сем. Роман посетовал на то, что его жена запаздывает с родами уже на три дня. Хотел еще что-то к этому добавить, но разговор соскользнул на другую тему, и он так и не сказал Вере все, что хотел. И они распрощались.

А через пару дней Вере позвонила из Филадельфии их общая с Романом подруга. Сообщила, что жена Романа наконец-то разродилась и Роман назвал дочку Верой. А на ее вопрос, сообщил ли он это своей Вере, ответил, что был близок к этому, но постеснялся. А потом добавил, что, конечно же, позвонит ей.

На следующий день Вера пришла на работу. Туда, где они когда-то работали с Романом. Села на свое место. Дел у нее не было никаких. Она долго сидела, ничего не делая. А потом заплакала. И так просидела и проплакала весь оставшийся день. Потихонечку. Чтобы никто не видел.

Зинаида Сергеевна

Она была замужем. Я был женат. В институте мы работали в одном отделе. Начали работать над общей темой и как-то очень быстро сблизились.

Ее звали Зинаида Сергеевна. Отец ее занимал довольно высокий пост в нашем министерстве. Нравы у нас в институте были суровые, и считалось, что о нашей с ней связи никто не знает.

Мы занимались расчетом параметров и характеристик полупроводниковых приборов для радиоэлектронной аппаратуры. Она хорошо разбиралась в том, что делал я. Считала меня почти что гением. И мне это было очень приятно. Я знал, что делает она, и гордился ее успехами.

Мы с ней сняли небольшую комнату в коммуналке. Добираться до работы нам было очень удобно. Но все окружение там было довольно мрачным. В подъезде всегда было очень грязно, пахло кошками. Жили мы на четвертом этаже. Поднимались по лестнице с крутыми ступеньками. Наша комнатка, когда мы в нее въезжали, была в довольно запущенном состоянии. Единственное окно выходило на крышу соседнего дома, и в этом было мало что приятного. Хотя, если смотреть из окна под углом, можно было видеть небольшую часть улицы, на которой мы жили.

Мы думали, что нам делать дальше. Гадали, где и как мы могли бы купить кооперативную квартиру. С деньгами у нас было очень

туго. Но мы уже прикинули, что деньги, необходимые для первого взноса, смогли бы занять. Однако, чего мы совершенно не представляли себе, – это где мы могли бы встать в очередь на квартиру. Она говорила, что ее отец мог бы нам в этом помочь. Но она боится даже подступиться к нему с такими разговорами.

Однако мы были счастливы и в нашей коммуналке. У нас было очень много общего. Ей нравились или не нравились те же книги и фильмы, что и мне. У нас были одни и те же любимые художники, писатели. Оба мы любили играть в теннис и не любили кататься на лыжах. Вот только музыкальные способности у нас были разные. У нее был превосходный слух, а у меня – весьма посредственный. Мы оба обожали летние байдарочные походы по несложным речкам. А когда дело доходило до песен у костра, мне было приятно выделять ее негромкий, но очень чистый голос среди всех других. Однажды я спросил ее, действительно ли у меня плохой слух. А она ответила, что слух у меня хороший и я должен этим пользоваться. Раз у меня хороший слух, то я должен больше слушать, а петь поменьше.

Мы почти одинаково судили о людях, которых знали. У нас были даже похожие предпочтения в еде. Оба мы любили селедку или кильку с жареной картошкой, не любили водку и с удовольствием пили ликер “*Becherovka*” и коктейли с кубинским ромом.

Мне было с ней так легко, как не было никогда и ни с кем больше. Она понимала меня с полуслова. По-видимому, и ей было тоже очень хорошо со мной. И как-то она сказала мне:

– Ты знаешь, я так счастлива теперь. У меня теперь каждый день – праздник.

Однажды я с утра был в другом институте. Там я делал доклад, и реакция на него собравшихся была для меня очень важной. Доклад мой прошел весьма успешно. Я знал, что она с нетерпением ожидает от меня известий. Но сразу позвонить ей не мог. Меня обступил народ, и еще час, наверное, были всякие разговоры вокруг моего сообщения. Наконец, я смог выбраться на улицу. Стал звонить ей из автомата. Трубку поднял Миша, парнишка, который ей помогал. Он сказал, что Зинаиде Сергеевне стало плохо и ее повезли в больницу на «скорой». Ее вызвалась сопровождать Наташа, ее близкая подруга.

Больше мне Миша ничего сказать не мог. Дал только название и адрес больницы. Я тут же поехал туда. В больнице все было организовано крайне бестолково. Только через полчаса я нашел окно регистрации. Там долго искали ее, переспрашивали имя и фамилию и в конце концов сказали, что она там не зарегистрирована.

Я опять позвонил на работу. Просил позвать Мишу. Он долго не подходил к телефону. Мне это стало очень не нравиться. Наконец он взял трубку. На мои вопросы не отвечал. Стал рассказывать, о чем он только что говорил с Наташей по телефону. Я слушал его и ждал, пока он скажет мне что-то ужасное. И это ужасное было сказано.

Не знаю почему, я поехал на работу. Там все были подавлены. Нас собрали где-то. Не помню, что было со мной. Плакал. Наверное, даже больше, чем плакал. Так что один из моих друзей сказал мне, что я должен взять себя в руки.

Я поехал в морг. Но меня туда не пустили. Я стал настаивать. Просил пустить меня к ней. Говорил, что я ее муж и мне нужно с ней проститься. Парень, который открыл мне дверь, в конце концов велел мне обождать и ушел куда-то. Он долго не возвращался. Потом вернулся и сказал мне, что пустить меня все-таки не может. И прибавил, что даже если бы его начальство разрешило мне туда пройти, то он считает, что это было бы не очень хорошо именно для меня.

Я поехал в нашу коммуналку. Стал перебирать наши вещи. Ее вещи. Это было ужасно. Совсем недавно я даже не мог предположить, что на нас может обрушиться какое-то несчастье. И вот это случилось. И я начал осознавать, что теперь уже ничего изменить нельзя.

Потом были похороны, поминки. Там был ее отец. Мне сказали, что он что-то сердито выговаривал нашему начальству, косясь в мою сторону.

Меня кормили какими-то сильными таблетками, и я уже плохо понимал, что со мной происходит, и только считал, что на этом свете все для меня кончено.

В один из дней мне, по-видимому, перестали давать таблетки. Через неделю я вышел на работу. Там меня куда-то вызвали, вроде бы посочувствовали, но сказали, что лучше мне было бы написать заявление об увольнении по собственному желанию. Это было для меня облегчением. Больше оставаться там я не мог. Я подписал все необходимые бумаги. Ко мне прикрепили девушку, которая стала помогать мне получить требуемые подписи на обходном листе. А когда я сказал, что больше всем этим заниматься не могу, она предложила мне просто посидеть и стала все оформлять за меня сама.

Когда я уже был готов уходить, ко мне потянулся народ – прощаться. Мне жали руку, трогали за плечо, что-то говорили. Я что-

то отвечал им всем. Благодарил за сочувствие. Потом сказал, что мне пора идти. Все покинули меня. Я собрал свои вещи и вышел через проходную на улицу.

Был ясный весенний день. Светило солнышко. Было много народу. Все были заняты своими делами. И все было так, как будто ни у кого ничего не случилось.

Я медленно шел по тротуару, давил остатки льдинок и отвалившиеся от сугробов кусочки тающего снега. Думал о том, что, может быть, я сейчас проснусь и это все окажется только сном. И мне все время казалось, что я вижу, как в толпе людей, где-то там, на другой стороне улицы, в переливчатых блестках солнечных лучей идет моя Зинаида Сергеевна.

Стройотряд

Летом после окончания второго курса нам с Кириллом пришлось работать в колхозе. Работа летом в колхозе была тогда практически обязательным делом. Мы там что-то строили. Называлось все это стройотрядом. А руководила нами какая-то большая комсомольская шишка.

Алина, девушка из нашей с Кириллом группы, тоже была в этом стройотряде. Она работала поварихой. У нее был парень, Артем. Он учился в другом институте, но все мы были хорошо знакомы.

Мы планировали пойти всей компанией в байдарочный поход после нашего колхоза. Но потом это дело расстроилось. Алина с Артемом сказали, что хотят поехать на пару недель в Алушту. В прошлом году Алина провела какое-то время под Алуштой. Ей там понравилось. И вот теперь они с Артемом решили отдохнуть в тех краях.

У Кирилла была девушка, Наташа. Но она появилась у него не так давно. Я знал о ней от Кирилла, но мы еще ни разу с ней не виделись. А остальные наши ребята о ней вообще не знали. Алина, естественно, тоже. А когда в нашем стройотряде у нее с Кириллом началось что-то такое, мы отнеслись к этому не очень серьезно. И, конечно же, совершенно не представляли себе, до чего это все может прийти.

К концу нашего пребывания в колхозе всем уже было ясно, что Алина влюбилась в Кирилла. А он, хотя и сохранял все время определенную дистанцию между ними, вел себя несколько легкомысленно. Они могли пойти погулять вдвоем. Подолгу разговаривали друг с другом. А когда мы были все вместе, Кирилл часто отпускал всякие шутки в ее адрес. Было видно, что это ей

ужасно нравится. И ей, по-видимому, стало казаться, что и он тоже питает к ней какие-то чувства.

Через месяц с небольшим мы вернулись в Москву. И Кирилл наконец осознал, что попал в какую-то сомнительную ситуацию. Алина все время пыталась продолжить общение с ним. Делала она это все настойчивее. А Кирилл, когда понял, что у нее это довольно серьезно, боялся ее огорчить. Под разными предлогами уклонялся от встреч с ней. Все оттягивал момент объяснения, от которого, как он начал понимать, уйти уже не сможет.

Никто из нас не знал, остались ли у Алины какие-то отношения с Артемом. И тут я случайно столкнулся с ним на улице. Он выглядел совершенно потерянным. Я сдуру спросил его про Алушту. На что он ответил, что поездка в Алушту «накрылась очень большим медным тазом».

Через несколько дней у кого-то из наших праздновали день рождения. Алина знала, что мы с Кириллом идем туда, и просила меня сделать так, чтобы ее тоже позвали. Я от этого уклонился, поскольку ожидал, что Кирилл придет туда с Наташей.

Тем не менее, когда я появился на этой вечеринке, я увидел там Алину. Она была крайне оживлена и постоянно крутилась около Кирилла. А тот казался мне довольно мрачным. Кто-то спросил его, придет ли Наташа. И он ответил, что она запаздывает, но скоро будет. Алина слышала этот разговор, но, видно, не придавала ему никакого значения. А Кирилл понимал, что должна наступить какая-то развязка, и мрачнел все больше и больше.

И вот появилась Наташа. Кирилл подошел к ней. Они обнялись. И хотя мне казалось, что никто, кроме меня, особенно не знал ситуации, тем не менее в этот момент стало тихо. Все замолчали и только бросали взгляды на Алину.

Она стояла около окна. Побледнела, покачнулась. Тарелка и бокал в ее руках стали крениться. Я хотел было помочь ей и направился в ее сторону. Она вроде бы удержалась на месте, полуприсев на подоконник. Но я все равно быстро продвигался к ней. И тут она осела на пол. Тарелка, бокал со звоном разбились, сигналив о большой беде, которая обрушилась вдруг на нашу бедную Алину.

Все бросились к ней. Обморок ее был коротким. Когда она

пришла в себя, сказала, что хочет пойти домой. Кто-то из ребят вызвался проводить ее. Но она отказалась от чьей-либо помощи. Так и уехала одна.

После этой истории у Алины открылась какая-то болезнь. Несколько раз ее клали в больницу, где она провела довольно много времени. Артем постоянно был при ней. Она ослабела и не смогла уже ходить в институт. Взяла на год академический отпуск.

От кого-то я узнал, что в больнице она выпила целую упаковку снотворного. Артем вовремя заметил это, и ее откачали.

На следующий год она перевелась в институт, где учился Артем. И больше мы не виделись. Перестали мы встречаться и с Артемом.

Я спрашивал о них у наших общих знакомых. Мне говорили, что Алина живет одна. И хотя Артем ее не оставляет, прежних отношений между ними уже нет, и, по всей видимости, они не предвидятся. На вопрос, не появилась ли у Артема девушка, мне отвечали, что об этом, судя по всему, не может быть и речи. И что он тоже живет один.

Прошло около десяти лет. От одного из общих знакомых я узнал, что Алина лет пять назад закончила учиться. Попробовала работать. Поняла, что жесткий рабочий график не для нее. Кто-то помог ей устроиться преподавать в том институте, который она закончила. Нагрузка у нее была небольшая, и это ее вполне устраивало. А совсем недавно она вышла замуж за своего бывшего студента. Вскоре после этого женился и Артем. На девушке из своего двора, которая никогда не была замужем. У нее было что-то не в порядке с ногой. Она сильно хромала.

Как-то, наверное еще лет через пять, мы встретились с Артемом у наших общих друзей. Он познакомил меня со своей женой. А сам куда-то отошел, оставив нас вдвоем. Его жена стала мне говорить, что слышала от Артема много хорошего обо мне и очень рада, что мы наконец-то познакомились. Она оказалась не такой уж дурнушкой, как ее описывали все наши общие знакомые. А когда улыбалась, то выглядела даже довольно милой.

Я спросил ее, как ей живется. И тут она заплакала. Я не знал, что делать. Ждал, когда она что-то ответит мне. А она, после того как немного успокоилась, сказала, что ее слезы были вызваны моим вопросом. И что она так счастлива с Артемом, что не может понять,

почему и за что Бог решил ее наградить.

– Мне кажется, – сказал я ей, – что Бог и сам часто не знает, кого и за что награждает, а кого и за что наказывает. Так что наслаждайтесь своим счастьем, пока Бог не передумал.

Она с испугом посмотрела на меня.

Трефовый валет

Она пришла к нам из Электротехнического института сначала как практикантка, на летний период. Я прикрепил ее к одному своему молодому программисту, Володе. Мы занимались расчетом и моделированием электромагнитных полей. И Володя стал вводить ее в курс дела. Точнее, стал рассказывать ей всякие забавные истории, которые у нас время от времени случались. Показал, как работает аналоговая вычислительная машина. И она просто была поражена, как это с помощью всяких сопротивлений и конденсаторов можно имитировать реальные электромагнитные поля. Потом я слышал, как Володя говорил ей, что с аналоговой машиной не все так уж и гладко, и на простеньких примерах показал, насколько неустойчивы ее решения. Она была удивлена и этому тоже.

У нас ей, по-видимому, все очень понравилось. И Володя как-то сказал мне, что она хотела бы, чтобы по окончании ЛЭТИ ее распределили к нам. Месяц она работала под присмотром Володи. А потом ушла в свой институт. Доучиваться.

На следующий год я столкнулся с ней около дверей отдела кадров. Она сказала, что пришла к нам на постоянную работу и что ее опять зачислили ко мне в лабораторию.

Она была молода и очень красива. А когда ей случалось улыбнуться, все наши мужики просто млели. Я опять отдал ее в помощницы к Володе. Видел, конечно, что она ему очень нравится. Но видел также, что он даже боялся ей это показать, поскольку совершенно не верил в то, что она может обратить на него какое-то внимание.

Я не ожидал от нее больших достижений. Однако с ее приходом общий тонус в моей лаборатории очень поднялся. И я считал, что хотя бы только поэтому ее существование у нас оправданно.

Народ в лаборатории работал молодой. Отношения были простыми и дружескими. Все были друг с другом на «ты». Но с ней мы практически не общались, если не считать тех общих разговоров, в которых она принимала участие. За ее работой я совсем не следил, всецело передоверив это Володе. А когда через год он сказал мне, что она начала делать кое-какие успехи и даже стала приносить нам

какую-то пользу, я был за нее очень рад.

Однажды она спросила у меня, правду ли говорят, что я могу выиграть у любого в подкидного дурака много раз подряд, даже если мне приходит плохая карта. Я ответил, что это правда. А она сказала, что не верит этому, и выразила желание сыграть со мной.

- А разве тебе в отделе кадров не говорили, что на рабочем месте в карты играть нельзя? - спросил я.

- А в обед?

- В карты не стоит играть и в обед.

- А кто же об этом узнает?! - сказала она.

Я согласился сыграть с ней в дурака в обеденный перерыв. А кто-то из наших предложил нам играть на поцелуи.

- Как это? - спросила она.

Ей объяснили, что это значит. Сначала она решительно отказалась. Но потом, почти сразу же, передумала и объявила, что согласна играть и на поцелуи.

Мы сыграли, кажется, пять или даже больше партий. Она все проиграла. Когда последняя партия закончилась, она задумалась и сказала:

- Как же так? У меня были, кажется, все козыри, кроме валета треф.

- А ты что же, не знаешь, что козырной валет - самая главная карта? - спросил я. И тут же сказал, что если она хочет у меня выиграть, то нам надо играть в пьяницу, где ни от кого ничего не зависит.

Мы сыграли в пьяницу, и она, наконец, выиграла у меня.

Следующие несколько дней она выглядела необычно. Была рассеянна, думала о чем-то. Один из наших ребят спросил ее, не пытается ли она понять, почему козырной валет является самой главной картой. Но она ничего не ответила на эту шутку.

В самом конце недели, в пятницу, когда все уже ушли домой, она спросила меня, собираюсь ли я отдавать ей свой долг.

- Какой такой долг? - спросил я.

- Карточный долг. Ты что, не знаешь, что карточный долг - это долг чести?

- Но я выиграл у тебя.

- Значит, я должна тебя поцеловать? - спросила она.

– Нет, не должна.

– Почему?

– Я тебя прощаю.

– А я тебя – нет, – сказала она. – Ведь я выиграла одну партию.

Тут она стала мне говорить, что это мое право, простить ее или нет за все выигранные мною партии. Но одну партию выиграла она, и она прощать меня не собирается.

Она была намного моложе меня, и я пытался обратить все это дело в шутку. Но она все твердила о карточном долге чести. И я, наконец, сказал, чтобы она подставляла мне свою щеку.

Щека ее немедленно была мне подставлена. Но когда я попытался поцеловать ее, она как-то извернулась и подловила меня с настоящим поцелуем. И тут она совсем неожиданно для меня сказала со вздохом: «Наконец-то!»

Меня это растрогало.

А ей, по всей видимости, стало казаться, что между нами что-то определенно произошло. Но когда она попробовала подойти ко мне опять, я уклонился от этого самым решительным образом.

– Ты же выиграла только одну партию, – я еще пытался обратить все в шутку.

– Ну что ж, – сказала она, – я не подойду теперь к тебе никогда в жизни!

И тут, то ли потому что я почувствовал за собой какую-то вину перед ней, то ли по какой-то другой причине, но мне стало неприятно, что она на меня обиделась, и я сам подошел к ней. С этого дня наш роман начал стремительно развиваться.

Нашу с ней связь трудно было скрыть. По тому, что мои отношения со многими нашими сделались более прохладными, я понял, что в нее были тайно влюблены почти все мои друзья на работе.

Чем дальше, тем больше я начинал понимать, что она становится для меня совсем не безразличной. Но одновременно с этим я тяготился нашей связью. Моя непростая жизнь делалась еще более сложной. И вот однажды, когда мы поссорились из-за какой-то ерунды, я не стал искать примирения. Несколько дней мы не разговаривали. А потом мне пришлось уехать в командировку на неделю. Когда я вернулся, она пыталась помириться. Но на все ее попытки я отвечал решительным отказом.

Поначалу она переживала наш разрыв. Но со временем остыла. И даже, как мне казалось, стала принимать знаки внимания со стороны наших ребят.

Она проработала у нас еще несколько месяцев. А потом неожиданно объявила о своем уходе.

После того как она ушла, кто-то из наших еще поддерживал с ней отношения. От них я узнал, что она вышла замуж. Родила двух мальчиков. Муж стал хорошо зарабатывать в 90-х. Но как-то он поехал по делам в Новокузнецк и не вернулся. Его там убили.

Она вновь вышла замуж и уехала на родину мужа, в Эстонию. Они работали там в рыболовецком хозяйстве. Жили бедно.

Однажды она оказалась в Питере. Позвонила мне. Звонок ее был для меня неожиданным. Я не мог свободно с ней говорить. Она была очень этим недовольна и сухо распрощалась со мной.

А потом ее след потерялся для меня.

* * *

В последний ее день у нас на работе, когда все мои ребята ушли и оставили нас одних, она сказала:

- Ну что ж, давай прощаться.

- Давай, - сказал я. - Желаю тебе устроиться хорошо на новом месте. И вообще, пусть у тебя все будет хорошо.

- И это все? Вот так ты со мной прощаешься?

Я подошел к ней. Мы поцеловались. И немного постояли, обнявшись.

- Будешь меня вспоминать? - спросила она.

- Конечно, - сказал я.

Она пошла к дверям. Там оглянулась на меня и сделала какое-то неясное движение губами. Потом вышла и осторожно прикрыла за собой дверь.

Все внутри у меня разрывалось на части. Мне хотелось выть от отчаяния. Я готов был броситься за ней. Но я не знал, что скажу, когда догоню ее. И я стоял на месте, закрыв лицо руками.



Игорь Ефимов - (1937 г.р.,

Москва) - писатель, философ, издатель. Эмигрировал в 1978 году, живет с семьей в Америке, в Пенсильвании. Автор двенадцати романов, среди которых «Зрелища», «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена», «Пелагий Британец», «Суд да дело», «Новгородский толмач», «Неверная», «Обвиняемый», а также философских трудов «Практическая метафизика», «Метаполитика», «Стыдная тайна неравенства», «Грядущий Аттила» и книг о русских писателях: «Бремя добра» и

«Двойные портреты». В 1981 году основал издательство «Эрмитаж», которое за 27 лет существования выпустило 250 книг на русском и английском языках. Преподавал в американских университетах и выступал с лекциями о русской истории и литературе. Почти все книги Ефимова, написанные в эмиграции, были переизданы в России после падения коммунизма. В 2012 году в Москве были опубликованы его воспоминания в двух томах: «Связь времен». Более подробную информацию можно получить на сайте www.igor-efimov.com.

*«Эрмитаж» отправляется в плавание**

Первый каталог «Эрмитажа»

К концу 1980 года финансовая ситуация в издательстве «Ардис» (штат Мичиган), где я работал редактором, ухудшилась настолько, что сотрудники порой в назначенный день не находили ежемесячного чека на своих рабочих столах. Кроме того, по многим приметам я мог понять, что после двух лет работы я впал в немилость у владельца, Карла Проффера, и долго терпеть меня он не будет.

Да, «подставь правую щеку, когда тебя ударили в левую» - высокий призыв. Однако там же, в Евангелии, Христос говорит: «Много званых, но мало избранных». На «избранного» я не потянул, правую щеку подставить не сумел. Кроме того, никак не мог ощутить свою семью, своих «домашних» - врагами. Мне надо было спасти себя и их - это сделалось главной задачей. И виделся единственный путь: превратить наше наборное дело в полноценное русское издательство.

В начале марта 1981 года я разослал письма знакомым писателям-эмигрантам, извещая их о своем намерении, приглашая присылать

* Глава из мемуаров автора «Связь времен» (Москва: Захаров, 2012, том 2).

рукописи в новое издательство. Многие откликнулись, издательский портфель стал быстро наполняться. К маю мы смогли выпустить первый каталог, в котором объявляли о девяти запланированных книгах. Среди них были: сборник пьес Василия Аксенова, роман Георгия Владимова «Три минуты молчания» (без цензурных изъятий, сделанных в советском издании), сборники рассказов Руфи зерновой и Ильи Суслова. Список открывало имя Сергея Аверинцева – я давно мечтал издать под одной обложкой репринты его статей, печатавшихся в журнале «Вопросы литературы» в 1960-е годы. Он был единственным нашим автором, жившим в тот момент в России, но я полагал, что перепечатка на Западе материалов, одобренных советской цензурой, не может представлять никакой опасности для него.

В сопроводительной вводке к каталогу говорилось:

«Четверть века назад стена, разделившая русскую литературу в 1917 году на две части, дала первую трещину. С тех пор процесс разрушения этой стены шел необратимо. Советская цензура не может уже больше никого приговорить к литературному небытию – рукописи и авторы получили возможность ускользать от нее на Запад. Русский читатель в России не обречен теперь довольствоваться подцензурным оскопленным творчеством – почти любая книга, изданная на Западе, любой журнал прорываются обратно в Россию... Русская литература последней четверти века – вот главная сфера деятельности нового издательства “Эрмитаж”. Участие в процессе разрушения разделяющей стены – главная устремленность. Поэтому в ближайшие годы мы планируем печатать романы и поэмы, литературоведческие сборники и философские исследования, пьесы и мемуары, написанные в послесталинскую эпоху русскими авторами, живущими как по эту сторону границы, так и по ту».

Адреса главных магазинов русской книги были собраны мною еще в Вене, адреса главных американских библиотек мы без труда нашли в специальных справочниках. Наш каталог представлял собой просто рекламную листовку, без труда влезавшую в стандартный конверт, поэтому рассылка нескольких сотен экземпляров обошлась не очень дорого. И какое это было счастье – получить в конце апреля первые заказы!

Самым крупным покупателем русских книг была нью-йоркская организация «Международный книгообмен» (*International Book Exchange*), занимавшаяся засылкой зарубежных изданий в Россию. Ведавшая закупкой Вероника Штейн знала меня еще по публикациям в «Гранях» и «Посеве» и сразу протянула руку помощи.

Вскоре пришли и заказы из нью-йоркской «Руссики», из мюнхенского «Нейманиса», из парижского *Le Livre russe*, из японского *Nisso-Tosho*. Оставалось только спешить с набором обещанных книг, с подготовкой макетов, с отправкой их в типографию.

Между тем в Лос-Анджелесе открылась конференция русских писателей в эмиграции. Профферы уехали на нее, «забыв» объяснить мне, куда они едут. Довлатов впоследствии забавно описал происходившее там в повести «Филиал». Имена участников спрятал за прозрачными псевдонимами: Владимир Максимов – Большаков, Андрей Синявский – Беляков, Виктор Некрасов – Панаев, Наум Коржавин – Ковригин. Только Эдуард Савенко был оставлен под своим собственным псевдонимом – Лимонов. Вот как в «Филиале» описана одна из дискуссий:

«Каждому участнику было предоставлено семь минут. Наступила очередь Ковригина. Свою речь он посвятил творчеству Эдуарда Лимонова. Семь минут Ковригин обвинял Лимонова в хулиганстве, порнографии и забвении русских гуманистических традиций. Наконец, ему сказали:

– Время истекло.

– Я еще не закончил.

Тут вмешался аморальный Лимонов:

– В постели можете долго не кончать, Рувим Исаевич. А тут извольте следовать регламенту.

Все закричали:

– Не обижайте Ковригина! Он такой ранимый!

– Время истекло, – повторил модератор.

Ковригин не уходил.

Тогда Лимонов обратился к модератору:

– Мне тоже полагается время?

– Естественно. Семь минут.

– Могу я предоставить это время Рувиму Ковригину?

– Это ваше право.

И Ковригин еще семь минут проклинал Лимонова. Причем теперь уже за его счет.»

А в письмо ко мне от 4 июня Довлатов вставил такую шаржевую зарисовку:

«На одном из банкетов в Калифорнии Бобышев сидел рядом с Алешковским. Тот изъяснялся в обычной красочной манере. Дима

сказал:

– Ругаясь матом, вы оскверняете Богородицу.

Алешковский рассердился и закричал:

– Трах-та-ра-рах тебя вместе с богородицей!

На что Дима сдержанно ответил:

– Оскверняя же Богородицу, вы оскверняете Россию.

На что Алешковский еще громче заорал:

– Россию – тем более трах-та-ра-рах!

В такой академической обстановке проходила конференция.»

К моему изумлению, Карл Проффер тоже решил по возвращении рассказать мне о конференции, приглашения на которую я не был удостоен. Он спустился из своего кабинета к нам, уселся рядом с моим столом и два часа, в самой благодушной и дружелюбной манере, описывал мне участников, пересказывал их речи и реплики, советовался о том, кого из них стоило бы привлечь к сотрудничеству с «Ардисом», перечислял тех, кто спрашивал обо мне и передавал привет. На вопросы «А почему Игорь не приехал?» он отвечал: «Видимо, не смог».

Я ничуть не сердился на это лицедейство, расспрашивал его с интересом, никак не показывал, что у меня тоже для него заготовлен сюрприз. Этот сюрприз я, уезжая домой, положил на стол в его кабинете: конверт, в котором лежал каталог «Эрмитажа» и письмо от нас с Мариной:

«5-16-81. Привет вам, Карл и Эллендея! Хотите верьте – хотите нет, но мы, действительно, начиная эту затею с собственной фирмой, не предполагали, что жизнь так быстро станет подталкивать нас в сторону превращения в издательство. Но что было делать? Люди не хотели давать нам заказы, если мы не брали на себя и всю остальную работу по выпуску книги и дальнейшему ее распространению. Значит пришлось разворачивать и печатание, и рекламно-торговую часть, и все остальное.

Мы очень надеемся, что вы нас не проклянете за это, не рассердитесь, не назовете “змеей, пригретой на груди”. Ведь никакой серьезной конкуренции мы вам не представляем. Все лучшие рукописи, как и прежде, будут поступать сначала к вам – и благодаря авторитету “Ардиса”, и благодаря тому, что вы можете финансировать их издание. Карл много раз выражал даже удовольствие, когда видел вещь, отвергнутую “Ардисом”, напечатанной в другом месте. Он даже высказывал убеждение, что почти все русские книги – убыточны. Я с этим не согласен, думаю,

что небольшой доход с них можно получать (достаточный для наших запросов), но, конечно, он не сравним с тем, что приносят “Ардису” английские издания в твердых обложках.

Какой бы ни была ваша реакция (презрительной, возмущенной или снисходительно-одобрительной, как к неопытным щенкам), хотелось бы, чтобы она была выражена прямо, не растворена в тягостном затяжном молчании.

Какой бы ни была ваша реакция, мы никогда не забудем, что именно благодаря вам мы были избавлены от тягостной неопределенности даже в первые месяцы эмигрантского пути, что это вы поддерживали нас и направляли наши первые шаги в Америке, что это у вас научились мы книгоизготовительному ремеслу.

Всего вам успешного, доброго и процветающего,

Игорь, Марина.»

Мы погрузились в тревожное ожидание ответа. Марина была уверена, что меня уволят. Я говорил, что не решатся выбросить на улицу человека с семьей из пяти женщин (моя мать к тому времени уже присоединилась к нам). Ответ пришел на третий день. Он начинался фразой:

«Настоящим письмом Вы уведомляете, что с 1 июня 1981 года Вы освобождаетесь от обязанностей редактора в издательстве “Ардис”.»

НВ: Американцу, потерявшему работу, приходится без конца переписывать и рассылать в сотни мест свое краткое приукрашенное жизнеописание – резюме. Попробуй тут не влюбиться в себя и не озлобиться на всех не ценящих.

На раздутых парусах

Снова и снова я хочу отдать должное Профферам: условия разрыва, предложенные ими, были щедрыми, обеспечивали нас заказами на наборные работы для «Ардиса», давали возможность первое время продержаться на плаву. Но, конечно, не одна щедрость и доброта двигали ими. Летом 1981 года в Америке им просто не удалось бы найти фирму, которая могла бы выполнить нужный им объем русского набора в такие сроки, за такую цену и такого качества, как в «Эрмитаже». Звериные законы рыночной конкуренции вдруг обернулись для нас хорошей защитой.

Однако личные отношения были порваны бесповоротно.

Осенью, оказавшись в Нью-Йорке, мы навестили Бродского. Сидели в крошечном садике за его домом на Мортон-стрит, и он сказал с усмешкой:

- Неделю назад на этих же стульях сидели Профферы. Вы можете себе представить, что они про вас рассказывали.

Каким-то своим чутьем, натренированным на близкую опасность, тревожную ситуацию угадала и бабушка Марины, Олимпиада Николаевна. Она выбрала минуту, когда мы оказались наедине, и стала уговаривать меня помириться с Карлом:

- Ты повинись перед ним, уступи, - говорила она. - Он ведь какой человек полновластный. Подумай о нас - что с нами-то будет.

Но у меня страха перед будущим не было. Пользуясь тем, что моя мать теперь могла присмотреть за Олимпиадой Николаевной, мы с Мариной и Наташей уехали на весь июль в отпуск. На две недели у меня была путевка в писательскую колонию Макдаулл в Нью-Хэмпшире (*MacDowell Colony*), где гостям предоставлялся отдельный коттедж посреди леса для творческих занятий и трехразовое питание в клубе-ресторане. Марина с Наташей это время проводили у Штернов в Массачусетсе, а потом мы вместе поехали смотреть Ниагарский водопад. В какой-то момент навестили Алешковских в Коннектикуте. Этот визит остался в памяти двумя эпизодами.

Подъезжаем к дому, выходим из машины. Голый по пояс хозяин появляется на крыльце.

- Здравствуйте, Юз, - говорит Марина.

- Ой, только без этих ваших петербургских штучек, - отвечает Алешковский.

Вечером, закончив пир, сидим за столом, судачим о литературе и политике. Алешковский всех низвергает и поносит, я - пыхтя - пытаюсь заступаться. Юз покладисто объясняет:

- Ты пойми, мне просто нравится так говорить: «Черчилль и Рузвельт - говно! Продали в Ялте Сталину Польшу». Ведь красиво звучит, а? «Черчилль и Рузвельт - говно».

В «Ардисе» у Алешковского уже вышли две книги, третья буксовала. Я предлагал ему, в случае отказа, издать «Синий платочек» у нас. Но его не устраивала плата: 10% с каждого проданного экземпляра.

- Нет, - говорил он, - мы этот ваш десятипроцентный заговор похерим.

Заговоры мерещились ему всюду. «Знаю, в Германии мои книги Копелев, гад, тормозит. А вот кто во Франции - еще не узнал».

Впоследствии, когда выяснилось, что и десять процентов с продажи русских книг мало кто мог платить, семье Алешковских долгие годы пришлось жить на зарплату жены Ирины, получившей преподавательскую работу в колледже.

К зиме 1981–82 года мы уже видели, что недостатка в авторах у «Эрмитажа» не будет. Новый каталог пришлось изготавливать не в виде листовки, а в виде небольшой брошюры. В ней были перечислены 26 книг «Эрмитажа» плюс 20 книг других издательств, перепродававшихся нами без скидки. В списке мелькали довольно заметные имена.

Эрнст Неизвестный предоставил нам свой трактат «О синтезе в искусстве», на русском и английском, сопровождавшийся большим количеством его гравюр и рисунков.

Сергей Довлатов обещал к маю закончить книгу о своей лагерной службе («Зона»).

Интересную рукопись о скульпторе Антокольском прислал из Чикаго Феликс Аранович.

Знаменитый телепат Вольф Мессинг был увлекательно описан в воспоминаниях его многолетней подруги, Татьяны Лунгиной.

Имена Ростроповича, Вишневецкой, Владимира Максимова, Бродского и других всплывали в сборнике в интервью с ними, подготовленном Беллой Езерской.

Ученик Гольденвейзера, известный пианист Дмитрий Паперно, прислал свои мемуары.

Сборник смешных четверостиший Игоря Губермана, сидевшего тогда в лагере, переслал нам его друг, Юлий Китаевич.

Включены были в каталог и первые две книги на английском: сборник рассказов Бунина в переводах Роберта Бови и небольшой роман профессора Пола Дебрецени, действие которого разворачивалось на фоне международной литературной конференции «В защиту культуры», проходившей в Париже в июне 1935 года. Работа накатывала в таких объемах, что мы даже вынуждены были нанять помощницу и обучать ее наборному делу.

Свой новый роман «Архивы Страшного суда» я тоже рассчитывал закончить к маю 1982-го. Он был опубликован Виктором Перельманом в летних номерах журнала «Время и мы», и это позволило мне не делать набор для книжного издания: я просто соорудил макет для типографии из разрезанных журнальных страниц. На книгу было много положительных откликов, Би-Би-Си прочла его на Россию целиком. Роберт Бови был так увлечен этим романом, что тут же засел за перевод.

В общем, новоиспеченные предприниматели были полны

энергии и оптимизма. Ноги нащупали твердое дно, голова поднялась над поверхностью воды. Теперь предстояло расширять отвоеванный плацдарм.

NB: Единственный способ утереть нос очень богатому – стать очень счастливым.

Три волны

В свое время много писалось и говорилось о непреодолимых конфликтах между тремя волнами русской эмиграции. Возможно, они имели место, но мы с Мариной не сталкивались с прямой враждебностью со стороны первых двух волн. И среди наших друзей в Америке, и среди авторов «Эрмитажа» были представители всех трех. Андрей Седых, начинавший свою журналистскую карьеру еще во Франции 1920-х, охотно печатал новых эмигрантов в своей газете «Новое русское слово», принимал их на работу. Другой представитель первой волны, Роман Гуль, тоже открывал для нас страницы своего «Нового журнала». И наоборот, в нашей третьей волне нашлось достаточно людей, которых мы старались избегать всеми способами и увертками, которые сделались нашими врагами и даже мучителями.

В каталогах «Эрмитажа» за 1981–1986 годы первая волна была представлена книгами Александра Давыдова, Владимира Виссона, Николая Полторацкого, Зинаиды Жемчужной, Ростислава Плетнева, Николая Ульянова, Елены Якобсон, не говоря уже о классиках – Бунине, Мережковском, Георгии Иванове. Представителей второй волны было меньше, но зато с двумя из них мы сдружились семейно: с поэтом Иваном Елагиным и прозаиком Леонидом Ржевским. Доминировала, конечно, третья волна и авторы, жившие в России: Сергей Аверинцев, Игорь Губерман, Михаил Еремин, Ирина Ратушинская, Соломон Шульман, а также те, кого мы включили в антологию «Избранные рассказы шестидесятых» (1984).

Поток присылаемых нам рукописей распадался на три неравных разряда.

Первый – талантливые или познавательно интересные или научные книги и учебники, выполненные на хорошем уровне, которые мы были готовы издать под маркой «Эрмитажа» либо за свой счет, либо распределив расходы между нами и автором. У многих университетов, не имевших своего издательства, существовали фонды для поддержки публикаций своих профессоров. Этот источник был использован для финансирования многих литературоведческих трудов.

Второй разряд – рукописи слабенькие, требовавшие серьезной

редакторской правки, которые мы были готовы *изготовить* за деньги, с тем чтобы отдать весь тираж автору для самостоятельного распространения. Для таких мы открыли специальный филиал, который назвали «Перспектива». Все же под этой маркой вышло несколько книг, имевших спрос. Пример – «История русской литературы двадцатого века», написанная Ростиславом Плетневым. Автор, представитель первой волны, рос и получал образование в Чехословакии. Его русский язык порой звучал как неловкий перевод с иностранного. Но он так покладисто принял нашу редактуру, что, в конце концов, издание получилось вполне пристойным, и многие профессора рекомендовали книгу своим студентам.

Третий разряд – безнадежная графомания, которую ни исправить, ни улучшить не было никакой возможности. Эти отсылались назад с вежливым отказом.

И во всех трех разрядах могли вспыхнуть затяжные конфликты с авторами, отнимавшие силы, время, нервы.

Например, пожизненный профессор штатного университета в Лансинге (Мичиган), Александр Дынник (вторая волна), никак не мог понять, почему мы отказывались издать его книгу о русской литературе даже под маркой «Перспективы», при том что он был готов полностью оплатить издание. Его профессорская карьера началась в начале холодной войны, когда нехватка преподавателей русского языка заставляла университеты брать кого угодно прямо из лагерей для перемещенных лиц. «Кроме большой силы характера, Герман обладал также секретом трех карт», писал профессор Дынник. «С годами пушкинский эрос проникается логосом и обретает устойчивость и внутренний свет.» «Вид физических достоинств Одинцовой смутил Базарова». В его рукописи я подчеркивал фразу «Его язык отличался богатством слов» и писал на полях: «Так нельзя сказать». Он исправлял: «Его язык отличался богатством языка». И снова: «Печорин считал это сильной слабостью своего организма».

С дамой по имени Тамара Майская (третья волна) мы поначалу договорились об *изготовлении* сборника ее пьес под маркой «Перспективы». Но посреди работы она вдруг стала требовать, чтобы книга была издана под маркой «Эрмитажа». Мы не могли включить в свой каталог пьесы, в которых чуть не на каждой странице встречались перлы вроде «как подкошенная, откинув вперед грудь, она падает на руки учителя»; «Александр делает утвердительный знак голосом»; «остальные с гиком выходят из класса». Убедившись, что ее требования в письмах не достигают цели, Майская принялась звонить чуть не каждый день и честно предупреждала: «Игорь

Маркович, сядьте покрепче на стул. Потому что я вам сейчас такой скандал закачу – на ногах не устоите». И закатывала. Но книга ее у нас так и не вышла.

НВ: Графоманская страсть к писательству – это страсть к словоизлиянию, которое уже никто не посмеет и не сможет прервать.

«Нас на мякине не проведешь!»

Да, отношения с авторами порой складывались нелегкие. Но и от читателей-покупателей можно было ждать всяких сюрпризов.

На очередной славистской конференции арендуем за немалые деньги выставочный стол, раскладываем книги для продажи, каталоги. Проходят американцы, листают наши издания, восхищаются, покупают.

– Какие хорошие книги вы издаете! Какие вы молодцы! И учебники, и литературоведенье... Поразительно – как вы выживаете? Вы нам очень нужны – держитесь!

Проходят русские, услышавшие, что здесь продают книги со скидкой. Немолодой господин, с презрительно выпяченной губой, берет со стола предмет нашей гордости – только что выпущенную повесть Фридриха Горенштейна «Искушение».

– Что? Восемь-пятьдесят за книжонку в полтора ста страниц? Да я вчера американский роман в пятьсот страниц купил за пять долларов. И не стыдно драть такие деньги со своего брата – эмигранта? Рвачи! Там на нас наживались и здесь хотят.

Тертый калач, знает жизнь, видит всех насквозь. Помнит, какая малина была писателям в России: свои дома отдыха, специальные клубы и поликлиники, рестораны и дачи. Наверное, и здесь сумели устроиться, наверное, и здесь сосут кровь из простого человека.

Интеллигентного вида покупательница листает книгу Марка Поповского «Дело академика Вавилова», с предисловием Андрея Сахарова. Уже полезла за кошельком, но приятельница хватает ее за руку:

– Ты что?! Эта книга уже есть в нашей библиотеке, я для тебя возьму. Нечего деньгами швыряться.

Подходит эмигрантка третьей волны, сумевшая устроиться на работу в отдел закупок в библиотеке провинциального университета.

– Надя, – говорю я, – давно хотел спросить вас: ваша библиотека покупает наши книги не прямо у нас, а через посредника. Почему?

– Так нам удобнее осуществлять компьютеризацию. А

компьютеры экономят наш труд.

- Какой же труд здесь экономится? Вы ведь все равно должны открыть наш каталог и просмотреть его, чтобы выбрать нужные вам книги. Какая разница после этого - пошлете вы заказ нам или посреднику?

- А вам какая разница?

- Огромная! Посреднику мы отдаем сорок процентов скидки.

- Ну, это уж не наше дело.

- Надя, это поветрие идет сейчас по всем библиотекам. Мы ежегодно тратим на выпуск и рассылку каталога пять тысяч долларов. Вы пользуетесь информацией о наших книгах из этого каталога, пользуетесь нашим трудом, а деньги отдаете посреднику. Справедливо ли это?

- Так нам удобнее.

- Но мы не продержимся при таких условиях продажи.

- Не продержитесь - значит разоритесь. Только и делов. Вы попали в мир капитализма, вот и выкручивайтесь как знаете.

Говорить дальше бессмысленно. Законы капитализма мы знаем гораздо лучше нее - она-то все еще в мире социализма, на университетском окладе. Все же я продолжал взывать к русскому читателю, писал статьи. Объяснял, что себестоимость американской книги, выпускаемой тиражом 100 тысяч экземпляров, будет всегда в десять раз меньше себестоимости русской при ее тираже хорошо если одна тысяча. Поэтому и продажную цену американцы могут назначать ниже наших. Не помогало.

Василий Аксенов любил говорить, что для спасения русской литературы за рубежом хватило бы суммы равной стоимости крыла бомбардировщика Би-1. Но так как никто не собирался ради нас отламывать от бомбардировщика это мифическое крыло, надеяться мы могли только на себя.

Позиция тотального скепсиса и недоверия всем и вся была так похожа на мудрость, что многие в эмиграции выбирали именно ее. Обращается к нам новый автор, предлагает рукопись своих воспоминаний. Оказывается, в России он был музыкальным директором в театре Аркадия Райкина.

- Да, это может быть интересно - присылайте.

- Как же я могу прислать, - возражает автор мягким интеллигентным голосом. - Ведь вы можете украсть мои воспоминания и опубликовать их под своей фамилией.

- Что же вы предлагаете? Как иначе я могу ознакомиться с

текстом и понять, подходит нам книга или нет?

- Можно я приеду сам и привезу?

- Пожалуйста.

Приезжает с женой. Мы устраиваем чай с печеньем и вареньем, сидим, мило беседуем, вспоминаем Ленинград, вспоминаем спектакли Райкина. («Суворовские чудо-богатыри катятся с горы на чем? На всем!») После часовой беседы расслабившийся автор говорит:

- А теперь расскажите мне подробно, как я могу узнать - быть уверен, - что вы меня не обманываете?

Что я мог ответить на это? Поклясться на могиле отца и матери? Но могилы отца, расстрелянного в 1937 году, я не знал, мать была жива и сидела с Наташей в своей квартирке неподалеку от нас. Пришлось мне честно сознаться, глядя ему в глаза:

- Если я захочу вас обмануть, то обману так, что вы об этом никогда не узнаете.

Разочарованный автор удалился, увозя свою бесценную рукопись. Впоследствии он издал ее сам, но большого резонанса она не имела.

В почтовом ящике тоже часто обнаруживались неприятные сюрпризы. Один бывший автор прислал проклятья на пятнадцать рукописных страницах только за то, что я в письме назвал его г. Шерман, а не Александр Исакович, как бывало пять лет назад. (А я просто забыл имя-отчество.) Приведены были три варианта писем, какие должен был бы написать ему вежливый человек, а не хамло вроде меня, и три варианта ответов, которые бы дал мне на них вежливый Александр Исакович. Другой автор обнаружил в присланных гранках своей книги ошибку - «впуст» вместо «впуск». «Это, видимо, какое-то новое слово из вашего советского слэнга, - писал он. - Попрошу мне вашу советчину не навязывать». «Или докажите, что я не послал вам 50 долларов в покрытие вашей накладной, - писал читатель-заказчик, - или публично извинитесь и платите 50 долларов за оскорбление». Я ему написал: «50 долларов за оскорбление - вполне справедливая цена. Но проблема в том, что наша секретарша, прочитав Ваше письмо, потеряла от страха дар речи, ее пришлось возить к врачу, и это стоило нам 400 долларов. Так что, пожалуйста, вычтите эти оскорбительные пятьдесят из нашего счета и шлите нам всего лишь 350 долларов».

Случались конфликты и на политической почве. Главный редактор газеты «Новое русское слово», Андрей Седых, прочитал изданные на Западе лагерные письма Игоря Огурцова и был так

тронут ими, что опубликовал у себя в газете настоящий панегирик узнику ГУЛАГа, смелому борцу с большевизмом. Я написал ему письмо, спрашивая, знает ли уважаемый Яков Моисеевич (настоящая фамилия Седых – Цвибак) о целях и политической программе подпольной организации ВСХСОН, созданной Игорем Огурцовым. Ссылаясь на слова своего знакомого, Михаила Коносова, отсидевшего в лагере четыре года за участие в этой организации, я перечислил те пункты их программы, которые сближали их с гитлеризмом: демократия России не нужна, авторитарный строй, никаких разговоров о праве наций на самоопределение, вся власть – господствующей церкви, евреев «попросить уехать», а тех, кто не захочет, ОЧЕНЬ попросить.

Яков Моисеевич был ошеломлен и переслал копию моего письма сторонникам Огурцова в Америке, спрашивая, правда ли это. Открыто отрицать они не могли и попытались задавить источник всплывшей информации, то есть меня. Так совпало, что одна из активных сторонниц Огурцова, дама по имени Вера Политис, жила в Энн Арборе. И перед началом службы в православной церкви она подошла к моей матери, только что приехавшей в Америку, и спросила:

– Вы мать Игоря Ефимова?

Бедная Анна Васильевна, привыкшая слышать только похвалы своему сыну, не ожидая ничего худого, заулыбалась и сказала «да».

– Так вот, вы передайте своему сыну, что порядочные люди так не поступают. Мы тут все ведем кампанию в поддержку Игоря Огурцова, а он призывает не бороться за его освобождение из лагеря. У него уже были за это крупные неприятности, а будут еще хуже – так и передайте.

Моя бедная матушка чуть не упала в обморок тут же, на церковных ступенях.

В другой раз миссис Политис, без предупреждения, приехала к нам домой, привезя с собой главного идеолога организации ВСХСОН, Евгения Вагина, отсидевшего в лагере восемь лет. Дома была только Марина, и она так и не поняла, чего хотели непрошенные гости. Выяснить отношения? Убедить мистера Ефимова, что Коносов неправильно представил ему программу организации? Просто припугнуть? Больше они не появлялись, и обещанные «крупные неприятности» так и не случились.

NB: В двадцатом веке русский борец с большевизмом так сцепился со своим противником, что стал слепком с него.

Конференция в Милане

Она проходила в мае 1983 года под эгидой журнала «Континент» и называлась «Континент культуры». Главный редактор журнала, Владимир Максимов, удостоил меня приглашением. В памяти сохранились обрывки встреч, разговоров, выступлений – попробую воспроизвести их в виде портретных зарисовок.

ВЛАДИМИР МАРАМЗИН приехал из Парижа на машине, пересек Альпы. В магазинчике на горном перевале купил себе новые перчатки, был абсолютно счастлив ими, призывал нас разделить его восторги. Вечером повез компанию бывших ленинградцев в какой-то особенный итальянский ресторан. Мы все были радостно возбуждены встречей, разговор вскипал обычным набором имен – Бродский, Цветаева, Булгаков, Ахматова, Платонов, Солженицын, Зощенко, Пастернак, Бродский – и никак не откликались на призывы Марамзина вчитаться в меню, вдуматься в глубинную разницу между лингвиньей с крабами по-сицилийски и лангустами по-неаполитански. («Володя, да выбери сам! Откуда нам знать!») Огорченный Марамзин, наконец, прервал мою тираду об упадке кантианства в американских университетах, взял меня за руку и укоризненно попросил:

– Игорь, ты можешь на пять минут *стать серьезным?*

На очередном банкете оказываюсь рядом с ДМИТРИЕМ БОБЫШЕВЫМ. Он, глядя перед собой, тянет в интонациях задумчивого недоумения:

– Вот как это так получается: я уже полчаса сижу рядом с издателем и не слышу от него предложений опубликовать сборник моих стихов?

– Ну, Дима, ты же знаешь – стихи не продаются. Слабоваты мы еще для таких затей, кишка тонка.

– Не знаю, не знаю. У вас в каталоге уже есть сборники Волохонского, Губермана, Елагина, Еремина. Вы также собираетесь издавать Ратушинскую.

– Те все были изданы на деньги их друзей. Ратушинскую будем издавать совместно с Международным Пен-клубом, они берут на себя финансирование. Поверь, для вашего брата одно спасение – переходить на прозу. Как Лимонов, как Саша Соколов.

Ирина Ратушинская была в том году арестована и судима в Киеве. Бродский напишет в предисловии к ее сборнику, вышедшему у нас на трех языках в 1984 году: «На исходе второго тысячелетия после Рождества Христова осуждение двадцативосьмилетней

женщины на семь лет каторги за изготовление и распространение стихотворений неугодного государству содержания производит впечатление дикого неандертальского вопля».

Как раз в дни конференции пришло из России сообщение о приговоре суда: Ратушинской дали семь лет лагеря и пять лет ссылки. Состоялся импровизированный митинг протеста. Среди прочих на нем выступил только что приехавший из Германии АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. Он возник на трибуне, обвел зал широко раскрытыми белесыми глазами и начал как бы в задумчивости:

– Да, друзья мои, ужасно... Отвратительно... Молодую женщину, на семь лет... Тяжелое наказание, конечно... – Он сделал паузу. Потом набрал в грудь воздуха и почти прокричал с трагическим надрывом: – Но по чести, положи руку на сердце – разве можно это сравнить с тем, *как нас наказали?!* Выбросить с родины, на чужбину, оторвать от родного языка, от родных могил!.. С чем можно сравнить подобное наказание?!

Зал смущенно молчал. Впоследствии мне довелось прочесть исповедальную статью профессора логики Александра Зиновьева, в которой он каким-то изломанным путем объяснял трагедию своей судьбы: он, оказывается, всю жизнь был горячим антисталинистом, в юности даже планировал с приятелями убийство вождя, а в зрелые годы горько сожалел об этом периоде. Раскаившийся антисталинист, но при этом и диссидент – для такой формулы, и правда, нужны были какие-то новые логические ходы, Аристотелю неведомые.

Волнующей была встреча с РОБЕРТОМ КОНКВЕСТОМ, автором книг «Большой террор» (сталинские чистки 1930-х), «Жатва скорби» (террор голодом на Украине в 1932–33) и многих других. Если когда-нибудь Сталин и его пособники предстанут перед Страшным судом, не найти будет лучшего прокурора, чем этот величайший историк советского периода. Обладая фантастической памятью, он воскрешает на страницах своих книг тысячи имен – жертв и палачей страшной эпохи. Я выразил ему свое восхищение и благодарность, а также уверенность в том, что придет пора, когда его книги будут издаваться в России стотысячными тиражами. И что же я обнаружил, заглянув в русский интернет в 2011 году? После падения коммунизма «Большой террор» был издан только один раз, в Риге, в 1991 году. Сегодня он существует на рынке только в электронном виде. «Жатву скорби» выпустило по-русски в 1988 году лондонское издательство «Оверсис», потом она вышла в Киеве в 1993 году – и это все. Зато одна за другой в сегодняшней Москве, в центральном издательстве «Эксмо», выходят книги американского неосталиниста, Гровера Ферра – «Антисталинская подлость» (2007), «Оболганный Сталин»

(2010), «Правосудие Сталина» (2010). В душе невольно всплывают строчки Бродского: «Тоска, тоска, хоть закричать в окно...»

Лондонским издательством «Оверсис» (*Overseas Publications Interchange*), финансируемым из британских правительственных источников, заведовал в те годы достойнейший отпрыск первой волны С.Н.МИЛОРАДОВИЧ. К тому времени «Оверсис» выпустил уже много интересных книг, и я от души благодарил за них директора. Двум русским издателям было о чем поговорить. Мы совершенно не чувствовали себя конкурентами, открыто обсуждали и сравнивали наши планы, чтобы избежать дублирования. Вдруг на следующий день Милорадович подходит ко мне взволнованный.

– Игорь Маркович, вчера имел место пренеприятнейший эпизод. Внезапно возник у нашего выставочного стенда господин Кухарец и прилюдно накинулся на меня с какими-то гневными обвинениями, поминал какие-то неоплаченные накладные, какие-то книги, которые мы якобы должны были прислать им и не прислали. Я совершенно не привык к таким публичным скандалам. Не могли бы вы объяснить, что он имел в виду, чего добивался?

Я, как мог, попытался успокоить оскорбленного джентльмена.

– Видите ли, Серафим Николаевич, ВАЛЕРИЙ КУХАРЕЦ представляет собой гибрид Ноздрева с Остапом Бендером, которого причудой судьбы вынесло на просторы российской словесности и книжной торговли. Его репутация сильно подмочена разными неблагоприятными поступками, многие уже остерегаются вести дела с его «Руссикой». Теперь представьте себе: десятки людей вчера видели, как он накинулся с горькими упреками на достойного и порядочного господина Милорадовича, а тот в растерянности не мог ничего возразить. Не один свидетель этой сцены останется при впечатлении, что честный Кухарец был несправедливо обижен, и его акции на бирже репутаций слегка поднимутся. А ему только это и нужно.

Вечерами, после семинаров и заседаний, устраивались импровизированные концерты. Запомнилась замечательная израильская певица с гитарой – ЛАРИСА ГЕРШТЕЙН, настоящий вихрь музыкальной энергии, которая потом вышла замуж за героя Ленинградского самолетного дела, Эдуарда Кузнецова (1970), а позже стала заместителем мэра Иерусалима. Но сильнейшим впечатлением осталось – ЛЕВ ЛОСЕВ читал свои стихи. Он сам так описал этот эпизод в своих воспоминаниях:

«Я волновался, произносил неумные самоуничижительные ремарки перед очередным стихотворением, чувствовал себя идиотом, но стихи, тем не менее, имели успех. Собственно говоря, это

был единственный раз в моей жизни, когда я испытал, что называется, “бурный успех”, о каком мечтают актеры: овация, кто-то, размахивая руками, вскочил на стул, прямо перед собой я видел прослезившегося Володю Максимова... Генерал Григоренко крутил головой: “Ловко у вас получается”. Войнович говорил что-то одобрительное. От души радовалась Наташа Горбаневская... Эма Коржавин пробился сквозь толпу и сказал своим громким сиплым голосом: “Ну, ты-то сам понимаешь, что все, что ты читал, с поэзией и рядом не лежало... Я думаю, ты бы мог со временем научиться писать прозу”...»*

Лосев не держал потом обиды на Коржавина. Я тоже не держу обиды на покойного друга за то, что в перечне восхищавшихся он оставил меня безымянным: это я махал руками, вскочив на стул. И вскоре, один за другим, издал за свой счет два первых сборника замечательного поэта: «Чудесный десант» и «Тайный советник».

На заключительном заседании каждый участник выступал с короткой речью-докладом. Мой назывался «Политическая зрелость народа и расцвет культуры – что раньше?» и кончался таким пассажем:

«К сожалению, даже среди честных мыслителей Запада и Востока сейчас все чаще вспыхивают бесплодные перепалки по вопросу о том, чей исторический опыт важнее, кто у кого должен учиться. Те, кто испытал на себе ужасы коммунистического рабства, говорят: “Наш оплаченный кровью и страданиями опыт уникален. Коммунизм есть небывалое явление в мировой истории. Никакие закономерности, выработанные вашим прошлым, к нему неприменимы. Такого еще не было. Вы должны научиться на нашем опыте, чтобы спасти себя и весь мир”.

На это люди Запада могли бы ответить: “Миллионы наших отцов погибли в бессмысленной бойне Первой мировой войны, когда о коммунизме и слыхом никто не слыхал. Турки вырезали полтора миллиона армян в 1915 году без всяких ссылок на Маркса или Ленина. Антикоммунист Гитлер уничтожил шесть миллионов евреев не по просьбе Сталина. Японские бомбы, падавшие на Китай, на Филиппины, на Перл-Харбор, были изготовлены не коммунистами. Иди Амин в Уганде и Папа Док на Гаити сеяли вокруг себя смерть и ужас не для укрепления власти рабочих и крестьян. И сегодня аятолла Хомейни посылает тысячи иранских мальчишек на иракские минные поля именем Аллаха, а не именем Ленина. Иными словами: мировое зло многолико и многообразно, и коммунизм не может быть универсальным объяснением его, не

* Лев Лосев. Меандр (Москва: Новое издательство, 2010), стр. 389.

может быть единственным виновником страданий мира”.»

Полагаю, что, слушая эти рассуждения, ВЛАДИМИР МАКСИМОВ мысленно отбрасывал меня в разряд «гнилых плюралистов», а может быть, даже и «носорогов» и жалел, что пригласил в Милан. Во всяком случае, среди материалов конференции, опубликованных «Континентом», моего доклада не оказалось. Он был опубликован позже в израильском журнале «Двадцать два».

Закончилась поездка на печальной ноте. Мой самолет приземлился в Детройте, я сидел у окна и ждал, когда толпа в проходе рассосется. Вдруг среди стоявших пассажиров увидел Карла Проффера и Эллендею. Карл стоял чуть сзади, облокотившись на спину жены, положив ей голову на плечо. Поза его выражала бесконечную усталость. Я знал уже, что у него диагностировали безнадежный рак прямой кишки и что они ездят в какую-то клинику, применявшую новое экспериментальное лечение. Оно не помогло, и через год Карла не стало. Марина написала Эллендее письмо:

«9-25-84. Дорогая Эллендея! Прими наше глубочайшее сочувствие. Все эти последние годы мы восхищались мужеством и достоинством, с которым вы оба переносили страдания Карла. Дай Бог тебе и детям сил пережить это ужасное горе. С неизменной симпатией, Марина, Игорь, Лена, Наташа Ефимовы.»

НВ: Смерть каждого человека уникальна и тем спасает судьбу каждого из нас от тривиальности. Но все же: нельзя ли что-нибудь сделать по поводу этой смерти неминуемой? Разве что одно: горячее любить каждую минуточку минутку.

Хозяйка Мережковских

Издательское дело имеет большое сходство с азартной игрой. Недаром все русские литераторы, занимавшиеся им, были заядлыми игроками: Пушкин, Некрасов, Достоевский, Маяковский, туда же и Ефимов. Вклад денег в какую-то книгу – это та же ставка, и ты никогда не знаешь, что выкинет тебе судьба. Но иногда игроку мерещится, что в руки пришлыли такие карты, с которыми проиграть невозможно. Именно так мне примстилось, когда к нам обратилась профессор Иллинойского университета в Урбане-Шампейн, Темира Пахмусс, с предложением издать имеющиеся у нее – до сих пор неопубликованные! – труды Дмитрия Мережковского.

Темира Пахмусс гостила у приятельницы в Энн Арборе, и я, бросив все текущие дела, примчался по указанному адресу. Меня встретила холодноватая дама, все еще миловидная в свои 55 лет, говорившая с легким эстонским акцентом. Она объяснила мне, что

творчество Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского является главной темой ее научной деятельности, что она уже опубликовала много статей о них и биографию Гиппиус. В 1960-е годы, в Париже, ей посчастливилось познакомиться с Владимиром Злобиным, многие годы служившим литературным секретарем знаменитой супружеской пары. У него хранился огромный архив покойных литераторов. Злобин умер в 1967 году, и архив теперь является собственностью Темиры Пахмусс.

В первую очередь она хотела бы опубликовать неизданный роман Мережковского «Маленькая Тереза». В нем воссоздана жизнь и судьба Терезы Лизьеской, французской святой конца 19-го века, чья пламенная вера волновала обоих супругов и казалось им очень близкой по духу их собственным религиозным переживаниям. Я не был поклонником прозы Мережковского, трилогию «Христос и Антихрист» одолеть не смог. Но его статьи читал с увлечением, хранил выписки из эссе «Толстой и Достоевский», даже помнил и любил цитировать оттуда: «Есть логика страстей, но есть и страсти логики... Прикосновение сердца к самому отвлеченному, метафизическому производит иногда действие раскаляющей страсти». Поэтому я выразил радостную готовность издать «Маленькую Терезу» и заверил профессора Пахмусс, что книге будет дана зеленая улица.

Работа закипела. Правда, сразу посыпались сюрпризы, но я не позволял им охладить мой энтузиазм. Во-первых, оказалось, что это никакой не роман, а добротное небольшое жизнеописание святой. Однако Темира Пахмусс настаивала на том, чтобы слово «роман» стояло и на титульном листе, и в каталоге, уверяла меня, что оно стоит в имеющейся у нее рукописи. Мне было стыдно обманывать читателя, но пришлось смириться.

Во-вторых, пятидесятистраничному тексту Мережковского было предпослано предисловие самой Пахмусс длиной в семьдесят страниц. В-третьих, книга должна была завершаться письмами Мережковских Злобину, посылавшимися из Италии в Париж в 1936–37 годах (супруги сбежали из Франции в те годы, боясь, что к власти вот-вот придут коммунисты) и не имевшими никакого отношения к Терезе Лизьеской.

Я понимал, что главная цель Пахмусс была та же, что и у других академических фигур: укрепить и расширить свои права на избранную «вотчину» выпуском новой книги. Пятьдесят страниц выглядели бы жалковато. То ли дело двести! Но она заверяла меня, что за «Маленькой Терезой» последуют и другие рукописи из хранящегося у нее архива, и я смирялся, готовил мысленно

извинения перед читателями, магазинами, библиотеками за невольный обман.

Действительно, после благополучного выхода «Маленькой Терезы» (Довлатов оповестил об этом российских слушателей радио «Свобода» небольшой рецензией) нам были присланы новые рукописи: жизнеописание Лютера, а вслед за ним и две другие – «Кальвин» и «Паскаль». Эти книги писались Мережковским в самом конце жизни и после его смерти в 1941 году были изданы по-французски в оккупированном немцами Париже. Они взволновали меня до глубины души.

Только человек, искавший Бога всю свою жизнь, мог с такой убедительной глубиной воссоздать жизненный путь других великих богоискателей. Объявляя о запланированном выходе всех трех произведений под одной обложкой и под общим названием «Реформаторы», я писал в аннотации: «Читатель, интересующийся историей, прочтет трилогию как многоплановый исторический роман. Любителя философии привлекут морально-этические проблемы, поднятые в книге. Человек верующий будет захвачен душевной драмой трех великих реформаторов, каждый из которых жизнью своей пытался ответить на один и тот же мучительный вопрос: что делать человеку, если его глубокая и искренняя вера расходится с требованиями существующей церкви? Можно выйти из церкви и разрешить людям взывать к Богу без посредников (Лютер). Можно разрушить прежнюю церковную организацию и на ее месте создать новую – не менее жесткую (Кальвин). Можно остаться в церкви и попытаться личным примером и духовным противостоянием злу, корысти, идолопоклонству исправлять ее (Паскаль)».

Всю жизнь Мережковский призывал к объединению христианских церквей, мечтал о Церкви Третьего завета. Вместо этого, в конце жизни, ему суждено было стать свидетелем наплыва на мир сначала красной чумы под серпом и молотом, потом черно-коричневой – под свастикой. В предисловии к жизнеописанию Лютера он писал:

«Может быть и сейчас в мире не меньше умных и добрых людей, чем прежде, но горе в том, что правят миром сейчас не они, а безумные или негодяи. Те одиноки и рассеяны, как овцы без пастыря, потому что в мире отсутствует то, что некогда объединяло их, – Церковь; а эти объединены как никогда, потому что племя, народ, государство для них сделалось Церковью. Но, кажется, смутное чувство-страх начинает овладевать всеми – умными и глупыми, злыми и добрыми, одинаково... Самый воздух наших дней насыщен

пока еще бессознательной, но страхом общей гибели уже рождаемой, волею к какому-то единству, высшему, чем племя, народ, государство, это видно по тому, как люди хранят и лелеют полуживой недоносок, жалкий двойник Церкви – Лигу Наций».*

Работа предстояла огромная. Рукопись представляла собой легко читаемую машинопись, и мелкую корректорскую правку я вносил прямо в процессе набора. Но вдруг стали появляться тревожные симптомы. Цитата из Евангелия от Матфея была помечена сноской «Матф., 58:18». Но я помнил, что в этом Евангелии всего 28 глав. Что делать? Читаю фразу: «Триста лет назад аббат Иоахим, в канун своей смерти и рождения нового, тринадцатого, века, проповедовал...» Простите, от 13-го до 20-го века прошло семьсот лет, а не триста. Нужно лезть в энциклопедию, уточнять, когда жил аббат Иоахим. «Английский проповедник Винклефф...» – с трудом догадываюсь, что речь идет о Джоне Уиклифе (John Wickleffe). И так далее.

Я послал профессору Пахмусс перечень обнаруженных несообразностей. «Наверное, Ваша машинистка не всегда умела разобрать почерк Мережковского, – писал я (хотя догадывался, что перепечатывала сама Пахмусс). – Чтобы удалять такие ошибки и недоумения, нам необходимо иметь ксерокопию рукописи.» К моему удивлению, упрямая дама тут же прислала требуемые материалы – видимо, обилие сделанных ошибок ее напугало.

Теперь мне стало гораздо легче исправлять сомнительные места. Иногда она просто принимала твердый знак на конце слова за «е». Иногда неправильно прочитывала дату события, и я, зная, например, когда был заключен Вестфальский мир, вписывал правильную – 1649. Как странно Лютер говорит: «Я не посмеюсь над этой папской буллой, как над мыльным пузырем». Лезу в оригинал – никакого «не» там нет, ясно написано: «Я посмеюсь...»

Когда я вглядывался в эти слова, ложившиеся на бумагу давным-давно, в холодном и голодном Париже, странное волнение поднималось у меня в душе. Наверное, 75-летний российский изгнанник уже утратил надежду на то, что его голос когда-нибудь будет услышан на родине, захваченной новыми варварами. Но вот, неисповедимыми ходами судьбы, слова доплыли до другого изгнанника, задели сердце, и он, в морозной мичиганской ночи, упорно стучит по клавишам с русскими буквами, чтобы воскресить, оживить, передать дальше «раскаляющие страсти метафизической логики».

* Д.С.Мережковский. Реформаторы (Брюссель: «Жизнь с Богом», 1990), стр. 24–25.

При этом, с каждой страницей, одна простая истина становилась все яснее трезвой половине моего ума: никаких денег в сегодняшнем мире эта книга принести не сможет. Если удастся довести ее издание до конца, хорошо бы продажей покрыть типографские расходы. Мои ночные труды останутся бескорыстным подношением на алтарь русской культуры. Мог ли я предвидеть тогда, что даже этого красивого утешения не будет мне дано?

NB: Любой современный город старается вынести вредные для здоровья производства подальше за свои пределы. Не так ли и русская литература в веке двадцатом была изгнана за пределы страны по причине своей вредности для идейного здоровья советских граждан?



Наталья Зарембская – родилась в Ленинграде. Работала в Искусствоведческой секции Государственного Экскурсионного Бюро. Интерес к искусству и литературе определил ее жизнь в Новом Свете, сначала в Бостоне, где она работала в Музее Изабеллы Гарднер, затем – в Нью-Йорке, где ее деятельность связана с MoMA. В сборниках Миллбурнского клуба был опубликован ряд ее литературоведческих статей.

Этот текст – расширенный вариант выступления, посвященного 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой, на заседании Миллбурнского клуба в мае 2019 года. Необходимые комментарии – как фактологические, так и отражающие позицию автора – помещены прямо в тексте, в квадратных скобках.

Анна Андреевна Ахматова – поэтесса, поэт

В 2016 году Яндекс опубликовал рейтинг русских поэтов, основанный на числе запросов о самом поэте или его стихах. Результаты были представлены в виде красочных интерактивных графиков ¹. Если говорить об общей тенденции, то чем ближе поэт к нашему времени, тем меньше интерес к его поэзии. Абсолютными чемпионами остаются поэты Золотого века Пушкин и Лермонтов, вторым пиком интереса отмечен Серебряный век, ну а чем ближе к нашим дням – тем хуже. Ахматова среди поэтов Серебряного века занимает почетное четвертое место, вслед за Есениным, Блоком и Маяковским, но среди акмеистов, где в разряд «популярных» попали также Гумилев и Мандельштам, она впереди всех с большим отрывом [согласно Яндексу, «популярные» – это те поэты, стихи которых искали не менее 100 тысяч раз].

Конечно, к подобным рейтингам следует относиться критически: интерес к поэту вполне может зависеть от того, включен ли он в школьную программу. Тем не менее некоторое отражение реальности в этих данных есть. Что касается Ахматовой, то очевидно, что интерес к ней остается велик.

Только в послеперестроечные годы об Ахматовой писали Тименчик и Жолковский, Найман и Эпштейн, Катаева и Топоров, Цивьян и Лосиевский, Вадим Черных (с его летописью Ахматовской жизни) и Владимир Мусатов, Недошивин и Быков (с его тайным обществом спасения Ахматовой).

Смешно было бы ожидать ту же степень интенсивности интереса к Ахматовой в Америке, но Ахматовский миф живет и является частью культурного пейзажа местной, не русскоговорящей интеллигенции – в частности, связанной с театром. Об Ахматовой пишут пьесы (*N. Keystone, R. Linney, E. Wolf, R. Schull*), они ставились в театрах Лос-Анжелеса и Нью-Йорка. Одна из недавних (2016 г.) – “*Anna Akhmatova: The Heart is Not Made of Stone*”.

Что же касается русскоговорящих читателей по обе стороны океана, то поражает страстность Ахматовских недоброжелателей и плохо скрываемая агрессивность некоторых доброжелателей. Редко кто удерживается от того, чтобы упрекнуть Ахматову за ее дурной характер и манию величия.

Ахматова, как известно, считала себя потомком хана Ахмата – весьма невинное принятие желаемого за действительное. К примеру, Изабелла Стюарт Гарднер из Бостона считала себя потомком Марии Стюарт. Что из этого? Тысячи людей посещают главное дело ее жизни, музей-сад с великолепной коллекцией картин. Ее предположительная связь с Марией Стюарт – лишь любопытный курьез. Исследователи Ахматовой, однако, никогда не забудут отметить: заявление Ахматовой о том, что она «чингизидка», не соответствует действительности, и если Василий Никитич Татищев и утверждал, что с гибелью Ахмата кончилось на Руси татарское иго, то только для того, чтобы 500 лет спустя установилось иго Ахматовой.

А.К. Жолковский в статье «Анна Ахматова – пятьдесят лет спустя» пишет: «Ахматовский культ (не побоимся этого слова) оказался долговечнее ленинско-сталинского. Он поистине овладел массами и представляет собой семиотическую реальность, заслуживающую серьезного рассмотрения»².

Жолковский – хороший пример. Отмечая «несомненное величие ахматовской поэзии» и обращаясь к теме негативных моментов всякого культа, он зачем-то в той же статье пространно говорит о том, как Ахматова мучила Лидию Чуковскую, отдавая ее имперским холодом. К основной теме статьи это не имеет никакого отношения. Но уж очень велик соблазн не только констатировать наличие культа, но и способствовать его «развенчиванию».

Ахматовский культ – это, в сущности, культ безупречной публичной жизни в условиях, крайне враждебных всему порядочному в поведении человека. Ахматова до какой-то (разумной) степени его персонифицирует. Что же предполагается развенчать: саму порядочность или одного из не столь многих ее представителей? И то, и другое кажется сомнительной задачей.

Жизнь Ахматовой мифологизировалась людьми, очень разными

в своем отношении как к Ахматовой и ее поэзии, так и ко времени, в котором она жила. Так что я вполне согласна с Бродским, когда он говорил, что из всех вариантов Ахматовских мифов он предпочитает собственные Ахматовские.

Для тех, кто любит поэзию Ахматовой, все эти подробности вторичны. Конечно, любопытно знать, к кому вела ее «бешеная кровь» в тот или иной момент ее жизни. В школьные годы я жила по адресу Фонтанка, 18, где в квартире номер 28 с конца лета 1921-го и до 1923 года жили Ахматова с Олечкой Глебовой-Судейкиной и Артуром Лурье. Каждое утро я проходила через дворы, о которых было написано:

А в глубине четвертого двора
Под деревом плясала детвора –
В восторге от шарманки одноногой,

И била жизнь во все колокола...
А бешеная кровь меня к тебе вела
Сужденной всем, единственной дорогой.

(18 января 1941)

А выходя на Фонтанку, я видела Михайловский замок:

Меж гробницами внука и деда
Заблудился взъерошенный сад.
Из тюремного вынырнув бреда,
Фонари погребально горят.

В грозных айсбергах Марсово поле,
И Лебязья лежит в хрустальных...
Чья с моею сравнивается доля,
Если в сердце веселье и страх.

[Строки из стихотворения «Годовщину последнюю праздную» (1939 г.), посвященного не то Пунину, не то уже Гаршину.]

Напомню, что Михайловский – «взъерошенный» – сад находится между Михайловским замком, где в 1801 году был убит Павел I, и церковью Спаса на Крови на Екатерининском – ныне Грибоедова – канале, где ровно 80 лет спустя был убит его внук Александр II.

Мы с отцом всегда шли вдоль Лебязьей канавки и поворачивали на набережную, откуда, если обернуться, взгляд упирается в зеленый массив Летнего сада:

Я к розам хочу, в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград,

Где статуи помнят меня молодой,
А я их под невскою помню водой.

В душистой тиши между царственных лип
Мне мачт корабельных мерещится скрип.

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любуясь красой своего двойника.

И замертво спят сотни тысяч шагов
Врагов и друзей, друзей и врагов.

А шествию теней не видно конца
От вазы гранитной до двери дворца.

Там шепчутся белые ночи мои
О чьей-то высокой и тайной любви.

И все перламутром и яшмой горит,
Но света источник таинственно скрыт.

Это позднее, 1959 года, упражнение в стиле классицизма могло бы показаться слишком гладким и безупречным, если бы каждая строфа не была столь точна и не отзывалась столь непосредственно в сознании каждого навсегда Летнего сада.

Через Неву налево, за стрелкой Васильевского острова, угадывался Меншиковский дворец:

Cadran solaire на Меншиковом доме.
Подняв волну, проходит пароход.
О, есть ли что на свете мне знакомей,
Чем шпилей блеск и отблеск этих вод!
Как щелочка, чернеет переулок.
Садятся воробьи на провода.
У наизусть затверженных прогулок
Соленый привкус – тоже не беда.

(Март 1941)

[*Cadran solaire* – солнечные часы (франц.)]

Ну а почти напротив – Петропавловская крепость, и это позволяет мне «плавно» перейти к теме моего эссе:

В последний раз мы встретились тогда
На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода,
И наводнения в городе боялись.

Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине – нелепость.
Как я запомнила высокий царский дом
И Петропавловскую крепость!

Стихотворение написано в 1914 году. Полемическое заявление собеседника Ахматовой и характерно, и ново. Ново потому, что еще недавно этот вопрос не мог быть предметом спора: очевидная нелепость!

Сама Ахматова в 1908 году писала:

Пусть даже вылета мне нет
Из стаи лебединой...
Увы! лирический поэт
Обязан быть мужчиной,

Иначе все пойдет вверх дном
 До часа расставанья –
 И сад – не сад, и дом – не дом,
 Свиданье – не свиданье.

В годы поэтической юности Ахматовой женщине, желающей быть поэтом, не на кого было оглянуться – позади только женщины-поэтессы. И что бы ни говорили поклонники и противники феминитивов в русском языке, поэтесса в стереотипном восприятии – это существо женского пола, отличающееся узостью тем и второсортным качеством своего творчества.

К этому времени путь женщин в российской литературе насчитывал полтора столетия провинциализма и снисходительного (в лучшем случае) отношения критики³. «Литература – для женщин – одни розы без шипов, ибо какой педант, какой варвар осмелится не похвалить того, что нежная, белая рука написала», как писал редактор одного из литературных журналов начала XIX века. Тем же, кого обижали подобные снисходительные панегирики, Надежда Теплова в 1837 году давала такой свой знаменитый «Совет»:

Брось лиру, брось, и больше не играй,
 И вдохновенные прекрасные напевы
 Ты в глубине души заботливо скрывай:
 Поэзия – опасный дар для девы!

Не случайно из всех своих предшественниц Ахматова не возражала только против сравнения с Сапфо.

Сапфо жила более двух с половиной тысяч лет тому назад и – единственная женщина – была включена в канон девяти величайших лириков филологами эллинистической Александрии.

Богу равным кажется мне по счастью
 Человек, который так близко-близко
 Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
 Слушает голос
 И прелестный смех. У меня при этом
 Перестало сразу бы сердце биться:
 Лишь тебя увижу, уж я не в силах
 Вымолвить слова...

Хотя тема вполне женская, но, видимо, древние литературоведы считали, что уровень стиха отвечает мужским критериям качества.

Даже в те годы Сапфо была исключением. Веком позже жившая Коринна (с которой так любили сравнивать позднее русских поэтесс, все они были северными Кориннами) писала:

Я Миртиде
 Ставлю в упрек
 звонкоголосой:
 Спорить за приз

с Пиндаром ей –
Женщине –
Смысл

был ли какой?

Оба отрывка даны в переводе В. В. Вересаева ⁴, который вообще любил рассуждать на тему женщин в искусстве. В своей лекции 1921 года «Что нужно для того, чтобы стать писателем»⁵ Вересаев говорит:

«Раньше, чем идти дальше, хотелось бы высказаться о двух человеческих группах, до сих пор очень неполно и неярко проявившихся в искусстве. Это, прежде всего, – женщины. [Согласно Вересаеву, второй группой, столь же мало проявившей себя в художественном творчестве, был пролетариат.]

По живому голосу, по почерку мы сразу можем отличить женщину от мужчины <...> Отчего же так трудно отличить по голосу, по стилю женщину от мужчины в литературе? Если у ней есть особенности, то чисто отрицательные: растянутость, чрезмерная детальность в описаниях и т. п. <...> И не характерно ли, что все выдающиеся писательницы выступали в литературе под мужскими псевдонимами – Жорж Санд, Джордж Эллиот, В. Крестовский [Надежда Дмитриевна Хвоцинская] <...> Среди более старых [*sic!* Неуклюже сказано] современных женщин-поэтов две наиболее выдающиеся, несомненно, – Зинаида Гиппиус и Аллегро [Поликсена Сергеевна Соловьева, сестра философа Владимира Соловьева]. И не характерно ли опять, что обе они в своих стихах упорно говорят о себе в мужском роде: “я пошел”, “я увидел тебя”?».

Добавлю от себя, что судьбе поэтесс, выступавших под своими именами, завидовать не приходилось. Возьмем, например, Анну Бунину (с которой находились в дальнем родстве и Жуковский, и Иван Бунин, и сама Ахматова). Осыпанная, как и другие поэтессы, снисходительными комплиментами, она была одной из тех, кого называли «Северной Коринною», а сама она искала моральную опору в имени все той же Саффо. Популярны были ее «Сафические стихотворения» и «Подражание лесбийской стихотворице».

Как же отнеслись к ее творчеству те дворяне-интеллигенты, которые считали, что литература должна оцениваться «по гамбургскому счету»? Прямо скажем, не по-рыцарски. Василий Жуковский, Константин Батюшков и другие члены общества «Арзамас» называли ее «поэтическим трупом». На одной из арзамасских вечеринок над ней произвели «отпевание живого мертвеца». Батюшков посвятил Буниной строчки:

Ты Сафо, я Фадн,
Об этом я не спорю,
Но, к моему ты горю,
Пути не знаешь к морю.

Как вы помните, Сапфо, по легенде, утопилась-таки из любви к мужчине, моряку Фаону, несмотря на свою популярную репутацию. Репутация Сапфо вообще преследует поэтесс, ведь им приходится вступать в интимные отношения с Эвтерпой, Эрато или Каллиопой, а то и со всеми тремя вместе, как в случае Ахматовой.

Возвращаясь к лекции Вересаева, отметим, что когда он говорит о молодых поэтессах, которые могли бы, по его мнению, изменить *status quo*, он называет троих: Ахматову, Цветаеву и Аду Чумаченко. Последнюю Вересаев знал лично – она, например, была членом поэтического жюри, «завалившего» начинающего Есенина. Вересаев это жюри возглавлял. Чумаченко написала несколько хороших стихов:

Песня моя – это девка с степного баштана,
С южных полей, обступивших Азовское море...
Выросла в мазаной хате – на синем просторе
У запорожской могилы – седого кургана.
Песня моя – это девка с степного баштана.

Все же как поэт она была в другой весовой категории и прославилась более всего популярной детской книжкой «Человек с Луны» про Миклухо-Маклая.

Поколение упомянутых Вересаевым «старых» поэтесс было последним, в котором, если женщина считала себя не глупее мужчин, то единственный путь убедить их в этом был – спрятаться за мужским псевдонимом. Гишпиус, например, имела целый «джентльменский набор» таких псевдоимен: Антон Крайний, Товарищ Герман, Денисов и ряд других.

Ахматова была на двадцать лет моложе, жила уже в другом временном срезе и была окружена другими мужчинами. Ее первый поэтический взлет совпал по времени с первой волной феминизма, когда вековые дамба на пути равноправия женщин стали давать трещины. Темой этой ранней волны был суфражизм, борьба за избирательное право. В 1906 году в царской Финляндии женщины получили право голоса и в следующем году – впервые в мире – были выбраны в финский парламент⁶. Завершилась эта волна ратификацией 19-й поправки к Конституции США⁷ и, странным образом, – выпуском “*ANNO DOMINI MCMXXI*” – последней книги из канона ранней Ахматовой.

Ахматова никогда, насколько мне известно, не была теоретиком или практиком феминистского движения, но своим образом жизни в те годы она воплощала новые идеи о положении женщины в обществе.

[Заметим, что вторая волна феминизма поднялась – с большим

перерывом – в 60-х годах, а сегодня мы переживаем уже четвертую. Для тех, кто любит интересные факты: последней страной, давшей женщинам право участия в выборах, был Лихтенштейн – в 1984 году.]

В начале 20-го века новые настроения носились в воздухе, и Анна Горенко выбрала себе женский псевдоним, а о своей независимости заявила в первом же опубликованном стихотворении, подписанном еще инициалами А.Г. Было это в Париже, в 1907 году, во втором номере журнала «Сириус», который издавал Гумилев:

На руке его много блестящих колец –
Покоренных им девичьих нежных сердец.

Там ликует алмаз, и мечтает опал,
И красивый рубин так причудливо ал.

Но на бледной руке нет кольца моего,
Никому, никогда не отдам я его.

Мне сковал его месяца луч золотой
И, во сне надевая, шепнул мне с мольбой:

«Сохрани этот дар, будь мечтою горда!»
Я кольца не отдам никому, никогда.

Хочу напомнить, что в своем поколении она была одной из очень многих. Оставим в стороне Марину Цветаеву. Женская поэзия этого времени полна имен и ярких индивидуальностей. И к тому же, как и Ахматова, они были женами или музами влиятельных литературных мужчин.

Чтобы не быть голословной, назову некоторых из них.

Аделина Адалис, подруга Брюсова, поэзию которой высоко ценил Мандельштам. Он говорил, что «ее голос подчас достигает мужской силы и правды».

Жена поэта Сергея Городецкого, красавица, Нимфа Бел-Конь-Любомирская, изображенная Репиным в известном парном портрете.

Любимая ученица Гумилева, жена поэта Георгия Иванова, Ирина Одоевцева.

Паллада Богданова-Бельская, поэтесса, хозяйка литературного салона, «светская львица», про которую в гимне «Бродячей собаки» Кузмин сказал:

Не забыта и Паллада
В титулованном кругу,
Словно древняя Дриада,
Что резвится на лугу,

Ей любовь одна отрада,
И где надо и не надо
Не ответит, не ответит, не ответит «не могу»!

В этом ряду и Вера Гедройц, писавшая под мужским псевдонимом Сергей Гедройц, и София Парнок – она же Сергей Полянин.

Можно вспомнить и сестер Герцыг. Аделаиде Герцыг Цветаева подарила в 1912 году свою вторую книгу – «Волшебный фонарь» с надписью: «Моей волшебной Аделаиде Казимировне».

Можно процитировать Екатерину Галати:

Помнишь липы аромат,
Помнишь милый, темный сад,
Где заветная дорожка
Поросла травой немножко?

И ноктюрн, и клавикорды,
И вечерние аккорды,
И признанья сладкий бред,
Помнишь, помнишь? Нет?..

Вздохи, речи втихомолку,
Платье желтое из шелку,
Что шуршало в тишине,
У беседки, при луне?

Помнишь слезы расставанья
И немые обещанья?..
Нежный свет далеких лет
Помнишь, помнишь? Нет?

(1912)

Можно вспомнить Наталью Грушко с ее «Балериной»:

Кто не помыслил об измене
Своей любовнице, Мечте,
Когда, как вихрь, я мчусь по сцене
В диагональном *fouette*.

Или в капризах арабески
Ногой едва коснусь земли,
Как тень давно забытой фрески...
Мне рукоплещут короли!

И, словно серые вороны,
У парапета темных лож
Следят обманутые жены
Мою ликующую ложь.

(1917)

Список этот далеко не полон. Тем не менее, когда просматриваешь обширные антологии поэтов Серебряного века, правота отбора, которую делает время, становится очевидной. Те

примеры поэтической продукции, которые я привела, показывают справедливость того, что сегодня мы редко вспоминаем Галати или Грушко. Хотя, если вам послышалось что-то знакомое в «Балерине» Грушко, то вы правы: «Я маленькая балерина» Вергинского – это тоже Грушко.

Это – сегодня. А тогда? А тогда, я думаю, это было столь же очевидно всякому имеющему поэтический слух. Уж очень выделялась Ахматова на этом фоне, просто была на голову выше – в буквальном (ее рост был почти 180) и переносном смысле.

Первые же стихи Ахматовой имели большой успех. Само по себе это не имело решающего значения. Отступим всего на двадцать лет и вспомним Мирру Лохвицкую, стихи которой пользовались огромной популярностью в самом конце 19-го века. Ее поэтической средой был кружок тайного советника и гофмейстера, 60-летнего Константина Случевского. Критики поднимали ее на щит, но всегда с оттенком снисхождения к «маленькой фее поэзии», «птичке-невеличке», завоевывающей «свою публику». В личной жизни Лохвицкую-Жибер одолевали заботы о детях (их у нее было пятеро), или о муже, или о платонической любви к Бальмонту. Она всем своим существом была частью уходящего времени, системы его отношений, его морали, предрассудков и стереотипов. Ограниченность ее поэзии шла изнутри, из убеждения, что не женское это дело – обобщать и философствовать.

Ахматова, напротив, воплощала то, что несло с собой новое время. Независимая, не желающая подчиняться конвенциям, она говорила «как власть имеющая» и при этом была окружена поколением разночинной литературной молодежи, готовой подвергнуть сомнению тезис, что быть поэтом женщине – нелепость. Поэзия Ахматовой дала им такую возможность.

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,
Прозрачный, теплый и веселый...
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.

А мы живем торжественно и трудно
И чтим обряды наших горьких встреч,
Когда с налету ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь.

Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос Музы еле слышный.

(1915)

Такие строки не могли принадлежать Лохвицкой.

Воистину новый век дал женщине право голоса, штурвал самолета и баранку трактора, но также и дал прорваться в горние выси поэзии.

В ряде рецензий в ранний период Ахматовского творчества появляется и закрепляется в сознании факт рождения женщины-поэта. Окружавших ее литературных мужчин поражало и задевало то, что они видели перед собой поэзию, зачастую с традиционно женскими темами, которая с формальной стороны не уступала лучшим образцам.

Михаил Кузмин в предисловии к первому сборнику стихов Ахматовой «Вечер» (1912) произнес сакраментальное слово: «Итак, сударыни и судари, к нам идет новый, молодой, но имеющий все данные стать настоящим поэт. А зовут его – Анна Ахматова».

Предисловие к «Четкам» (1913) принадлежало Гумилеву. Говоря о поэзии Ахматовой, он пишет: «В ней обретает голос ряд немых до сих пор существований – женщины влюбленные, лукавые, мечтающие и восторженные говорят, наконец, своим, подлинным и в то же время художественно-убедительным языком. Та связь с миром, о которой я говорил выше и которая является уделом каждого подлинного поэта, Ахматовой почти достигнута».

Двумя годами позже Николай Недоброво, увлеченный самой Ахматовой не менее, чем ее поэзией, в статье «Анна Ахматова» высказывается вполне определенно: «В молодой поэзии обнаружались признаки возникновения ахматовской школы, а у ее основательницы появилась прочно обеспеченная слава».

Популярность Ахматовой быстро росла. Только сборник «Четки» издавался более десяти раз. Как-то позднее Раневская пожаловалась Ахматовой, что на улице дети бегут за ней и кричат: «Муля, не нервируй меня» и что это ее крест. На это Ахматова ответила, что ее «Муля» – это «Сжала руки под темной вуалью» [1911, из сборника «Вечер»].

К 1923 году, когда закончилась первая волна ее творчества и наступила долгая поэтическая «засуха», Ахматовой было 35 лет – почти Пушкинский финальный возраст. Ее репутация как крупного поэта утвердилась однажды и навсегда.

И действительно, можно сказать, что эта репутация достигла уровня культа в среде ее поклонников. Свидетельство тому – цикл Елены Данько 1926 года, где градус восторга не уступает будущим панегирикам Сталину. Стихи эти, кстати, возвращают меня все к тому же хорошо знакомому мне подъезду:

Лестница всходит под своды,
Тишь. Коридоры темны.
Точит звенящую воду
Кран у облезлой стены.

В глубь коридорного мрака
К двери налево ступай,
Стук твой разбудит собаку,
Громкий посыплется лай,

А за дверною доскою
Легкая поступь слышна,
Ласково пса успокоит,
Двери откроет – она.

Шума тогда не услышишь,
День позабудешь и час,
Небо покажется выше
В зеркале ласковых глаз.

Век удлинённые крылья,
Словно изваянный рот,
Черные пряди укрыли
Шеи торжественный взлет.

Если, не зная покоя,
С детства глазами живу,
Если мне можно такое
Видеть лицо наяву –

Не на старинной монете
И не на камне резном, –
Значит – бывает на свете
То, что считается сном.

Значит, поверю внемля,
Люди поверить должны –
Гости приходят на землю
Из небывалой страны!

В 1924 году ее сестра Наталья, которая работала на Ломоносовском фарфоровом заводе, создала чудесную фигурку Ахматовой, а Елена, которая была также и художницей, расписала ее. Своего рода трехмерная иллюстрация к строкам Мандельштама (1914):

Вполоборота, о, печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.

Таким образом, первый прижизненный памятник Ахматовой был миниатюрного размера, зато выпущен был большим тиражом. Как-то она подарила его балерине Татьяне Вечесловой, и от нее

фигурка попала в музей Ахматовой, где она сейчас и находится.

Обе сестры умерли от истощения во время эвакуации из блокадного Ленинграда в Ирбит (Свердловская область, северный Урал) в 1942 году.

Вскоре после революции «враги и друзья», окружавшие Ахматову в юности, стали исчезать один за другим. Эпоха «Бродячей Собаки» осталась в прошлом. В 1923 году Георгий Иванов писал:

Январский день. На берегу Невы
Несется ветер, разрушеньем вея.
Где Олечка Судейкина, увы,
Ахматова, Паллада, Саломея?
Те, кто блистал в тринадцатом году –
Лишь призраки на петербургском льду.

В период с 1923-го по 1935-й годы Ахматова практически молчит, пытается обрести равновесие в личной жизни, только чтобы, раз за разом, разрушить его своими же руками. Когда же в предвоенные годы начался новый поэтический подъем, ее литературная жизнь зависела уже от мужчин другой породы. Ее поэзия была многим из них чужда, но странным образом пиетет, связанный с ее именем, пережил эту смену вех. Среди советских писателей, по крайней мере тех, кто считал себя выше серой массы, считалось хорошим тоном отдавать должное Ахматовой. Это даже приобрело оттенок относительно безопасной фронды.

[Ниже следуют материалы из блога Александра Соболева.⁸]

В ноябре 1939 года под заявлением о предоставлении 46-летней Ахматовой персональной пенсии союзного значения в размере 750 рублей подписались и Фадеев, и Федин, и Лебедев-Кумач. [В официальных документах Ахматова указывала 1893-й как год своего рождения.]

Это, может быть, и не так удивительно, поскольку – по слухам – судьбой Ахматовой поинтересовался Сталин – в феврале того же года.

Творческую характеристику для представления на пенсию поручили подготовить Борису Лавреневу (Сергееву).

Почему Лавреневу? Не потому ли, что в 20-х годах он жил все по тому же адресу – Фонтанка, 18?

Требовалась известная смелость, чтобы представить Ахматову в положительном свете, потому что, несмотря на неожиданную благосклонность вождя, было понятно, что второго Маяковского из Ахматовой не получится. Тем не менее Лавренев нашел свой оригинальный подход к поставленной задаче.

В своем опусе он представляет Ахматову как своего рода

советскую супер-феминистку, которая своим творчеством борется с застойными явлениями мужской гегемонии в государстве, где женщине уже даны все права, кроме права называться поэтом.

Вот отдельные выдержки из его довольно длинного сочинения:

«На днях В.Вересаев в своей статье в “Известиях” “Разрушение идолов” отметил, что у нас, при полном равноправии, которое заняла женщина, <...> продолжает бытовать несчетное количество созданных мужчиною божков, не допускающих никакой критики. <...> Стихотворения Ахматовой сыграли несомненную роль в разрушении этого векового наследства».

Далее Лавренев цитирует Александру Коллонтай, которая в «Письмах к трудящейся молодежи» в 1923 году утверждала, что в стихах Ахматовой «настойчиво звучат два основных мотива: конфликт любви из-за непризнания в женщине со стороны мужчины ее человеческого “я” и конфликт в душе женщины из-за неумения совместить любовь и участие в творческой жизни <...> Во всех произведениях Ахматовой бьется живая, близкая, знакомая нам душа женщины современной переходной эпохи. <...> Анна Ахматова – на стороне не отживающей, а созидающей идеологии».

Завершает Лавренев еще более определенно:

«Художественная ценность и общественная значимость произведений Ахматовой являются в настоящее время фактом общепризнанным».

Лучше не скажешь. Больше похоже на представление к Сталинской премии, чем на скромную бюрократическую записку.

Прошение о повышении пенсии было, однако, в тот раз отклонено.

Впереди еще была война, было постановление 1946 года, исключение из Союза писателей. Восстановление в 51-м. Никакие из этих событий не пошатнули поэтическую репутацию Ахматовой. Конец ее жизни был почти триумфальным. Таормина, Лондон. Дважды ее выдвигали на Нобелевскую премию.

У Ахматовой, по поэтическим меркам, была долгая жизнь. На ее протяжении было три взлета, каждый из которых сделал бы имя поэту.

[Несколько условно: 1909–1923, 1935–1947, 1958–1966.]

Из последнего, третьего периода – и «Летний сад», и «Приморский сонет», или вот это, посвященное ахматовской Будке (1964):

Земля хотя и не родная,
Но памятная навсегда,
И в море нежно-ледяная
И несоленая вода.

На дне песок белее мела,
 А воздух пьяный, как вино,
 И сосен розовое тело
 В закатный час обнажено...

Когда читаешь какой-нибудь очередной опус про Ахматову, порой начинаешь поддаваться обаянию ядовитых строк. Но как только попадают на глаза Ахматовские стихи, наваждение как рукой снимает.

Итог своей жизни она подвела в Комаровских набросках «Нас четверо»:

Все мы немного у жизни в гостях,
 Жить – этот только привычка.
 Чудится мне на воздушных путях
 Двух голосов переключка.

Двух? А еще у восточной стены,
 В зарослях крепкой малины,
 Темная, свежая ветвь бузины...
 Это – письмо от Марины.

(1961)

Список лучших поэтов первой половины прошлого века несколько шире, но все же очень узок, и удивительно, что после двухтысячелетнего перерыва сразу две поэтессы оказались в этом списке. Что же касается судеб этих поэтов, то все они или убили сами себя, или были убиты, или ошельмованы государством. Ахматова же сыграла вничью: приручила своих осведомителей, не позволила травле смять и раздавить себя. Сумела заставить уважать себя даже чуждых себе людей. То есть не понесла наказания по большому счету и умерла как «Анна вся Русь» (слова Цветаевой).

Мне кажется, именно этот момент и является ключевым для тех страстей, с которыми по-прежнему связано ее имя.

Доска на ахматовской Будке в Комарово подводит окончательный итог, хотя делает это несколько неуклюже. Мария Петровых (про которую Ахматова говорила: «Маруся знает язык, как Бог») наверняка бы неодобрительно покачала головой.

Надпись гласит: В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛА ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЭТ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА.

Сорок лет спустя Роман Тименчик пишет книгу, удостоенную премии Андрея Белого, которая (во втором издании) называется несколько пессимистически: «Последний поэт. Анна Ахматова в 1960-е годы»⁹. Мы знаем, что время, прошедшее с момента смерти Ахматовой, не прошло впустую для поэзии, и все же ощущение конца пушкинского этапа в русской поэзии правомерно. Хорошо об этом сказала Лидия Гинзбург¹⁰: «Ахматова создала лирическую

систему – одну из замечательнейших в истории поэзии, но лирику она никогда не мыслила как спонтанное излияние души. Ей нужна была поэтическая дисциплина, самопринуждение, самоограничение творящего. Дисциплина и труд. Пушкин любил называть дело поэта – трудом поэта. И для Ахматовой – это одна из ее пушкинских традиций».

Любовь к поэзии, потребность в ней живет в современной России. Мысли, неглубокие, сиюминутные, пусть даже и пошловатые – но выраженные стихотворной строкой, – находят благодарный отклик. Поэтические концерты собирают аудиторию, соцсети хвастаются тысячами «фанатов» поэзии. Что же касается качества стихов «Поэтов Алюминиевого века»¹¹, то оно, особенно в том, что касается женской поэзии, остается на уровне характеристик алюминия: практичный, легкий, иногда блестящий материал, лишенный "gravitas" более благородных металлов. Факел, опустившийся с уходом двух великих женщин-поэтов 20-го века, пока что не поднял никто.

¹ Если не Пушкин, то кто: какие стихи ищут в интернете. URL: https://yandex.ru/company/researches/2015/ya_poetry.

² Жолковский А.К. Анна Ахматова – пятьдесят лет спустя. URL: <https://dornsife.usc.edu/alexander-zholkovsky/aaa>.

³ Савкина И. (1998). Провинциалки русской литературы (женская проза 30–40-х годов XIX века). Wilhelmshorst: Verlag F. K. Gopfert.

⁴ Эллинические поэты (1963). Редактор: Апт С.; перевод и комментарии: Вересаев В.В. М.: Гослитиздат, (Библиотека античной литературы).

⁵ Вересаев В.В. (1926). Что нужно для того, чтобы быть писателем? Лекция для лит. студии. М.: Мосполиграф (изд. «Недра»).

⁶ Finland's Parliament: pioneer of gender equality. URL: <https://finland.fi/life-society/finlands-parliament-pioneer-of-gender-equality/>.

⁷ 19-th Amendment. URL: <https://www.history.com/topics/womens-history/19th-amendment-1>.

⁸ Соболев А. «Постояла в золотой пыли»: Пенсионное дело Анны Ахматовой. Блог. URL: <https://lucas-v-leyden.livejournal.com/171303.html>.

⁹ Тименчик Р.Д. (2014). Последний поэт: Анна Ахматова в 60-е годы. Издание второе, исправленное и расширенное. М.-Иерусалим: Мосты культуры, Гешарим, Т. I-II.

¹⁰ Гинзбург Л.Я. (1991). Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 126–141.

¹¹ Данилова С. Страница «ВКонтакте». Поэты Алюминиевого века. URL: <https://vk.com/alumina13>.



Петр Ильинский – прозаик,

поэт, эссеист. Родился в 1965 году в Ленинграде, выпускник МГУ. В 1991 – 1998 и 2001 – 2003 годах – научный сотрудник Гарвардского университета. Книги: «Перемены цвета» (Эдинбург, 2001), «Резьба по камню» (СПб., 2002), «Долгий миг рождения. Опыт размышления о древнерусской истории VIII–X вв.» (2-е изд. СПб., 2017), «Легенда о Вавилоне» (СПб., 2007) и «Век просвещения» (2016). Статьи и рассказы публиковались в российской и зарубежной периодике («Отечественные записки», «Время и место», «Русский журнал», «Зарубежные записки», «Северная Аврора»). Живет в

Кембридже (США), преподавал (2008 – 2016 гг.) в Бостонском университете. Работает по специальности в частном секторе.

Клятва над пропастью

Никто в семье не расспрашивал Ивана Порфирьевича о его прошлом. Точнее, его никто вообще ни о чем не расспрашивал. А если еще точнее, никто с ним и не говорил с тех пор, как лет десять назад умерла его жена Елизавета Михеевна, бабушка Лиза. Впрочем, и общение с ней, сколько помнила их дочь Елена, ставшая ныне уже и Еленой Ивановной, и бабушкой, у отца было одностороннее. Вроде бы он ее слушал, и даже внимательно, но почти не отвечал. Кивал иногда, едва заметно наклоня подбородок, а чаще резко дергал головой слева направо, как черту проводил. Но это как раз Елена Ивановна могла объяснить: тюрьма очень даже приучает к молчаливости. Особенно одиночная камера.

Елена Ивановна хорошо помнила, как отца выпустили: за несколько месяцев перед этим его под спецконвоем этапировали в Москву, и они долго не знали, что с ним. Письма возвращались пачками – «адресат выбыл». Сделали официальный запрос как положено, через отделение милиции, – тоже без толку. Но потом все разъяснилось самым наилучшим образом: пришел нарочный со служебной телеграммой, сверил паспорт, заставил расписаться, у матери дрожали руки, она прочла, упала на стул, заставила Елену перечитать. И еще раз, и еще.

Поэтому они его встречали не на вокзале, а где-то на южной окраине начинавшего расплзаться города, у окаймленного колючей проволокой серого забора с неприметной стальной дверью чуть ниже человеческого роста. Даже взяли такси – случай был особенный, да и автобусом не добраться. Дорога отходила от одного из новых, залитых солнцем проспектов, крутилась, петляла, становилась все хуже и превратилась в грунтовую, в ямах и

застоявшихся лужах, а в конце спустилась в овраг, выскочила на усеянный строительным мусором пустырь, вдруг расширилась до площадки размером в половину хоккейной коробки и уперлась в тот самый забор. Недоумевая, они вышли из машины и отнюдь не сразу разглядели перед собой тусклый цельнометаллический прямоугольник без замочной скважины, над которым висела доска с надписью «Пост №4». Никакой охраны снаружи не было.

Дверь открылась, и из-за забора вышел Иван Порфирьевич. Черное драповое пальто, чемодан с застежками, фетровая шляпа. За тринадцать с половиной лет он не так уж сильно изменился, разве что рот и глаза охватили снопы морщинок, но взгляд был все тот же – холодный и пронизательный. Елена не видела стоявшую рядом мать, но почувствовала, как та едва не рванулась навстречу мужу, но отчего-то смутилась и замерла. Неожиданно загудели и тут же стихли моторы – в небольшом отдалении остановились две крупные послевоенные легковушки. Неторопливо хлопнули двери, и вскоре рядом с ними оказалось человека четыре, все крепкие старики с более жирными, чем у Ивана Порфирьевича, затылками и набрякшими мешками под холодно-внимательными глазами. Костюмы на них сидели плотно и даже кое-где оттопыривались. Старики выстроились гуськом, и первый из них, по виду главный – Елена тут же прозвала его комиссаром первого ранга, – неспешно двинулся вперед, молча протопал мимо отступившей в сторону матери и столь же сосредоточенно открыл объятия.

– Здоров будь, Порфирьич!

– И ты не болей, Семен Карпович!

Скрипнула накрахмаленная сорочка, они обнялись, совсем ненадолго, и тут же отступили друг от друга. Оценивающе посмотрели – искоса, не в глаза. Подошли остальные старики, и ритуал повторился. Последний из них оглянулся и, кажется, только сейчас увидел Елизавету Михеевну с дочерью. Немного подумал, а потом приподнял шляпу, почти такую же, как у отца, и поклонился им, едва-едва. Мать подумала и ответила ему, Елена тоже подумала и тоже ответила.

– Ну что ж, идите, встречайте своего героя! – сказал главный старик и галантным жестом пригласил Елизавету Михеевну. Мать сделала неуверенный шаг, затем еще один, еще – и неожиданно со всего маху уцепилась за шею Ивана Порфирьевича. Он почему-то снял шляпу. Так и стоял, мать висела на нем, в одной его руке болтался чемодан, в другой замерла шляпа. Потом чемодан выпал, и отец обнял мать. Все это происходило в абсолютном молчании.

Елена не раз бывала на фестивальных киносеансах (билеты

распределяли в учебной части, за отличную успеваемость), потом они с приятелями, один из которых спустя совсем немного времени стал ее мужем, часто гуляли по ночной Москве, меняя бульвары на переулки, а переулки – на набережные, спорили, обсуждали, проверяли, кто и что понял в модных зарубежных фильмах; и сейчас ей вдруг показалось, что она находится внутри какой-то старой или специально снятой в давно ушедшем стиле ленты – не черно-белой, а черно-серой. Обнимать отца Елена почему-то не хотела и боролась с этим (как ей казалось, позорным) чувством. «Да, он виноват, – повторяла она себе раз за разом, – но ведь он за это заплатился, и теперь все счета закончены». Это глупое, книжное «счета закончены» раздражало ее еще больше, тем паче, что она не очень представляла, в чем именно ее отец был виноват. Но не виноватым он быть не мог – в этом сомневаться не приходилось.

Объяснил ей все Дима. Его семья пользовалась известностью в научных кругах и, по-видимому, имела доступ к каким-то сведениям, о которых Елена и понятия не имела. По крайней мере, тогда. «Их посадили всех, – броско сказал он. – Половину потом расстреляли, а остальным дали астрономические сроки, чтобы впредь неповадно было». Впрочем, тут Елена не очень поняла: что именно сделали, чтобы было неповадно, – расстреляли или посадили? Или и то и другое? Но почему его тогда выпустили? И кто после этого должен не иметь охоты и к чему именно? Папа ж теперь чистый пенсионер, без работы и реабилитации. Но Дима говорил очень убедительно, и ей хотелось ему верить.

Дима потом ее еще не раз просвещал. Так что постепенно она получила ответы на все эти вопросы, даже если не очень хотела их знать. Дима владел языками уже со школьных лет и имел библиотечный допуск, поэтому мог читать иностранную периодику, если только не очень антисоветскую, а прессу соцстран – почти всю. Тем более что ее часто можно было купить в газетном киоске у вокзала. Так что Дима очень гордился удачным выбором специализации – славяноведение, с упором на западных соседей: поляков, чехов, словаков – тогда их, впрочем, называли в одно слово: чехословаки («это, – объяснял Дима, – большая ошибка»). Впрочем, и их газеты из киосков тоже иногда пропадали.

Помимо благ чисто информационных профессия еще давала Диме возможность принимать дома иностранцев (среди которых попадались персонажи чрезвычайно интересные – коллеги-филологи, историки, переводчики и даже настоящие писатели), а также ездить в зарубежные командировки, достаточно престижные и выгодные, потому что длинные, недели на три. Хотя от обычных в этих случаях политических манипуляций было не отвертеться:

каждый частный визит такого рода обрамлялся как минимум двумя парадными обедами с участием заведующего сектором, а если зарубежный гость был увенчан регалиями международного значения, – то и директора института, в котором Дима прочно сидел на ставке старшего научного сотрудника с докторской степенью и успешно противился какому-либо карьерному продвижению. Аргументы он при этом приводил те же самые, что и при объявлении об очередном застолье с участием Петра Петровича и Евгения Алексеевича, – дескать, «через два дня Юзеф зайдет к нам по-настоящему». Нечего и говорить, что при произнесении имен начальства Дима прищуривал правый глаз и кривил рот, что должно было означать среднюю степень презрения, в том числе и к самому себе.

«Ты что, хочешь, чтобы я тоже составлял эти отчеты? И отсылал куда положено? Нет уж, пусть они как-нибудь сами пишут, затем и сидят в своих креслах с кабинетами». В случае, когда ему напрямую предлагалось повышение, та же речь повторялась с небольшими вариациями: «Ты представляешь, сколько меня заставят писать и что именно?»

Если Елена держалась, говорила, что денег по-прежнему не совсем хватает, а на следующий год надо будет платить за репетиторов для Тани, ей уже и сейчас неплохо бы подтянуть математику, то выдвигался резон самый значимый, парировать который было невозможно (разве что полусерьезной угрозой развода, да и то вряд ли): «И ведь тогда немедленно пристанут со вступлением в ряды!»

Ивана Порфирьевича в партии восстановили не сразу, а лишь через несколько лет. Как это произошло и что случилось с его судимостью, осталось для Елены неясным. Вроде, отца куда-то вызывали несколько раз, чуть ли не в течение полугода, он ходил, но с родными ничем не делился. А потом вдруг вернулся с новенькой корочкой в руках. По этому поводу в их доме теплым сентябрьским вечером появились два старика – из тех, что встречали его после освобождения. Принесли поллитровку, которую медленно, ничего не говоря, распили, как положено, под селедку пряного посла. Мать еще была жива, накрыла им столик на балконе, пригубила сама, хотя врачи запрещали. Дима, надо отдать ему должное, вышел к гостям, поздоровался, затем сослался на срочную работу и, надо опять-таки признать, продолжал барабанить на пишущей машинке часа полтора после того, как за стариками закрылась дверь.

Еще через несколько лет – Елена уже не помнила, каким образом она это узнала – отца восстановили и партийный стаж. Теперь в гости

пришел только один старик, кряжистый и не обремененный лишним весом, под стать самому Ивану Порфирьевичу. Накрывала им уже Елена, и было это в гостинной – стояла зима. Тогда поллитровка осталась недопитой. Прикончили ее около полуночи Елена с Димой, который только вернулся с вечернего сеанса, куда он сразу же при появлении гостя утащил Таню, к ее вящей радости и несмотря на вялые возражения жены: «Ты что, не видишь, в газете написано: „Детям до 16“...»

В этот раз у них случилась не то чтобы ссора – скорее, размолвка. Виновата была, пожалуй, она, хотя Дима пришел уже взведенный – непонятно, что он разглядел на цветном и широкоформатном экране, чтобы прийти в такое, достаточно для него редкое, агрессивное состояние. Но не скажи Елена – «мог бы и зайти, посидеть с ними пять минут», – ничего бы не было. А так – пошло-поехало: «Чего ты хочешь, чтобы я с ними отмечал? А годовщину великой и социалистической мы тоже теперь будем праздновать? Или второго съезда РСДРП?»

Надо заметить, что Елена родилась в самом начале ноября, поэтому семейное торжество почти всегда выпадало на выходные, и Дима не особенно лукавил, когда пытался дружелюбно улыбнуться в ответ соседу по лестнице, который, увидев его с цветами, тортом или бутылкой, уже чересчур громко поздравлял «и вас с праздничком!» «Народ, – говорил Дима еще в прихожей, только закрыв за собой дверь, – чувствует, мягко говоря, амбивалентность, если не сказать, реальную историческую ценность этой даты, потому и употребляет гаденький уменьшительный суффикс, сводящий на нет всю омерзительную кумачово-фанфарную пафосность, что уже третью неделю цветет на улице. – И тут же добавлял: – Ты ведь никогда не слышала, чтобы кто-нибудь из них назвал “праздничком” 9 мая!»

Елена действительно такого не слышала и с возрастом постепенно охладела и к своим дням рождения, и, тем более, к годовщине события, в котором, как она себе не раз логически доказывала, по-видимому, действительно не было ничего, что стоило бы праздновать, но соглашаться с Димой вслух не спешила. Немного мешали этому детские воспоминания: выглаженный матерью белый школьный передник, чуть позже – пионерский галстук, утренники, на которые мать обязательно отпрашивалась с работы, девочек, в ряду которых Елена распевала песни, часто не понимая значения слов. Слух у нее был хороший, да и голос приличный, поэтому она быстро попала в школьный хор и сумела отпроситься из него только в десятом классе, сославшись на крайнюю загруженность. Слава богу, ни учитель пения, ни директор школы не стали упираться и

оставили в характеристике упоминание об активной общественной работе и непрерывном участии в школьной самодеятельности. А то еще неизвестно, как бы оно получилось на апелляции: на вступительных она недобрала полбалла, и шансы у нее были самые хлипкие. Понимая это, она все-таки подала апелляцию на результат последнего экзамена, прекрасно отдавая себе отчет, что ничего не выйдет, – ведь ей даже не задали дополнительный вопрос, обязательный для тех, кто претендовал на пятерку, а сразу поставили ненавистное «хорошо». И окончательно уверилась в провале, увидев, что из первой партии нервных и заплаканных абитуриентов, ушедших в предбанник апелляционной комиссии, радостным не вернулся никто.

Наверно, ей повезло, что во второй партии она оказалась последней, поэтому ее личное дело смотрели чуть внимательней, один из членов комиссии указал другому на какое-то место, по-видимому, важное, тот, в свою очередь, водрузил очки на лоб, прочитал что следовало и понимающе кивнул. Потом они долго переключивали бумаги, думали, затем задали Елене все вопросы, которые были у нее в билете, она, конечно, была к этому готова и без запинки отбарабанила ответы, как по учебнику. Сами экзаменаторы, без лишних разговоров поставившие ей четверку, сидели в стороне и ни во что не вмешивались.

– Да, – наконец сказал сидевший в центре и ослабил узел галстука, – непонятно, что с вами делать... А, вот, тут написано про самодеятельность... «В течение всего времени учебы... Лауреат районного конкурса. Награждена грамотой...»

– Я в хоре пела, – тихо сказала Елена. – А грамота – это давно, три с половиной года назад, поэтому там написано «пионерская дружина имени Любви Шевцовой».

– Тогда интересно, – неожиданно оживился тот, в центре, – так как это имеет прямое отношение к тематике нашего института, – объяснил он тут же непонятно кому, – ведь у вас наверняка были песни историко-революционные... – Елена кивнула. – Вот какие, как вам лично кажется, – он сделал ударение на слове «лично», – являются наиболее значимыми одновременно с исторической и литературной точки зрения?

Наверно, Елена должна была на этот вопрос ответить как положено, и, скорее всего, ее бы и так взяли – с возрастом она себе призналась, что сам этот вопрос означал, что комиссия по каким-то причинам уже склонялась к тому, чтобы удовлетворить ее апелляцию, – но получилось так, что отвечать она не стала, а сразу запела, и с каждым словом все громче.

«Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущенный...» – пела она, и знала, что очень неплохо, хотя до солистки даже районного уровня ей было далеко. Но дышала правильно и голосом управлять могла. И была совершенно спокойна, почти до полной отстраненности. Ей казалось, что так хорошо она не пела никогда, но как раз в этом она с возрастом стала сомневаться. Комиссия – три седеющие головы – от неожиданности воззрилась на нее, кто-то даже начал привставать, а в углу зашевелились неслышные до сих пор экзаменаторы. Впрочем, председатель – естественно, это он был в центре – быстро пришел в себя и после первого куплета оборвал ее громким «прекрасно!» и немного картинно зааплодировал. Остальные, в том числе поднявшийся не до конца член комиссии (он потихоньку опять опустился на стул), к нему присоединились.

Елена замолчала, но почувствовала, что атмосфера небольшой аудитории, слышавшей сегодня немало слезных просьб и отчаянных рыданий, неожиданно разрядилась.

– Вот что, – сказал председатель, почему-то оглядевшись по сторонам, – а можем мы вас попросить несколько минут подождать за дверью? Нам с коллегами нужно некоторое время посоветоваться. Пожалуйста, не выходите в коридор, мы скоро позовем вас обратно.

Елена прошептала: «Да», закрыла за собой тяжелую створку из мореного дерева и застыла в небольшом предбаннике, отделявшем аудиторию от коридора. Внутри о чем-то тихо переговаривались, но разобрать ничего было нельзя – впрочем, от внезапно накатившего возбуждения она бы и не смогла.

– Войдите! – вдруг повысил голос председатель и, дождавшись, чтобы она снова прикрыла дверь, продолжил. – Если честно, то мы скорее согласны с вашими экзаменаторами – ваш ответ был гораздо ближе к оценке «хорошо», нежели к «отлично». Однако, – тут он сделал паузу, за время которой Елена уже поняла, что означает это «однако», – однако мы решили, как говорится, принять во внимание ваш интерес к профильной тематике и, что называется, поощрить ваши таланты. Поэтому ваша апелляция удовлетворяется, но с одним условием... – Елена взглянула на него с волнением. – ...Я должен попросить вас сейчас, в коридоре, не пересказывать содержание, а главное – результат нашего с вами разговора. Все это может вызвать ненужные эмоции, а у нас, в отличие от вас, еще много работы.

– Что же мне им сказать? – автоматически, вовсе не споря, спросила Елена и взглянула на председателя в поисках совета.

– Ну уж не знаю, – не пожелал ей помочь председатель.

– Хорошо, – тут же согласилась Елена и добавила: – Спасибо вам

большое!

– Не за что! – улыбнулся председатель. – Всего хорошего!

– До свидания! – сказала Елена, медленно нажала на потеплевшую латунную ручку, ступила в предбанник, повернулась, еще медленнее потянула дверь на себя и, услышав победный щелчок язычка, почему-то сосчитала до трех и только тогда вытолкнула себя наружу.

– Ну как ты? Так долго! Что сказали? – бросилась к ней потная кучка несчастных абитуриентов.

– Не знаю, – с легкостью солгала Елена. – Сказали, будут думать.

– То есть не отказали? – настаивал кто-то.

– Не знаю, – почему-то повторение этой фразы далось ей гораздо тяжелее. – Не знаю, ребята. Извините, мне надо в туалет.

Так вот, это воспоминание – о том, как она пела «Интернационал» перед апелляционной комиссией их общего института, – тоже мешало ей с легкостью соглашаться с Димой, даже когда она понимала, что он прав. Мешали слова «лишь мы, работники всемирной, великой армии труда» – ей почему-то особенно нравилось делать ударение на «всемирной»; мешало знание того, что как раз пением уже совсем других песен она где-то на третьем курсе обратила на себя внимание Димы, в которого не менее года была, казалось бы безнадежно, влюблена. И еще кое-что мешало, но спорить с мужем она могла только путем, как он сам говорил, «логических аргументов, опирающихся на объективную реальность». Поэтому, как правило, выбирался самый веский.

– Но ты же не будешь отрицать, что с точки зрения межнациональных отношений, советская власть сделала большой шаг вперед по сравнению со старым режимом. Ведь, например, твои дядя с тетей иначе никогда бы не встретились... Я уж не говорю... – Дима этот аргумент тоже знал, и она обычно еще не успевала упомянуть о погромах, когда он, разрезая ладонью воздух, как бы соглашался с ней, но ни в чем не уступал.

– Да, конечно, с этим невозможно спорить. Как, кстати, и с тем, что большевики обеспечили в стране поголовную грамотность. А также, – упреждал он ее, – и с улучшением положения женщины в Средней Азии и на Кавказе. Хотя ты не хуже меня знаешь, что очень многое – например, широко провозглашаемые лозунги, включая ту же дружбу народов, – отнюдь не всегда соответствует реальному положению вещей. И вдобавок...

Так они бодались время от времени, обсуждая то недоступное прошлое родной страны, то ее легко осязаемое настоящее, но ни разу

– или почти ни разу – за тридцать полных лет не переходя опасных границ, не переводя этот спор в область личного. Да и спорили они по-настоящему не так часто, обычно расходясь в своих оценках только самую малость. К тому же, помимо политики, всегда хватало других дел, и рано или поздно разговор уходил в сторону – и вот тут-то последнее слово чаще оставалось за Еленой, не то что в идеологических баталиях. Но тогда, в тот давний вечер, когда они допивали водку за двумя стариками, Елена особенно не хотела уступать – возможно, потому, что к этому спору каким-то боком оказался причастен ее отец, заботу о котором она приняла от матери, а исполнение этой обязанности, не всегда приятной, являлось чуть ли не последним воспоминанием о Елизавете Михеевне, о тяжелой и трудной жизни, которую – и вот это Елена теперь понимала прекрасно – мать прожила в отведенный ей срок на земле и в России, в очень несовершенно, несмотря на улучшение положения женщин Востока, мире.

Вместе с возвращением партбилета увеличилась отцовская пенсия. Теперь дважды в год – перед ноябрьскими и майскими праздниками – Елене звонили из какого-то распределителя и приглашали заехать и получить продовольственный заказ. Хотя двух зарплат им, надо признать, было вполне достаточно, она никогда не отказывалась: Таня была уже совсем взрослой девушкой, и одевать ее требовалось с некоторым тщанием. Затем дочь, естественно, перешла в десятый класс, появились репетиторы, а потом она поступила в университет, и оказалось, что ее стипендии с трудом хватает на самые обыденные расходы – в старое время это называлось «на шпильки».

Дима по-прежнему не желал делать карьеру, и приструнить его было некому. Когда-то была надежда на свекра, крупного ученого-естественника, который провел всю войну в эвакуации, имел несколько орденов и был уважаем не только коллегами, но и высоким начальством. Жили родители Димы в академической квартире, от размеров которой Елена в свое время просто обомлела, и, безусловно, отец имел на Диму немалое влияние. Увы, он был много старше своей супруги, часто болел, и вскоре его не стало. Таня тогда была совсем малышкой, хотя их еще успели сфотографировать вместе. «Вы не будете возражать, Леночка, – спросила свекровь, – если мы используем этот снимок для надгробия? Танечку, конечно,отрежем... Валя уже много лет так хорошо не получался. Он вообще этого не любил, разве что на документы». Над своим письменным столом Дима держал ту же фотографию, но уже в полный размер, с лупоглазой от неровно выставленного света Таней, в каком-то невообразимом чепчике, сидевшей на коленях у деда. Однако

советов от матери, особенно практических, муж принимать не желал – скорее, наоборот.

Внезапно все закрутилось по совсем непредсказуемому сценарию. Уже пару лет в газетах появлялись новые слова, но веры им особой не было, и правильно: слова, тем паче газетные, – материя дешевая. Однако тут ушел на пенсию старый директор института, и вдруг обычно тихие научные сотрудники из породы «книжных червей» – романисты, славяноведы, германисты и даже античники – все как один взбунтовались и на ученом совете забаллотировали присланного Академией кандидата, которого Дима, в свойственном ему стиле, аттестовал с помощью немного странного словосочетания: «звать никак». Настоящего имени несостоявшегося директора Елена не запомнила, и по ходу дальнейших перипетий этот человек у нее в мыслях фигурировал в виде серой косноязычной глыбы. «Звать-Никак» стало у него чем-то вроде имени-отчества, причем именно так, в двучленной форме, через дефис, а не, например, «Звать Никакович».

– Все-таки, какие идиоты, – повторял Дима, – до какой степени, точнее говоря, все прогнило, ведь они могли назначить обычного умного мафиози, из тех, у кого были заслуги в юности, так нет, не снизили, решили унижить – нет, просто ни о чем не подумали. Докатились! – и последовавшие события неожиданным образом подтвердили его правоту.

Раньше в таком случае тоже разразился бы скандал, но действия научных властей – а главное, их результаты, – скорее всего, были бы иными. Бунтовщиков вызвали бы в разные инстанции, подошли бы к ним индивидуально, и потихонечку – где путем угроз, где – посулов или уговоров, а иногда и посредством прямой, ничем не замаскированной купли (та система, когда хотела, могла быть очень изобретательной), разобрали бы институтскую баррикаду по бревнышкам и досточкам. И могли даже настоять на новом голосовании, чтобы провести-таки опозорившегося кандидата, хотя не исключено, что заменили бы его – ничуть не лучшим, но, в любом случае, непременно обеспечили бы «единодушное и единогласное». И все было бы тихо под плотным академическим ковром, только носились бы по Москве неверные телефонные слухи и добавилось бы десятка два-три случайных покупателя в винно-водочных очередях бескрайней столицы мира и социализма.

Но сейчас власти предрежащие не предприняли ничего. Не было ни вызовов, ни угроз, ни уговоров – только глухое и злобное молчание. Поэтому, воодушевившись, фронда начала действовать: в институте появился молодой и внимательный к собеседникам

корреспондент одной из центральных газет (пусть далеко не самой важной), и спустя недели три на доске объявлений красовался вырезанный из свежего номера материал – аккуратный и вовсе не подрывающий основы. В нем автор кратко и объективно излагал суть конфликта, а затем бесстрастно указывал на то, что у кандидата в директоры нет ни одной собственной монографии и ни одной статьи, написанной без доброй дюжины соавторов; что его труды ни разу не переводились на иностранные языки и не цитировались зарубежными коллегами, в то время как среди сотрудников института... Далее шло перечисление научных регалий пяти-шести наиболее серьезных работавших там ученых, из которых Дима был единственным без какой-либо руководящей должности (и потому на директорское место не мог претендовать даже теоретически), и задавались вполне корректные вопросы о компетентности, критериях отбора академического начальства и прочих вполне естественных вещах, которые еще год назад выглядели бы или полной крамолой, или заранее утвержденной инструкцией об экзекуции лиц, ставших мишенью такой публикации.

Теперь же оказалось, что редакция решила опубликовать материал на свой страх и риск, ни с кем его не согласовав, и что научное начальство даже не пыталось этому помешать, – более того, «Звать-Никак» отказался разговаривать с корреспондентом и не поднимал трубку, когда ему звонили из редакции с просьбой дать разъяснения. «Еще бы! – сказал Дима, – он же не может связать двух слов! Боже мой, как все прогнило, и слава богу, – ведь могли поставить какого-нибудь бандита, и он бы отлично вывернулся».

Надо сказать, что «бандитами», применительно к среде академической, Дима называл коллег небесталанных, но наглых и давно сотрудничавших с «системой», которые от такого сотрудничества имели выгоды самые разные и многочисленные, но одновременно умудрялись сохранять определенную научную репутацию, а благодаря возможности выезжать за границу – еще и поддерживать связи и даже какое-то сотрудничество с иностранными коллегами. Елене всегда казалось, что некоторым «бандитам» Дима завидовал, но одним из них быть не хотел. Или не мог?

Так или иначе, но институтская жизнь завертелась в сторону, еще несколько месяцев назад непредставимую. Собрания, выборы, перемены, да какие! – Диму тайным голосованием избрали в ученый совет и наконец-то уговорили стать во главе сектора. Узнав об этом, старый заведующий купил бутылку конька, напоил Диму на рабочем месте и тут же с облегчением ушел на пенсию. «Пообещали,

что утверждение на парткоме будет чисто формальным и что я как беспартийный туда являться не должен», – с видимым торжеством сообщил окутанный коньячными парами Дима, едва войдя в дом.

Спустя еще некоторое время Елена заметила, что в научно-техническом журнале, где она работала, изменился тон статей, проходивших через ее руки, а затем и всех остальных. Потом на улицах вдруг возникли киоски с непонятными, недоступными ценами на простейшие, но давно исчезнувшие с магазинных прилавков продукты. И в довершение у Тани появился Павел, то есть Паша, довольно быстро ставший опять Павлом, а спустя всего несколько лет – Павлом Петровичем. Дима сразу отнесся к нему настороженно, но Елена, Елена Ивановна, относилась это, и не без причин, на счет обычной мужской – отцовской – ревности. К тому же Павел отлично умел делать все, к чему Дима был совершенно неприспособлен, и, наоборот, ни в малейшей мере не интересовался вещами, которые Дима считал важнейшими, и не имел никаких знаний в тех областях, знакомство с которыми Дима полагал необходимым для любого приближенного к нему человека, тем более члена семьи.

Итак, Павел отлично водил машину и вообще разбирался в автомобилях, чему было вполне резонное объяснение: он учился в Автодорожном, прямо у метро «Аэропорт». Поэтому с легкостью самолично чинил средней старости «Жигули», которые у него уже почему-то были («Откуда он взял такие деньги?» – риторически спрашивал Дима; сами-то они так и не удосужились их наскрести), и вообще заправски работал любым инструментом. Павел все время занимался какими-то делами – что-то куда-то вез, переправлял, находил, доставал. Поэтому у него было множество самых разных знакомых, чуть ли не из всех сфер жизни, что тоже стало для Димы и Елены Ивановны большим открытием – они часто слышали, как Павел разговаривал по телефону языком, не вполне им понятным, или, точнее, очень непривычным. «Ты можешь мне сказать, где они познакомились?» – вопрошал Дима.

При этом Павел очень прилично учился, кстати, подрабатывая по вечерам, – как они думали, в автомастерской, а оказалось – на стройке; без приключений закончил институт с дипломом, который не украшали разве лишь оценки по общественным предметам; поступил на работу в какое-то ремонтное бюро начальником смены и тут же пришел к ним делать Тане официальное предложение. Был он при этом в костюме, белой рубашке и яростно затянутом галстуке, а также настоял на том, чтобы отдельно поговорить с Иваном Порфирьевичем, которого до той поры особенно не замечал. Впрочем, с ним уже несколько лет никто, кроме Елены, и не общался

– Дима, почти двадцать лет державшийся холодно, но корректно, постепенно стал лишь здороваться с тестем при утренней встрече (чего избежать в их относительно скромной квартире было невозможно), Таня же, начиная с первого курса, являлась домой чуть ли не только ночевать и дважды в год – заниматься во время экзаменационной сессии.

«Где она шляется?» – периодически интересовался Дима. Елена в ответ только смотрела на него исподлобья, он тряс головой, словно добавлял: «Да, я понимаю, что это звучит очень смешно». И все-таки принял Павла с некоторым, наверное, облегчением. «Может быть, может быть...» – ни к кому не обращаясь, начинал повторять Дима после того, как Павел, тогда еще не жених, наносил один из своих, как они это называли, официальных визитов – перед Новым годом или Таниным днем рождения; а однажды вдруг сказал ни с того ни с сего: «Ну, у такого не забалуешь».

Первый компьютер в дом тоже принес Павел – точнее, сразу два: один – Тане, а второй...

– Папа, зайди и забери, а то я об него все время спотыкаюсь, – сказала дочь назавтра, в который раз поправляя берет перед зеркалом в прихожей. «И моды тоже возвращаются», – глядя на нее, как раз думала Елена Ивановна, не очень понимая, откуда в этой фразе возникло бессмысленное «тоже».

– Что это значит – забери?! – немедленно вспыхнул Дима.

– Потому что это для вас, – тут Таня немного выгнулась и одарила отца обезоруживающей улыбкой. Но тот сдаваться не собирался – нет, поправила себя Елена, – уже начинал сдаваться, судя хотя бы по интонации.

– Я положительно не понимаю...

– Чего ж понимать, – Татьяна снова улыбнулась, теперь в сторону матери, – это подарок.

– Но позволь... – начал Дима, тут Елена решила, что пора его поддержать, и добавила: – Действительно, Таня...

– Он вас просто стесняется, – победоносно ответила дочь. – Потом объяснитесь. В конце концов, все – интеллигентные люди. Чао, ребята!

Пожились молодые довольно быстро, на свадьбу приехали воспитавшая Павла мать и старший брат, угловатый, замкнутый и совсем на него не похожий. Елена подумала, что, скорее всего, дети были от разных отцов, но спросить не решилась. Жили ее новые родственники в Череповце, работали на комбинате. Сватья тоже была тиха, в разговорах участия почти не принимала, тост сказала

короткий и сразу расплакалась. Потом она, в отличие от старшего сына, которого они больше не видели, еще дважды приезжала в Москву, оба раза почему-то зимой, в самые холода. Ответных визитов не было – Павел, по его словам, последний раз навестил родину на третьем курсе института. «А чего там делать-то?» – удивленно ответил он вопросом на вопрос, когда Елена осведомилась, не хотят ли ребята съездить туда в отпуск. Нет, в их планы это не входило.

Пока суд да дело, Павел переехал жить к ним и мгновенно освоился. «Нынешняя молодежь гораздо активнее нашего брата», – периодически иронизировал Дима, но сразу вспоминал, что сделал то же самое, поскольку в силу разных причин не захотел вводить молодую жену в родные академические хоромы. Впрочем, это даже не обсуждалось – было ясно, что Елена родителей не покинет. А потом очень быстро появилась Таня, и ее нужно было на кого-то оставлять, а только она вышла из детсадовского возраста – как начала недомогать бабушка Лиза... Так что в итоге сам Дима очень даже вошел в чужую семью и не слишком привычный для него родственник круг.

Как правило, Елена на подобное сотрясение воздуха даже не отвечала; она давно знала, что ее муж – экстраверт, а потому думает вслух, но все-таки иногда она не могла удержаться: «Кстати, если ты не заметил, вчера Павел починил раковину. Да, на кухне». Женщина более ироничная или закомплексованная обязательно добавила бы, что это та самая раковина, в которой моют овощи, посуду и проч. и которой Дима никогда не пользуется по прямому назначению, что ничуть не мешает ему употреблять в пищу оные овощи, и т. д., но Елене это совершенно не требовалось. Тем более, что Дима все прекрасно понимал, а ворчал исключительно из привычки. «Да уж, извини, – иногда добавлял он, – старею, брюзжу. Неужели ты думала, что это будет выглядеть по-другому? Увы, увы».

В тот день Елена была дома одна, то есть Иван Порфирьевич, конечно, сидел у себя, но это ничего не значило: он бы ни дверь никому не открыл, ни к телефону не подошел. А вот тут именно что – зазвонил телефон, где-то незадолго до полудня, что по тем временам было еще необычно.

– Могу ли я говорить с Иваном Порфирьевичем или с кем-то из его близких? – сказал незнакомый голос с акцентом, который Елена прекрасно знала, но не слышала с институтских времен. Какие-то совсем давние воспоминания вдруг зашевелились у нее в голове, вот только на ум никак не шло название языка, которому несомненно соответствовало твердое «р» и ослабленное губное «в», скорее похожее на «б».

– Да, это я, – чуть невпопад ответила Елена и почему-то оглянулась. – Иван Порфирьевич немного нездоров, – ей что-то не понравилось в собственных словах, и она остановилась. Сглотнула, подумала и сразу же исправилась. – Папа, – гораздо тверже и стараясь выговаривать каждое слово как можно яснее, сказала она, – папа немного нездоров. Чем я могу вам помочь?

– Надеюсь, ничего серьезного? – казалось, на том конце провода этому действительно придавалось какое-то значение.

– Нет, ничего особенного, спасибо, – Елена затаила дыхание.

– Я звоню вам, – немедленно сообщил голос, и тут она вспомнила, что это за акцент, – из посольства Королевства Испании в Москве.

«Королевство обеих Испаний, – почему-то возникло у нее в голове. – Кастилия и Леон. Два льва. В Гранаде тоже есть Львиный дворик».

– Ваш отец, – продолжал невидимый кастильский собеседник, – участвовал в обороне Мадрида осенью 1937 года. Недавно...

«Он был на той войне, – подумала Елена, – он мне никогда не рассказывал, он никогда ни о чем не рассказывал».

– ...Относительно недавно, – гнул свое испанский незнакомец, – по случаю годовщины этих событий и в качестве знака признательности в адрес оставшихся в живых ветеранов, сражавшихся за победу демократии, коммуна города Мадрида приняла решение о награждении всех бойцов республиканской армии, участвовавших в сражении... Обращаю ваше внимание, что эта медаль не является государственной наградой Королевства Испании, однако таковые знаки отличия время от времени вручаются за особые заслуги некоторыми, наиболее влиятельными и древними коммунами, из которых мадридская, сами понимаете... Впрочем, также очевидно, что они, то есть коммуны, все-таки обладают ограниченными ресурсами, особенно в том, что касается дел международных. Поэтому мы, в качестве полномочного представительства нашей страны, оказываем муниципальным организациям посильное содействие в розыске таковых ветеранов. Нам удалось связаться с компетентными российскими организациями и передать им запрос, на который мы только что получили положительный ответ. Я сразу же просмотрел список и увидел в нем один московский адрес, и вот звоню вам. Очень рад узнать, что Иван Порфирьевич в добром здравии. Господин посол будет чрезвычайно польщен, если ему удастся навестить вашего отца и лично передать ему признательность мадридцев, но в каком-то смысле и всего испанского народа, и вручить...

– Да, – сказала Елена, – я понимаю. Я все ему передам. Вы можете перезвонить завтра?

Некоторое время она сидела на кушетке. Кадры черно-белой хроники, испанские дети, пилотка Рубена Ибаррури в музее, куда их водили в девятом классе, «Не спрашивай, по ком звонит...», Лорку расстреляли почти в самый первый день, «Над всей Испанией безоблачное...», растерзанная лошадь Пикассо, которую несколько лет назад она видела в альбоме, «Но пасаран», «пятая колонна» – она знала об этом очень много, ее учили этому и в школе, и в институте, и потом, но теперь получалось, что не знала ничего, потому что рядом с Хемингуэем и Оруэллом, в окопах у Теруэля – нет, он ведь говорил про Мадрид, а, кстати, где находится этот Теруэль?.. Совсем поблизости от партизан Эль Сордо, Марии и Роберта Джордана, – всегда хотелось узнать, с кого писан русский советник в «Колоколе», должен же быть прототип? – на передней линии республиканского фронта находился Иван Порфирьевич, ее родной отец, ничего ей не рассказывавший в течение двадцати с лишком лет после возвращения из тюрьмы.

Ведь она не знала даже, был ли он на Великой Отечественной, а если да, то – где и в каком качестве (несмотря на восстановленный партбилет, никаких знаков отличия Ивану Порфирьевичу не вернули). Интересно, что этого не знала и покойная Елизавета Михеевна – с ней отец познакомился уже после войны, когда, как говорила мать, его уже перевели в центральный аппарат, в то самое здание, из которого он через девять лет в один прекрасный день не вышел, а к ним домой тогда же наведальсь множество людей в форме, перевернувших все вверх дном, но сначала продемонстрировавших матери несколько бумаг, согласно которым они имели на это полное право. Их скромное имущество они, впрочем, не тронули, и за самой Елизаветой Михеевной никто потом тоже не пришел. Даже из квартиры их не выселили, просто оставили в покое, несмотря на решение закрытого суда. «Теперь, – сказал, уходя, один их тех, что в форме, – все делается по закону».

– Конечно, он был на задании, – сказал вечером Дима, – там находилась куча людей из конторы. Пытались провести своих людей во власть, устроить социализм на Пиренеях. И грязи было предостаточно. Подсиживали, убивали, предавали – как обычно. Отчасти потому республика и проиграла. Сейчас это все известно: вышло множество мемуаров и несколько приличных обобщающих работ, у нас и у них. Там много чего... – и он замолчал на полуслове, но Елена знала, о чем думает муж. – Ты ему рассказала?

– Да, – ответила Елена, – сразу же.

– И что же? – Дима поправил очки.

Иван Порфирьевич, показалось Елене, был удивлен. Возможно, оттого, что она постучалась к нему в неурочное время. Она слышала, как он ходит по комнате, что-то переставляет с места на место. «Прячет!» – вдруг поняла она. Слух, как не раз убеждалась Елена, у отца остался прежним: недавно Таня с Димой обсуждали вполголоса какие-то свежие политические новости, она даже не разобрала, какие, но лицо неожиданно вошедшего на кухню Ивана Порфирьевича тут же окаменело.

Елена терпеливо ждала. Дверь открылась.

– Откуда звонили? – сухо спросил старик.

– Из испанского посольства, – внимательно глядясь в его лицо, сказала Елена. Иван Порфирьевич задумался.

– А-а, это, – наконец выжал отец без признака каких-либо чувств, – и что?

– Тебе хотят вручить медаль, – почему-то с мстительной интонацией ответила Елена, – за участие в боях в защиту демократии. – И для верности добавила: – От коммуны города Мадрид.

Она хотела еще присовокупить: «Столицы Испанской Республики», – но вспомнила, что Испания теперь королевство, Кастилия и Леон. Два льва.

Иван Порфирьевич задумался.

– Ну что ж, – сказал он через минуту, не более, – медаль – значит, медаль. Надо взять.

Елена думала сразу же позвонить Диме, но немного поразмыслила и не стала. Уж очень возбужденным он стал в последние месяцы, а все оттого, что почти праздничными были эти примерно два-три года его и ее с ним жизни. Может быть, поэтому он воздержался от чрезмерных комментариев на испанскую тему и воспринял происходящее как еще один, отнюдь не самый важный, поворот в разворачивающейся вокруг пьесе. В каком-то смысле он уже привык к чудесам: поездкам на международные конференции за счет принимающей стороны; выходу в свет сразу двух монографий, из которых одну тут же перевели в Германии; приглашению прочитать полугодовой курс в Карловом университете (Елена приехала к нему на месяц, но Таня по телефону уговорила ее остаться еще на три недели, убеждая, что дед в полном порядке и особого ухода не требует); заседаниям в отделении Академии, пересмотру учебных планов и даже периодическим звонкам из некоторых популярных печатных изданий. Может быть, он считал –

и Елена в душе была с ним согласна, по крайней мере иногда, – что все это совершенно в порядке вещей, что он это все заслужил по праву и оттого надо просто радоваться и благодарить судьбу, а не жаловаться, что какая-нибудь малость могла бы произойти гораздо раньше. Иначе говоря, Дима жил сегодняшним днем и вовсе не считал себя опоздавшим на праздник. Поэтому испанскую новость Дима тоже воспринял как часть того же праздника, возможно даже, посчитав ее событием глубинно-, хотя одновременно и гротескно-справедливым, ведь новое время чуть ли не каждый день приносило в их семью счастливые перемены, о которых они недавно не могли и мечтать, вот только один Иван Порфирьевич оставался в стороне от этого невообразимого хоровода. До сегодняшнего дня.

– Если быть точным, – Иван Порфирьевич заговорил неожиданно и застал всех врасплох, отчего мгновенно воцарившееся молчание показалось Елене особенно звонким, – если быть, – отец сделал маленькую паузу, – скрупулезно точным, то к интербригадам мы формально отношения не имели и в их личный состав не входили. У нас, – здесь он снова помедлил, – были другие, другие...

– Функции, – прошелестел за спиной одними губами Дима.

– Совсем другие задачи, – закончил Иван Порфирьевич.

Это было уже вечером, во время семейного обеда, тут Елена поняла, что они очень давно не собирались за одним столом. Дима был в разъездах да заседаниях, она тоже металась между аэропортом, компьютером и издательством, Павел – тот вообще приходил ближе к полуночи, а вставал по-прежнему раньше всех. «Мама, ты не представляешь, как он много работает», – привычно говорила Таня, хотя Елена Ивановна и не думала упрекать зятя даже взглядом. Или дочери все равно казалось, что мать вот-вот что-нибудь скажет? Самое интересное, что именно Павел был меньше всех удивлен происходящим, как будто всегда ожидал, что Иван Порфирьевич окажется героем гражданской войны в Испании. По крайней мере.

– Здорово! – сказал Павел, подливая себе в чай неразбавленную заварку. – Сам посол придет? Класс! Молодец, Иван Порфирьевич! Правильно говорят, что в нашей стране главное – жить долго, и тогда награда тебя найдет. Это тоже надо отметить. – Елена уже хорошо знала, что в устах зятя лишних слов не бывает, и только вопросительно подняла брови в ответ на неслучайное «тоже». – А, – немедленно понял Павел, – так мы вам давно хотели сказать, но пока еще не было ясности. Квартиру мы тут неподалеку нашли. Пешком минут пятнадцать, не больше. Попробуем в следующем месяце уже перебраться.

– Это в каком смысле вы ее нашли? – в голосе Димы были

одновременно легкая обида и не очень хорошо скрываемое любопытство.

– Ну, – Павел почему-то немного застенялся, – сначала снимем, а потом... Потом будем работать дальше... – он снова замолк.

– А что, вы думали, мы у вас вечно на шее сидеть будем? – бросилась выручать мужа Таня.

– Таня, да что ты говоришь такое – сидеть? – не удержалась Елена Ивановна.

– Ну, не так сказала, но ты понимаешь, – отмахнулась дочь. – Нужно же что-то делать рано или поздно, а тут подвернулся хороший вариант, надо брать, пока не перехватили.

– Нет, я ничего, – Елена даже попробовала улыбнуться, – просто все так неожиданно. – Тут они обе разрыдались и обнялись. Дима смущенно смотрел в сторону. Павел тоже.

– Ну, ты же понимаешь, – повторяла Таня, – что и ребенка нам уже пора, а тут мы толкаемся все время, вам же только легче будет. И это действительно очень близко, будем друг к другу в гости ходить, честное слово!

Никита родился в следующем году. Елена Ивановна потом прикинула даты – ведь появление телефонного испанца навсегда отпечаталось в ее жизненном календаре, – и получалось, что примерно тогда молодые и начали работать над его появлением на свет. Может быть, даже в ту же самую ночь... «Значит, – подумала она, – Никита Павлович тоже немного кастилец. Совсем как его прадед».

Кстати, вслед за голосом в трубке (обещанный на завтра звонок состоялся вовремя, и Елена даже не успела подумать о том, что все это – розыгрыш) появился и его обладатель, причем, как и было обещано, не один. Ритуал был обговорен заранее, обошлись без особых торжеств, по-семейному. Секретарь посольства по культуре – а звонил именно он – сопровождал посла, загорелого мужчину лет шестидесяти, и одновременно выступал в качестве переводчика, поскольку господин посол по-русски не говорил. Иван Порфирьевич был одет строго, по-парадному. Посол, надо отдать ему должное, сказал речь одновременно краткую и проникновенную. Дима не раз по ходу ее одобрительно кивал и, наверно, действительно кое-что понимал.

Потом, во время небольшого банкета, в сервировании которого испанская сторона приняла посильное участие, за что Елена Ивановна была очень благодарна, ибо ставшие в последнее время не такими маленькими их с Димой зарплаты по-прежнему не успевали за ценами, и если бы не командировки в Европу... Так вот, немного

выпив, секретарь несколько, не более чем подобает опытному дипломату, расслабился и намекнул, что существование Ивана Порфирьевича стало большой удачей и для него, и для господина посла, поскольку в самое ближайшее время планируется визит в Москву Ее Королевского Величества, которая испытывает невероятную симпатию к России, особенно к российской культуре. И что будет чрезвычайно уместно, с точки зрения так называемой народной дипломатии... К тому же в списке, который был получен из компетентных инстанций, почти не было московских адресов, и очень многие кандидаты значились как проживающие в республиках, «поэтому, сами понимаете...» «Ну что вы, ну что вы, – поминутно повторяла Елена Ивановна, – нам тоже очень приятно». В общем, вечер удался, а в конце его всех поразил уже Иван Порфирьевич, который награду принял с отменным достоинством, но в дальнейшем своей молчаливостью изменять не стал.

Однако когда гости, рассыпаясь в комплиментах и благодарностях, стали подниматься из-за стола, новоиспеченный кавалер мадридской медали вдруг буркнул: «Одну минуту», – и исчез у себя в комнате. Все застыли на местах и только-только начали ощущать некоторую неловкость, как Иван Порфирьевич вернулся в пространство взаимоприятного российско-испанского диалога. В руках у него была сложенная вдвое желтая карточка, которую он тут же открыл и привычным движением заслонил все там написанное, за исключением двух строчек, которые первым делом продемонстрировал польщенному секретарю. Тот в восторге зацокал языком.

Елена, сидевшая рядом, повернулась и тоже увидела: «Февраль 1937 г. – октябрь 1938 г.: Испанская республика, служебная командировка». Секретарь немедленно все перевел послу, тот тоже воодушевленно закивал головой. После этого Иван Порфирьевич торжественно сложил карточку, и Елена успела заметить на титульном листе выведенные химическим карандашом отцовские имя-отчество и потускневшую фотографию. Но все же возраст сказывался, и из рук Ивана Порфирьевича вдруг выпал еще один листок, совсем тонкий, и по изящной дуге спланировал под стол. Секретарь оказался проворнее всех, подхватил его чуть ли не на лету, мгновенно обернулся и как ни в чем не бывало протянул Елене. Та приняла листок почти не глядя и тут же передала нахмурившемуся отцу. Иван Порфирьевич взял его не торопясь, вложил обратно в папочку и сразу же удалился.

Перед глазами Елены Ивановны стояли написанные наискосок от руки строки: «Обязуюсь категорически отрицать, что я прибыл с территории СССР... Ни в коем случае не вести никакой

корреспонденции с кем бы то ни было...» Почерк был немного похож на ее собственный, только давний, почти детский, таким почерком были написаны ее сочинения в старших классах, которые она случайно нашла несколько лет назад под старыми материнскими фотографиями и некоторое время листала, перед тем как положить обратно, на самое дно жестяной коробки из-под ниток.

На прощание испанцы уважительно и долго обменивались рукопожатиями с Иваном Порфирьевичем, галантно целовали ручки Тане и Елене Ивановне, раскрывали объятия Диме, крепко сжимали каменную пятерню Павла. Секретарь также успел дать Диме (Елена оценила его тактичность) номер своего служебного телефона и заклинал в случае чего не стесняться и обязательно... Затем последовала неизбежная толкотня в прихожей, и только после того, как за гостями закрылась дверь, Елена поняла, насколько она опустошена. Оглянувшись, она осознала, что те же самые чувства испытывают все, даже Дима. Впрочем, нет – Иван Порфирьевич к ним и в этот раз не присоединился, а твердо вымолвив «вот и хорошо», развернулся и снова исчез в своей комнате. Они, по-прежнему выжатые, стояли в прихожей, только Елена, вдруг обессилев, опустилась на подставленный Димой стул. Первым пришел в себя Павел – пересек гостиную и сдержанно, но отчетливо постучал в дверь ветерана обороны Республики.

– Да? – немедленно откликнулся тот.

– Иван Порфирьевич, – как-то веско сказал Павел, – а с нами-то как же? Надо отметить теперь уже без чужих, по-семейному. Вам в Испании наркомовские сто грамм полагались?

– Нет, – подумав, ответил кавалер мадридской медали, – не полагались.

Жизнь продолжала нестись своим чередом. Молодые в самом скором времени переехали (только спустя год Елена поняла, что квартиру они, конечно, купили, просто не хотели сразу говорить, чтобы не вызывать лишних вопросов), затем появился Никита, потом цены стали совершенно отвязными, а в магазинах не было ничего, даже по талонам. Именно в это время уставшая платить домработнице мать Димы поменяла свою квартиру на меньшую, разумеется, получив доплату. «И это, – спустя несколько лет, к месту и не к месту, говорил Дима, – в исторической перспективе было чрезвычайно неудачным решением».

Книги, Впрочем, еще выходили, и приглашения из-за границы продолжали поступать. Путч Елена с Димой пережили в Праге, где день в день проходила конференция славистов, немедленно потерявшая какой-либо научный характер: ее наводнили газетчики,

телекамеры, началось составление коллективных писем, их отправка по каким-то непонятным, но громко звучащим адресам (в том числе и в ООН), торжественное открытие задержалось на два с половиной часа, а некоторых докладчиков найти так и не удалось.

Дима, надо отдать ему должное, вел себя не суетливо, а пользуясь своим почти безупречным чешским, аккуратно отвечал на все вопросы местной публики, в результате чего к концу дня стал звездой и даже мелькнул на экране в вечерних новостях. В выражениях он, однако, не стеснялся и ночью, вытянувшись на гостиничной кровати, с удовлетворением произнес: «Похоже, что обратной дороги уже не будет. Впрочем, – тут он подскочил и погрозил кому-то пальцем, – это у них обратной дороги нет!»

Весь следующий день Елена провела у телевизора. Дима потом рассказывал, что ему было обидно за нескольких замечательных ученых, честно поднявшихся на кафедру в тот момент, когда почти вся аудитория прильнула к карманным радиоприемникам. Вечером вместо бюллетеней о реакции мировой общественности, интервью с политиками, учеными и прохожими вдруг началась прямая трансляция из Москвы. Елена смотрела и не верила своим глазам – ведь тогда значит, значит... Приближалась полночь, репортерские интонации становились все тревожнее и тревожнее, но трансляция не прерывалась. И не прервалась – заснувшую в кресле перед включенным телевизором Елену разбудил вошедший с грохотом под утро Дима: они с чешскими коллегами то ли успешно снимали накопившийся стресс, то ли праздновали, да только – что? «А вот увидишь!» – торжествовал Дима, безуспешно пытаясь развязать затянувшийся узел галстука.

Назавтра выяснилось, что он был прав, и некоторые члены отечественной делегации, накануне куда-то исчезнувшие, радостно бросались к нему и поздравляли *с победой*. Дима сдержанно улыбался и отвечал: «И вас также. И вас! Не правда ли, какое счастье?» – коллеги искренне соглашались и облегченно бежали дальше.

Спустя еще три дня они вернулись в совсем другую страну. Елена сумела-таки накануне дозвониться до молодых и убедилась, что у них все хорошо, хотя это было ясно и так. Уже в прихожей Таня рассказала, что вторую ночь Павел провел у Белого Дома.

– А третью? – ошеломленно спросил Дима.

– Так уже все было ясно, – спокойно ответил Павел, – а бизнес бросать негоже. Тут многие пытались подсуетиться под шумок.

При первой встрече дома и раздаче непрременных сувениров никто старался не показывать своих эмоций: берегли деда. Тот, впрочем, сам себя не щадил – по словам молодых, дни напролет

сидел у телевизора и ничего не говорил. Только раз, во время общего воскресного обеда – такой у них с некоторой поры завелся обычай, – бросил в сердцах салфетку на стол и почти проорал: «Сошляки!» – тут же сухо извинился и ушел в свою комнату. Так они и не узнали, кого именно имел в виду Иван Порфирьевич.

Страна менялась и ужималась на глазах. Внезапно и навсегда кончились государственные деньги, зарплаты стали приходиться с задержкой и изрядно подъеденные инфляцией. Издательство, в котором работала Елена Ивановна, несколько месяцев простаивало, а потом начало, все активнее и активнее, печатать продукцию, которую редактору с высшим образованием, и тем более с кандидатской степенью, было стыдно держать в руках. Она еще некоторое время крепилась благодаря гонорарам за дешевые заграничные боевики – их раздавали сразу пяти-шести переводчикам, и к концу недели они приносили продукт, который нужно было в течение выходных привести к общему знаменателю – например, выверить единообразное написание всех иностранных имен собственных. В какой-то момент это Елене осточертело. «А переходи к нам ученым секретарем, – предложил Дима. – Раньше за такое место держались до пенсии, а сейчас уже три месяца никого найти не можем».

Впервые придя в институт после длительного перерыва, Елена поразилась, насколько он опустел. Да, она знала, что почти все аспиранты мужа разъехались по безразмерным зарубежным командировкам, откуда пока ни один не думал возвращаться, но как-то не могла из этого заключить, что в институте – если не считать немногих студентов, – просто не осталось молодежи. Старики понемногу вымирали. «Скоро осуществится мечта идиота, – приговаривал Дима, – и мне опять нечем будет руководить». Иноземные гранты и поездки на конференции тоже высохли почти в одночасье – большинство европейских коллег, которых Дима знал уже лет по тридцать, начали выходить на пенсию и звали приезжать летом на балтийское, эгейское или адриатическое побережье. Писали, что места достаточно, и приглашали всю семью.

В любом случае без помощи детей они о такой поездке не могли и подумать, но молодые по-прежнему предпочитали Крым. «Излишки первоначального капитала надобно наперед вкладывать в дело, – говорил Павел, – а потом уже будем кататься по всяким заграницам».

Такое смешение марксистских терминов с языком героев Островского приводило Диму в искренний ужас и немалый восторг.

– Ты подумай, – как-то сказал он Елене Ивановне, – ведь казалось,

что их полностью истребили, под корень вывели вместе с сельскими священниками и столбовыми дворянами. А вот нет – очень хорошо известный из литературы персонаж, можно сказать, волжский пароходчик в зачатке, появился, и кстати, в нашей собственной семье. Даже в деталях все сходится – плотно пообедав в воскресенье у тещи, он ходит туда-сюда с умным видом, вещая про капитал. Можно сказать, изрекая сентенции. И главное, что у него этот капитал есть или, в крайнем случае, будет, а мы с тобой так и умрем гольшом.

Он помолчал и добавил: «Начинаю приходить к мысли, что нашей дочери повезло в жизни». Елена не спорила.

Так что октябрьский путч семья пережила в Ялте, как раз конец сезона, можно было неплохо сэкономить, в том числе и на пожилой киргизке, которая приходила следить за Иваном Порфирьевичем. Тут Павел снова поразил Диму – и, в каком-то роде, даже ко всему привыкшую Елену Ивановну – тем, что довольно быстро потерял интерес к происходящему в столице и перешел к делам повседневным, даже банальным. Дима, конечно, не удержался и немедленно задал ему какой-то наводящий вопрос – может быть, проверял, не изменились ли за два года политические симпатии не так давно вставшего на защиту демократии зятя.

– Да что тут думать, – охотно ответил Павел, – ведь расклад-то совершенно понятный. Они же все самозванцы, а он, какой ни есть, а всенародно избранный. К тому же при оружии. Дело ясное. Вы бы тоже не нервничали, Дмитрий Валентинович, а взяли бы коляску и погуляли бы с Никиткой, пока он задрых после кормежки.

Зимой разруха стала еще больше, но им пока удавалось держаться на плаву, хотя Елена давно уже призналась себе, что все они живут за счет Павла, несмотря на редкие выплаты за старые переводы, которые иногда сваливались на них, как издательская милостыня, и тощавшие на глазах редакционные халтуры. Мать Димы начала по бросовым ценам распродавать библиотеку, и Павел, по совету тестя, купил себе лучшую часть (Дима сам ее и отобрал), как он говорил, «для обстановки – ну и чтобы парень читал, конечно». Татьяна из декрета возвращаться на работу не стала, а записалась на бухгалтерские курсы и без особого труда их закончила. «Ради этого не стоило учиться в университете», – бормотал Дима, а Таня отвечала, почему-то не ему, а матери: «Кто-то же должен помогать Паше с бумагами, ты что, хочешь, чтобы это делали чужие люди и еще получали за это деньги?»

Спорить с этим было сложно, тем более что означенные деньги постепенно начали материализовываться, и на следующий год родители смотрели за Никитой, пока молодые ездили в Париж, а еще

месяцев через восемь – в Италию. «Кажется, – не упустил здесь заметить Дима, – первоначальное накопление капитала наконец-то состоялось. Хотя классики предупреждали нас о том, что этому процессу нет ни конца ни края». Елена могла бы сказать, что вот о капитале-то, как и о многих других практических сюжетах наступившей жизни, Дима имеет представление самое малое, но, конечно же, и в этот раз промолчала. В любом случае Татьяна попала в Париж на двадцать лет раньше нее, и не на конференцию, одобренную жалкими позднесоветскими суточными, а в полноценный отпуск, с поездками на корабле вдоль Сены, магазинами и ресторанами; она стала частью того мира, который Елена все-таки успела увидеть одним глазком, но только по временному удостоверению, предполагавшему резкое поражение в правах.

Тем неожиданнее стал звонок Павла следующей весной.

– А что, – как обычно, он сразу взял быка за рога, – вы, Елена Ивановна, еще ничего не слышали? И Ивану Порфирьевичу ничего не сказали? – голос Павла чуть не дрожал от непонятого торжества.

Елена осторожно осведомилась – а в чем, собственно, дело? И тут перед ней разверзлись небеса.

– Всем бывшим интербригадовцам, – почти кричал Павел, – дают испанское гражданство. Да, почетное, но можно получить настоящий паспорт – я узнавал. Надо только написать заявление, а потом приехать, отметиться, но это не проблема. Вместе поедем! – отчего-то получалось, что Павел уже все решил, и обсуждать совершенно нечего.

Здесь Елена не вытерпела, и подождав, пока Павел иссякнет, начала путано, ненавидя собственную косноязычность, говорить о том, что решение должен принимать Иван Порфирьевич и что, пусть он даже в очень преклонном возрасте, но к его мнению в любом случае надо отнестись...

– Не беспокойтесь, Елена Ивановна, – уже совершенно хладнокровно ответил Павел. – Деда я беру на себя.

Впрочем, разговаривать с Иваном Порфирьевичем он пошел вместе с Татьяной. В гостиной Дима нервно подкидывал на коленках хохотавшего от удовольствия Никитку. «Как будет, – думала Елена, – так и будет». Но против воли почему-то представляла себе никогда не виденные ею андалузские сады, пляжи и бульвары Барселоны, соборы Толедо, и однажды даже поймала себя на непростительном бормотании школьно-хрестоматийного «Ночной зефир струит эфир...». Через какое-то время дверь открылась.

– Все в порядке, – сказал Павел. – Будем оформляться.

Сразу нашлись записанный в старый ежегодник телефонный номер и визитная карточка, оставленная несколько лет назад галантным испанцем, сам он уже отбыл в следующую дипломатическую командировку, но телефон действовал, а посольство находилось по тому же адресу. Все оказалось правдой: Иван Порфирьевич значился в списке кандидатов в почетные граждане, и Елене Ивановне любезно выдали все необходимые бланки и формы, не забыв упомянуть, что подпись соискателя испанского паспорта должна быть нотариально заверена. Почему-то до этих самых слов Елена в происходящее не верила, даже визит самого нотариуса – деловой женщины среднего возраста с массивным обручальным кольцом на пальце и изящным портфельчиком из кожи самой лучшей выделки (которая быстро и крепко оттиснула свою печать на всех требуемых документах) не произвел на нее такого впечатления. Может быть, дело было в том, что в посольство Елена ходила одна, а общаться с нотариусом ей помогал оплативший заверительные услуги Павел, который тщательно просмотрел бумаги и убрал их в особую, недавно заведенную им для «испанских дел» папку с желтой металлической застежкой.

Паспорт Ивану Порфирьевичу сделали довольно быстро – месяца за три. Павел подвез их с Еленой к посольству, но сам остался ожидать снаружи. Все произошло очень обыденно, по-канцелярски: их пропустили внутрь по российскому паспорту, указали отдельное окошечко, а там, после проверки документов и бесчисленных подписей, которые Иван Порфирьевич старательно и бесстрастно выводил не читая, им выдали сиявшую новизной книжечку с золотистым гербом, украшенным многочисленными коронами, и вожделенной строчкой по самому верху, указывавшей на то, что ее обладатель принадлежит к гражданам Евросоюза. Елена не выдержала и открыла паспорт – на цветной фотографии отец выглядел незнакомцем, без морщин и складок, почти как пожилые европейские туристы, которые в последние годы заплотнили московские улицы. Сам Иван Порфирьевич к драгоценному документу интереса не проявил, только посмотрел искоса на свое новое испанское обличье.

– Ну что, – сказал Павел, внимательно пролистав паспорт до самого конца, – теперь начинаем потихоньку собираться. Для начала сделаем туристические визы, они дают до девяноста дней, а там видно будет. Может, удастся отдать ребенка в школу, зацепиться на годик, получить вид на жительство. Хотя бы язык выучит. В любом случае, запасной аэродром еще никому не мешал.

Через некоторое время Елена с Димой навещали молодых в воскресенье вечером – эту традицию поочередных встреч то на одной, то на другой территории в семье пытались поддерживать, тем паче что в последнее время у всех появился общий предмет для разговора. Иван Порфирьевич, как правило, в этих визитах участия не принимал. Тогда Елена даже попыталась его уговорить, но он категорически отказался, сославшись на футбольный матч, который смотрел, самое частое, раз в год, а потом вдруг сказал что-то странное – Елена и не расслышала толком, а переспросить не решилась. Звучало это примерно так: «В данном случае мое сопровождение вам не требуется».

Так вот, ближе к десерту речь неминуемо зашла об испанской эпопее и ее предстоящих актах. Визы постепенно проставлялись, билеты тоже были куплены, Павел понемногу, как он любил говорить, *решил вопрос* с проживанием. Поэтому Дима воспользовался случаем – по-видимому, его действительно снедало любопытство.

– Кстати, Павел, если это, конечно, не страшный секрет, а каким образом вам удалось убедить Ивана Порфирьевича? – Павел молчал, и Дима счел нужным объясниться: – Скажу честно, у меня были страшные сомнения по поводу успеха вашего предприятия. Более того, признаюсь вам, что уверен: у меня бы ничего не вышло.

Павел почесал за ухом.

– А, это? Я и не понял сразу, извините. Так просто все, я сказал: «Дед, ты что, не хочешь показать нам те места, где ты бил проклятых франкистов?»

– Пиф-паф! – закричал тут Никита, вбежавший в столовую с пластиковым автоматом, чуть больше него самого. – Сдавайтесь, а не то я буду стрелять!

Ехали все вместе, ранней осенью, и сразу на четыре недели. Раньше о таком и подумать было нельзя, а теперь – гуляй не хочу. Дима своим отпуском уже давно распоряжался сам, а у Елены вообще работа была не бей лежачего. Но тут как раз выяснилось, что на нее по старым каналам свалился солидный редакторский заказ. «Ничего страшного, – успокоил Павел, – нам он тоже будет нужен, но только часа на два в день. Так что поделимся», – и принес домой настоящий складной компьютер. Елена знала, что это последнее слово техники, – не то японской, не то американской.

– Загружайте свои тексты, – великодушно сказал Павел, – только не забудьте все продублировать на дискету, а лучше сразу на две, и возьмите одну с собой в ручную кладь, а другую положите в чемодан. Можете записать даже на три, чтобы в разные чемоданы. Береженого, как говорится...

– Мама, – добавила присутствовавшая при этом Татьяна, – ты, пожалуйста, создай себе на нем отдельную директорию и больше никакие папки не открывай.

Оставалось только позаботиться о свекрови – она в последнее время начала недомогать, вставала редко, ей нужна была домработница с проживанием, не сиделка, но что-то похожее. Пока Дима с Еленой судили да рядили, его мать, никому не сказав, запустила процедуру продажи жилья в обмен на выплату ежемесячного пособия, чтобы после ее смерти квартира отошла покупателю. В последний момент случайно узнавший об этом Павел сумел решительно вмешаться и, как он с удовольствием произнес через несколько дней, «все аннулировать».

– Правда, – добавил он тут же, – это потребовало некоторых усилий. Так что давайте, Дмитрий Валентинович, пропишем теперь там Татьяну по-быстрому, давно уже надо было, прямо удивительно, как вы об этом заранее не подумали. А Розе Абдуллаевне я уже заплатил на полгода вперед, она вашей маме будет молоко в постель приносить, – таким образом, и эта проблема оказалась решенной.

Следующий коварный вопрос Дима тоже задал во время семейного обеда.

– Скажите, Павел, а что вы собираетесь делать с вашим бизнесом?

Павел снова был искренне удивлен.

– Как что? Да ничего.

– Так вы ж, похоже, собираетесь там задержаться, – настаивал Дима.

– Кто вам такое сказал? – Павел даже откинулся на спинку стула. – Это они, – он махнул в сторону Татьяны, – а я, как зацепимся, – сразу назад.

– Но все равно, – не отступал Дима, – разве можно бросать дело на столько времени?.. – тут Павел понял и улыбнулся.

– А телефон зачем? – вразумляюще сказал он и помахал вынутой из кармана пиджака пластиковой трубкой. – Будем, что называется, работать дистанционно. Руководящая должность это временно позволяет.

– Ну, ты понимаешь, мама, – сказала потом Татьяна на кухне, – конечно, мы со временем кое-что туда выведем. На всякий случай. Папе об этом можешь не говорить.

Летели все вместе и почему-то через Хельсинки. Пересадка оказалась бесконечной, Никита ныл, постоянно что-то просил, потом ненадолго засыпал. Выйти было нельзя, и пришлось несколько часов

валандаться в небольшом пассажирском зале с двумя кафе, туалетами, газетным киоском и магазином беспопылинной торговли с совершенно запредельными ценами. «Наверно, у финнов случились дешевые билеты», – подумала Елена Ивановна и, скорее всего, была права.

– Ликер из брусники, – бормотал, непонятно к кому обращаясь, Дима, – понимаешь ты, ликер из брусники.

Елена не отвечала. Наконец объявили посадку на мадридский рейс. Полет оказался неожиданно длинным, а они и без того уже очень устали. У Татьяны от отеков обвисло лицо, и Елена Ивановна заподозрила, что дочь снова беременна. «А, так может, поэтому...» – но она даже не стала додумывать эту мысль.

– За это время, – повернулся к ней Дима, – можно было долететь до Нью-Йорка.

Павел тоже изнывал – почти бегал по проходу, пытаясь размяться, а сидя в кресле, то и дело вытягивал руки вверх ладонями и хрустел застывшими суставами. Единственным, кто ни на что не жаловался, был Иван Порфирьевич.

В Мадриде они поселились к югу от центра, но совсем недалеко от него, на изогнутой и плавно уходящей вниз улице, заполненной антикварными магазинами и мясными лавочками. Это было то, что в иноземных романах, а впрочем, и в старой русской классической литературе, называлось – Елена вспомнила это словосочетание – мебелированными комнатами. Никаких планов никто намечать не думал, поначалу хотелось только выспаться и отойти от напряжения, в котором все они, за исключением Никиты, жили последние несколько недель. Тем удивительнее было появление назавтра в их номере журналиста местной газеты, а затем и представителя районной ячейки одной из левых партий. Позже Елена Ивановна поняла, что какой-то работник посольства предупредил своих приятелей об их приезде, и они сразу же явились по своим надобностям: один – изъять почтение, другой – подзаработать. Действительно, судьба Ивана Порфирьевича тянула на небольшую заметку в испанской прессе.

Впрочем, многого журналист от них добиться не смог. По-английски он говорил посредственно, а испанским в их семье никто не владел, хотя и Елена Ивановна, и тем более Дима то и дело вылавливали в задаваемых им вопросах отдельные слова и примерно понимали, о чем идет речь, да если честно, для этого не требовалось особой проницательности. Коммунизм, революция, война, перестройка, экономика и снова революция. Иван Порфирьевич в интервью участвовать отказался. Как-то само собой получилось, что

отдуваться пришлось Елене, хотя сидевший в стороне Дима продолжал оказывать ей усиленную терминологическую поддержку.

Дело затянулось на целый час, журналист попался настырный и, несмотря на все трудности, упорно настаивал на своем, на разные лады повторяя одни и те же вопросы. «Он наверняка из идеологически подкованных, – подумала Елена, – такой же упертый борец за народное счастье, как наши твердокаменные. Сдался ему этот коммунизм. Или просто хочет как можно лучше выполнить редакционное задание?»

Журналист то старался быть терпеливым и заставлял себя преувеличенно артикулировать, то сбивался и начинал выпускать вопросы длинными очередями пулеметчика, не стесненного запасом патронов. «*No pasaran*, – почему-то продолжала думать Елена, – *no pasaran*», – эти слова она помнила с самого детства, с тех времен, когда еще не понимала, что они означают. Постепенно они с Димой разобрали все вопросы прилипчивого корреспондента и кое-как на них ответили. Журналист слушал внимательно до самого конца, черкал в блокноте и не выключал диктофон. «Но ведь они – прошли?» – почти утвердительно сказала Елена сама себе, однако не была в этом полностью уверена.

Еще больше она озадачилась, когда следом за вьедливым репортером (да, его статья об Иване Порфирьевиче, после шестидесяти лет мучительной советской жизни снова ступившем на благословенную испанскую землю, действительно появилась в глубине воскресного номера популярной и, кстати, довольно консервативной газеты) к ним явился местный политический активист средних лет, при этом оказавшийся знатоком истории гражданской войны, и, как вскоре подумала Елена, не только желавший еще раз обсудить и пережевать все ее события, особенно оперативно-командного свойства, но и воспроизвести их, а лучше – переиграть. Этот говорил по-английски гораздо свободнее и к тому же знал десятка два русских слов, которые употреблял, как правило, очень уместно. Услышав это, Иван Порфирьевич вышел к столу и стал внимательно следить за беседой, впрочем, совершенно в ней не участвуя.

Поэтому и активисту, который сразу сказал, что они должны звать его по имени, Франсиско, а о всяких там «сеньорах» и мысли не допускать, они ничем помочь не могли, хотя теперь имели возможность то и дело кивать в сторону виновника торжества, сидевшего рядом в необычно белой рубашке, что придавало, подумала Елена, всему этому абсурду, изложенному на англо-русско-испанской тарабарщине, некоторое подобие связного разговора.

«Как будто мы ему что-то доказываем, так сказать, удостоверяем законность нашего пребывания в его доме». Любитель военной истории, впрочем, отнюдь не обиделся, даже наоборот – пребывал в полном восторге, поминутно и вовсе не с карикатурным оттенком восклицал «Очень рад!» и «Большое спасибо!», а под конец пообещал вернуться утром уже на машине и отвезти Ивана Порфирьевича и тех, кто пожелает его сопроводить, на передний край обороны Мадрида, который, по его словам, находился относительно недалеко. И сдержал слово, хотя автомобиль был малолитражный и места на всех не хватило. Решили ехать четвером, на переднее сиденье поместили Ивана Порфирьевича, а на заднее залезли Елена с Димой, усадив Никиту между собой. Молодые остались дома.

Елена почему-то представляла себе, что там непременно будет монумент на большой площади с круговым движением, с гранитным или, на худой конец, бетонным пьедесталом, усеянным грубо отесанными каменными лицами, состоящими из одних скул, по аналогии с военными памятниками двадцатилетней давности, что украшали подъезды к российским городам, но вместо этого они оказались в новом районе с парками и магазинчиками, достаточно чистом, хотя явно менее зажиточном, чем центр города. Было воскресенье, шумно, многие вышли на прогулку семьями. Активист повел их на край парка. Там стояла небольшая и уже достаточно потрепанная стихиями пирамида, по которой шла поперечная линия, по-видимому, символизировавшая передний рубеж республиканских траншей. Буквы изрядно стерлись, и без очков Елене их было не разобрать даже на солнце. Дима к памятнику интереса не проявил, а просить его или Франсиско прочесть надпись вслух ей почему-то не хотелось. По периметру пирамиды выстроились в каре маленькие красные флажки, а венчали ее самые заправдашние серп и молот. «Кажется, – подумала Елена Ивановна, – лет двадцать назад это предместье было пролетарским».

Почти сразу за пирамидой парк упирался в свежевыкрашенный металлический забор, на котором кучно висели усеянные восклицательными знаками таблички, призывавшие ни в коем случае его не перелезать, – было видно, что сразу за оградой трава переходит в сыпучую глину на самом краю глубокого провала. Вдалеке парил бетонный виадук, шумела автострада.

– Да, – сказал Франсиско, – это не случайно, – и указал сначала на памятник, а потом в сторону обрыва. – Это ведь господствующие позиции, поэтому здесь базировалась республиканская артиллерия. Говорят, их здорово бомбили: когда дорогу строили, нашли кучу осколков и даже один неразорвавшийся снаряд. Скажите, пожалуйста, вашему отцу, что туда нам никак не пройти.

Иван Порфирьевич стоял совсем рядом с оградой, чуть шатаясь, но не держась за ровные колышки, и смотрел на заполненный грузовиками путепровод.

На обратном пути они наткнулись на группу лежавших на траве парней с пустыми глазами, и Елена Ивановна тут же вспомнила слово, которым полагается определять подобных персонажей: «обдолбанные». Активист перехватил ее взгляд, презрительно дернул плечом и сказал: «Наркоманы, – а потом зачем-то добавил, – наверно, их деды искренне сражались за республику».

Тут уже Елена вопросительно посмотрела на него и некоторое время не отводила глаз.

– Возможно, я не очень удачно выразился, – после недолгого раздумья объяснился Франсиско. – Просто хотел сказать, что демократия и свобода имеют обратную сторону. Впрочем, и в прямом смысле слова – у тех, кто воевал за республиканцев, потом очень долго было множество проблем: их дискриминировали, притесняли целые семьи. Так что вполне вероятно, что я не ошибся, – экономически они страдают до сих пор, ведь национальное богатство у нас, как и везде, распределяли победители. У которых, наоборот, налицо проблемы не имущественного, а психологического свойства, и тоже в нескольких поколениях, чему я уже прямой свидетель. Мой-то дед был в фаланге и после войны достаточно преуспел, а я вот полностью изменил политическому кредо своей семьи – сначала из подросткового протеста, а потом уже – как это правильно сказать, чтобы не звучало слишком высокопарно? – из искренних убеждений. И утешаю себя, что мое имя также носили Гойя и Кеведо, не говоря уже об одном симпатичном святом... – Он помолчал. – Лучше всего в нашей стране тем, кто сумел от войны вернуться: им не о чем жалеть и нечего стыдиться.

«Увернуться, – повторила про себя Елена, – вернуться. Разве от нашей войны, да от всей нашей жизни, можно было вернуться? Спрятаться и лежать тихо, надеяться, что тебя никто не выдаст и никто не найдет. Что ты никому не нужен. И так три поколения подряд. Ну да, кто-то, наверно, прятался, даже успешно, особенно когда это стало возможно хотя бы теоретически».

Она почему-то вспомнила последнюю встречу с одним из своих институтских преподавателей, тот умирал и знал, что умирает. Елена, как и многие, пришла к нему попрощаться, это тоже было очевидно, несмотря на лукавые слова о выздоровлении и бодром внешнем виде больного. Неожиданно старый учитель схватил ее за руку и горячо зашептал: «Леночка, да знаете ли вы, как я прожил жизнь!словно таракан, словно забравшийся в самую дальнюю щель

трусливый таракан. Что же, что же сделал я со своей жизнью!» Елена была ошарашена, начала говорить о вкладе в науку, учениках, детях...

– Не спорьте, Леночка, – только промолвил старик, когда она наконец перевела дыхание, – и обещайте, что никогда, никогда не возьмете с меня пример.

Елена кивнула.

«Что же он имел в виду? – отчаянно спрашивала она себя по дороге домой. – Что?» – и не найдя ответа, предпочла забыть тот давний разговор. До сегодняшнего дня.

Обратно ехали долго – были пробки. Франсиско с удовольствием продолжал работать гидом, все время указывая по сторонам, объяснял, называл улицы, площади, даже станции метро. «Внук фалангиста, – думала Елена Ивановна, – внук фалангиста везет по Мадриду дочь энкавэдэшника».

Дима не выдержал в самом конце, после ужина (от которого Франсиско вежливо отказался, сославшись на неотложные дела), когда обсуждение этого длинного дня, парка и памятника уже закончилось и надо было убирать посуду со стола.

– А кто выиграл войну? – спросил молчавший весь день Никита, ему за хорошее поведение обещали мороженое, он его честно заработал и сейчас наконец-то доел. – А кто выиграл, республика или фашисты?

Воцарилось молчание, которое, как подумала Елена, в дурных текстах принято называть неловким.

– Фашисты, сына, – сказал Павел, – но с тех пор уже многое поменялось. Теперь здесь все хорошо.

– Да, – неожиданно подтвердил Иван Порфирьевич и отодвинулся от стола. – Не вышло тогда у нас, к сожалению.

Вот тут-то Диму и снесло.

– И очень хорошо, что не вышло! – закричал он на всю съемную квартиру. – И очень здорово! Слава богу, хоть здесь проиграли! Хоть эту страну не испоганили! Хоть здесь нас не ненавидят, как во всей Восточной Европе! Жалко, у нас в Гражданскую не нашлось своего Франко, – хуже бы точно не было.

С ним никто не спорил, и от этого он только больше заводился, припоминал, причем не глядя на Ивана Порфирьевича, расстрелы инженеров и статистиков, уничтожение офицерского корпуса прямо перед войной, разграбление церквей, голод довоенный и послевоенный, колхозную каторгу, – все, о чем он хорошо знал, но

чего не пережил. И несмотря на то, что в его словах не было ни грама неправды, Дима почему-то продолжал нуждаться в новых и новых аргументах и никак не мог закончить перечисление преступлений власти, которой уже несколько лет не было на свете. Наконец он остановился и в полной тишине налил себе воды. Потом все-таки посмотрел на Ивана Порфирьевича, перевел глаза на Елену.

– Деда, а, деда? – снова спросил Никита, он успел слезть со стула и упорно дергал Диму за рукав. – Деда, а ты, что, был за фашистов?

Когда женщины убирались на кухне, туда зачем-то зашел Дима, толкался, мешал, вылез на микроскопический балкончик, постоял там с минуту и вернулся.

– Ты, пап, – не поворачиваясь, наконец сказала Татьяна, – мог бы и обойтись без своего краткого курса истории ВКП(б). Тем более, дедушка их всех сам, что ли, убил? Время было такое противоречивое, людей кидало во все стороны, кому-то больше повезло, кому-то меньше. Вон дедушка в Испании сражался за революцию и демократию, а потом чего-то напортачил. Ты бы ему лучше спасибо сказал: смотри, сидим здесь всей семьей, вокруг красота такая, аж дух захватывает.

– Ладно, ладно, – сказала Елена, – хороша красотка-бизнесумен, инженер сердец клиентов и главный переговорщик по тарелочкам. Посмотрите-ка, отцу лекции читает, и каким поставленным голосом, прямо копия господина профессора, забыла, чьи у нее гены. Не беспокойся, будет нужно – я ему сама выдам по первое число.

Засыпала Елена Ивановна плохо. Дима тоже все время ворочался, а потом вдруг выпрямился и сел в кровати.

– Да, – сказал он, – ты права, а я, наверно, нет. И даже самый примитивный психоаналитик разобрался бы, в чем тут дело. Получается, от Павла есть толк – он хороший отец, любящий муж, зарабатывает деньги, и, как говорится, решает вопросы. И оказалось, что и от Ивана Порфирьевича тоже есть толк, даже в наступившей эпохе реставрации всего и вся, когда давно уже канули в прошлое продовольственные заказы, которые ему приходили по революционным праздникам. Оказывается, только он, ветеран хорошо известной всему просвещенному человечеству службы, может обеспечить нашей семье пропуск на прекрасный и расчудесный Запад – мы ведь, так вышло, не евреи и не немцы, не программисты или молекулярные биологи. Приходится полагаться на Ивана Порфирьевича, на его, так сказать, заслуги перед миром свободы и демократии. Которых у меня, как выяснилось, никоим образом не имеется, как и способностей к зарабатыванию денег и решению вопросов. Иными словами, Павел Петрович и Иван

Порфирьевич годны к применению и востребованы как в ушедшем мире, так и в нынешнем, а я, видимо, нет. Отчего у меня, наверно, и разыграл запоздавший комплекс неполноценности, который я проявил не самым лучшим образом. Хотя комплексы на то и комплексы, чтобы выныривать на поверхность в не особо привлекательном виде.

– Не возводи на себя напраслину, – ответила Елена и с облегчением обняла мужа. – Ты тоже прекрасный муж и хороший отец. Где бы Татьяна без тебя была? Осталась бы в дурочках, как некоторые ее одноклассницы. Никакого Павла ей и не светило бы, и Никиты, между прочим, тоже. К тому же ты хороший ученый, а ученые во все века не славились способностью к зарабатыванию денег, это им психологически противопоказано.

Но думала Елена о другом, и уже не первый час.

«Конечно, – повторяла она себе раз за разом, – Дима сам этих ужасов не испытал, но ведь те, на чью долю они выпали, по большей части погибли. Их всех закопали во множество ям, траншей, рвов, даже котлованов, и может быть, папа в этом тоже участвовал. Они уже ничего никогда не расскажут. Значит, кто-то должен об этом помнить и говорить за них, потому что помнить и молчать – бессмысленно. Поэтому говорить надо, не объясняя причин, хотя бы из уважения к мертвым, к их мучениям. И да, такие воспоминания всегда будут не к месту».

Назавтра все проснулись очень поздно, даже никуда накануне не ездившие молодые. И почти сразу обнаружили, что Никита с Иваном Порфирьевичем куда-то исчезли. Естественно, первым обо всем догадался Павел, которому для этого даже не потребовалось ополоснуть немного опухшее лицо.

– Елена Ивановна, вы то место, где вчера были, найти сможете?

Удивительно, насколько быстро у них в голове всплыли все площади, станции метро и другие названия, которыми их зачем-то кормил давешний активист. Но добирались они путано и долго, Никита же потом утверждал, что он-то с маминым дедушкой ехал только на двух автобусах и что у них никто не спрашивал билетов. «Еще бы, – подумала Елена Ивановна, – это ведь цивилизованная страна, кто здесь потребует за проезд у восьмидесятипятилетнего старика с мальшом-первоклассником?»

Никита показал также, где именно он пролез под изгородью, – там действительно было углубление, достаточно широкое для ребенка. Но как за забором оказался Иван Порфирьевич? Наверно, где-то колья стояли чуть шире, чем надобно, или он просто обошел их по незащищенному краю обрыва? Впрочем, об этом они думали

всего несколько мгновений, когда с облегчением увидели, что строгий и прямой Иван Порфирьевич стоит над глинистой бездной и смотрит куда-то поверх виадука, а Никита держит его за руку.

Потом Павел перемахнул через забор, убедился, что никакой ужасной пропасти внизу нет, помог перелезть Татьяне, тут же схватившей Никиту в охапку, каким-то образом выпихнул сына вместе с ней обратно через тот самый лаз, а потом несколько минут отгибал крайний колышек, чтобы провести Ивана Порфирьевича обратно в парк, к людям.

Иван Порфирьевич не сопротивлялся, но оказавшись по другую сторону ограды, вдруг ловко вывернулся и показал рукой куда-то вниз.

– Рота Збигнева стояла в той стороне, – сказал он трескучим голосом, – Фридрих был на другом фланге, а еще дальше – Джеймс. Мы были по центру, вместе с испанцами. Нашим командных должностей не полагалось, даже самых малых, – он помолчал, не глядя на ошеломленных родных, и добавил: – А бомбили нас действительно знатно. И артиллерией знатно накрывали. Но позиция здесь хорошая, потому мы сначала отлежались по своим норам, а потом дождались голубчиков и в несколько пулеметов всю поляну зачистили. Повезло, конечно, – как раз дня за два притаранили оружейный обоз, а там чехословацкие брены – кажись, штук десять. Они-то нас и спасли, когда пехота пошла.

Иван Порфирьевич подошел к забору и все искал что-то взглядом, а потом, не поворачиваясь, сделал два шага назад, стал по стойке «смирно» и тоненьким дребезжащим голосом запел: «Бандьера росса ла трионфера! Бандьера росса ла трионфера!»

«Значит, они ее пели по-итальянски, – почему-то подумала Елена. – Ну, конечно, это же интербригада. Американские пели на английском, немецкие – на немецком, русские – на русском... – краем глаза она заметила, что Никита подошел и стал рядом с прадедом, а потом почему-то приложил руку к козырьку бейсболки. – Но с той стороны, – беспощадно досказала себе Елена, – тоже были немцы и итальянцы. И какие-то русские тоже дрались за тех, например, из бывших белых – сражались, значит, с красной угрозой и с жидо-большевистским заговором. Интересно, в скольких эмигрантских домах пили шампанское, когда победил Франко?»

– Эввива комунизмо э ла либерта! – Иван Порфирьевич замолчал, а потом растерянно огляделся по сторонам.

Елена отчего-то быстро и надрывно выдохнула и тут же вдохнула – в глазах на мгновение потемнело, но тут же расчистилось. Солнце стояло высоко, надо было поскорее ехать домой. «Коммунизм и

свобода, – мучительно вертелось в голове у Елены Ивановны. – Коммунизм и свобода!»

Никита по-прежнему держал руку у козырька бейсболки и старался смотреть прямо перед собой. И не плакал, совсем не плакал.

– Так, – деловито сказал Павел, – вы с Иваном Порфирьевичем и Таня поедете в такси. Ну и Никита, если влезет. А мы с Дмитрием Валентиновичем доберемся своим ходом, – он обернулся в сторону Димы. – Пошли, – и сразу же добавил: – Ну дал дед прикурить, нечего сказать. Теперь за ним присматривать нужно.

«Да, – подумала Елена, – теперь он будет умирать. Долго ли, коротко – не имеет значения, ему теперь ничего не важно и не нужно, он ведь увидел Испанию и вспомнил своих товарищей».

– Дедушка, пойдем, – Татьяна обняла Ивана Порфирьевича, – уже жарко, пора домой.

Старик, казалось, ничего не понимал.

– Пойдемте, пойдемте, Иван Порфирьевич, – Дима подбежал с другой стороны и с непонятной резвостью подхватил тестя, – пойдемте, пойдемте.

Они с Татьяной вразнобой двинулись с места, и старику пришлось сделать один шаг, затем другой...

– Вот так, – приговаривал Дима, – вот так.

Через несколько секунд у ограды было пусто. Только редкие воскресные машины нарушали тишину долины. Небо висело над Испанией. Высокое, как всегда во второй половине сентября, и наполненное гулким и пронзительным солнечным светом. Безоблачное.

Интересно, что они никогда – ни сразу, ни по прошествии долгого времени – не обсуждали случившееся в тот день. Поэтому никто так и не спросил Никиту, о чем он думал, когда стоял вместе с прадедом ранним мадридским утром и смотрел на разлетевшееся во все стороны пронзительно-яркое небо, которое одновременно поглощало и оттеняло россыпь далеких домов, петли автострады и сверкавшую внизу узкую речку. Что видели там они – какую высь, какую даль?

Когда спустя какие-то мгновения все это исчезло из вида, Никита дал себе клятву, страшную и громоподобную, такую, какую обычно дают хлюпающие носом семилетние мальчишки и о которой, случается, помнят юноши и взрослые мужи. И еще долго-долго никто из его семьи не знал, какую именно.



Зиновий Кане – инженер-кораблестроитель, кандидат технических наук в области сверхкрупнотоннажных танкеров для перевозки сырой нефти. В Штатах – с марта 1979 года. Работал в Танкерном департаменте компании *Exxon International* во *Florham Park, NJ*, в Техническом отделе по проектированию, строительству и обслуживанию сверхкрупнотоннажных танкеров, а с 1990 года – в группе управления международным танкерным флотом. Преподает в *Fairleigh Dickinson University, NJ*. Не по паспорту – Женя.

Язык мой – враг мой

Мы в Америке. Здесь все говорят по-английски!

В голове стучало: «Несерьезный вы, Кане, человек!» Это доцент Михаил Константинович Глозман. обращался ко мне: опять мы трепались на лекции, сидя за первым столом, и я, как всегда, загоготал громче моих друзей. Вообще-то, Михаил Константинович относился ко мне дружелюбно и считал, что из меня выйдет хороший технолог. Похоже, в мои студенческие годы он все же смотрел далеко вперед. Да, прошло более пятнадцати лет после окончания Ленинградской Корабелки, и вот теперь, утром в среду 23 мая 1979 года, я стоял на перроне станции «Атлантик» (метро и железная дорога) в Бруклине, тупо глядя на расписание поездов. Что-то произошло со мной: я потерял ощущение времени. Я смотрел на свои часы, на часы на стене, они показывали одинаковое время, но я не верил своим глазам. И я все думал, как же такое могло со мной случиться! А в голове стучало давно слышанное мною: «Несерьезный вы, Кане, человек!»

* * *

В Нью-Йорке мы были уже два с половиной месяца. Мы – это моя жена Ада, дочь Яна и я. Яне исполнилось в Италии 16 лет. Мы прилетели 6 марта, и нас поселили в Манхэттене, в гостинице «Грей Стоун» на Вест 91-й стрит, в одном блоке от Центрального парка

Мы проделали обычный для эмигрантов того времени путь: Вена – Италия – Америка. В Италии мы тратили все свободное время на английский, которого совсем не знали: у меня и Ады иностранным языком в школе, институте и аспирантуре был немецкий.

В Вене и Риме нами занималась еврейская организация ХИАС (*HIAS – Hebrew Immigration Aid Society*). В римском отделении ХИАСа существовала группа переводчиков, которая занималась, кроме всего прочего, составлением первых набросков наших резюме.

Группой переводчиков руководила Хелена Берг. Наш друг Юра П. прилично знал английский и работал в этой группе. Он попросил Хелену лично посмотреть мою документацию и поговорить со мной. Я пришел в ХИАС к концу дня, и Юра привел меня в комнату переводчиков. Никого уже не было. Через несколько минут уверенной походкой вошла молодая привлекательная женщина, со вкусом одетая, четкая и собранная. Она принесла тонкую папочку, открыла ее и быстро просмотрела несколько листков. Очевидно, это были странички из моего личного дела с описанием моей работы и первые прикидки резюме. Она смотрела на меня с явным интересом: по бумагам я выглядел претендентом на будущий эмигрантский успех. Она задала мне несколько общих вопросов: о семье, о том, где мы сняли квартиру, нравится ли нам Италия, и т.д. Отвечал я медленно, с трудом подбирая слова, и все время путал *he* и *she*. Постепенно лицо ее становилось все более серьезным и скованным. Она снова открыла папку, еще раз просмотрела лежавшие в ней странички и задумалась.

Она говорила медленно, выбирая слова, но совсем не из-за незнания языка, а потому, что пыталась донести до меня реальность моего будущего трудоустройства. Основным препятствием для таких профессионалов, как я, был большой разрыв между квалификацией и знанием английского. Она полагала, что мне понадобится не менее полутора лет, чтобы мой английский достиг уровня, необходимого для поиска профессиональной работы.

Ее совет был прямым и жестким: забыть о профессиональных работах, не тратить понапрасну энергию и искать что-то попроще. Еще она объяснила, что в Нью-Йорке, куда мы направлялись, нами будет заниматься НАЯНА (*NYANA – The New York Association for New Americans*). Эта организация не является агентством по профессиональному трудоустройству, и ее возможности в этом плане весьма ограничены. Нам дадут три месяца на поиск квартиры и работы, после чего помощь будет прекращена, и мы должны будем принять любую предложенную нам работу. Хелена Берг пожелала мне успехов, и я смог выдавить из себя благодарность за ее время и советы. Картина вырисовывалась весьма неутешительная, и эта беседа произвела на меня совершенно удручающее впечатление.

Действительно, по прибытии в Нью-Йорк нас направили в НАЯНУ, которая должна была заниматься всеми нашими делами: бытом и устройством на работу. Соответственно, к нам прикрепили двух ведущих: мисс Вишневски – по быту и мисс Нобел – по всем другим вопросам. Обе казались нам представителями какого-то большого государственного аппарата, хотя в действительности НАЯНА была общественной, неправительственной организацией.

Да, еще нам надо было привыкнуть к новому произношению нашей фамилии: Кейн. В Италии наша фамилия произносилась *Каане*, так же как слово *соне*, что означало – собака; так же кричали из зала плохим певцам.

Несколько заторможенная мисс Вишневски, маленькая, но ладно скроенная девица (ей было, наверное, года 22–23), занудливым, гнусавым голосом начинала свои разъяснения длинным словом НАЯ-А-А-НА и заканчивала чем-то, чего НАЯНА не разрешала. Однако все необходимое она делала аккуратно: квартира была оформлена довольно быстро, хотя на 20 долларов дороже разрешенного лимита – 190 долларов. Мы были поставлены на все социальные программы; несколько раз нам надо было посетить врачей и т.д.

Мисс Нобел, ей было лет 60–65, говорила низким прокуренным голосом. Ее письменный стол и все кругом было завалено бумагами, в которых она прекрасно ориентировалась. Выглядела она весьма аристократично. Она проявила к нам большой интерес, расспрашивала нас обо всем: о наших семьях, об образовании, работе, друзьях; много беседовала с Яной, закончившей восемь классов английской школы. Она уже знала, что мы оба – кандидаты наук (эквивалент *Ph.D.*) в неизвестной ей области – кораблестроении, и сразу энергично занялась нашими резюме, которые готова была корректировать бесконечно.

В одну из встреч мы рассказали мисс Нобел о моем разговоре с Хеленой Берг в Риме. Она всполошилась и с чувством произнесла небольшой спич о безграничных возможностях в Америке, добавив, что мы должны неустанно, день и ночь, заниматься языком. Глядя нам прямо в глаза, она заявила, что ни при каких обстоятельствах не допустит, чтобы мы с Адой устроились на непрофессиональные работы. Обратившись к Аде, она подняла глаза, как будто читая из поднебесья, и произнесла многозначительно, как нечто священное: «Вас я вижу только в эбаско...» Мы уже были знакомы с очень острым соусом *tabasco*, а что такое «эбаско», мы не решились спросить. Через пару месяцев мы узнали, что ЭБАСКО – это огромная инженерная корпорация, занимавшаяся энергетическими проектами, включая постройку, модернизацию и эксплуатацию ядерных электростанций. Мисс Нобел как в воду глядела – Ада нашла работу именно в этой компании.

Как только мы переехали в снятую квартиру (2 апреля), мы с Адой были оформлены в одну из лучших школ английского языка для эмигрантов – БЕРЛИПЦ, на 42-й стрит. На семью полагалось не больше трех шестинедельных курсов, но по окончании первого

курса мисс Нобел тут же записала нас обоих на следующий. А относительно Яны у нее вообще не было сомнений: никакие занятия языком ей не нужны, она сразу пойдет в обычную школу.

Довольно скоро мы узнали, что существует некая организации помощи иммигрантам с высокой квалификацией. Кандидаты и доктора наук из Союза попадали под эту категорию. Организация называлась АСЕП (*АСЕП – American Consulate for Emigres in Profession*) и относилась к ЮНЕСКО. Там помогали составлять резюме и налаживать изначальные контакты с компаниями, делая первичные звонки, которые представляли для нас наибольшую трудность. Из-за плохого английского первые произнесенные нами фразы отрубали нам сразу все. Кроме того, там были организованы курсы языка – мы собирались группами и говорили по-английски в присутствии волонтеров.

Нашей ведущей в АСЕП была миссис Патрик, очень серьезная и деловая женщина. Она занялась нашими резюме и сопроводительными письмами, делая это более профессионально, чем НАЯНА. Нам было ужасно неудобно, но мы решили не говорить мисс Нобел, что готовим резюме также в АСЕП. Нам казалось, что мы можем обидеть ее, как бы недооценивая ее искренние усилия.

Языком мы занимались бесконечно и в школе, и в АСЕП, в метро и дома. Кроме того, нам был необходим профессиональный язык, прежде всего терминология, и мы проводили массу времени в Публичной и Инженерной библиотеках. В библиотеке нам объяснили, что информацию о компаниях нужно искать в специальных справочниках. К середине мая мы подготовили резюме, сопроводительные письма и списки компаний.

Среди эмигрантов той поры расхожей была строчка из письма: «Мы знали, что здесь все говорят на английском, но не до такой же степени!» Мы были полностью согласны с автором этого письма. Еще когда мы жили в гостинице «Грей Стоун», Ада связалась со своими американскими родственниками. Они забрали нас на несколько дней к себе в Лонг Айленд. Когда мы вернулись, наши щеки были онемевшими: говорили там мы мало, в основном улыбались. Поразила нас их кошка: она понимала множество команд! Ада впала в уныние – мы были хуже этой кошки-американки!

Первый выход в свет

Еще в Ленинграде, задолго до принятия решения об эмиграции, работая с иностранной литературой, я знал о существовании в США корабельного института Вебб (*Webb Institute*). Из этого института шел поток научных работ, сопоставимый по качеству и разнообразию с

работами Ленинградской Корабелки. В этих работах был указан адрес Вебб, в котором значился *LI*. Уже здесь я узнал, что *LI* – это *Long Island*, то есть совсем недалеко от нас. К своему удивлению, я обнаружил, что это микроскопический, частный, очень престижный и единственный в стране корабельный институт. Он насчитывал всего 80 студентов, обучение в нем было бесплатным – студенты платили только за жилье, питание и книги.

Я решил для себя – и миссис Патрик согласилась со мной, – что неплохо было бы проконсультироваться в Вебб-институте, показать мои резюме и списки компаний. Это должна была быть консультация, а не рабочее интервью. Мы назначили день встречи – среда, 16 мая. Утром я пришел к Патрик с телефоном института, она закрыла дверь своего офиса, разложила два моих резюме и набрала номер телефона. Телефон у нее был старый – с диском.

Кто-то снял трубку. Патрик бодро представилась: ЮНЕСКО – АСЕП-советник. Доктор Кейн, корабел из Советского Союза, очень хороший специалист, хотел бы проконсультироваться по вопросам трудоустройства в Штатах. АСЕП работает с ним около двух месяцев и просит Вебб-институт оказать ему помощь. Ответ был почти мгновенным. Патрик записала номер телефона и положила трубку. Она выглядела очень довольной. Говорила она с профессором Хадлером, директором лаборатории, он был занят, но дал ей свой *домашний* телефон и просил меня позвонить ему вечером. С одной стороны, прекрасно! – он не прекратил разговор каким-нибудь неопределенным полуотказом, а с другой стороны, – я должен был вести какие-то переговоры сам, на *своем* английском.

Вечером я подготовился к разговору с профессором Хадлером. Мы уже знали, как трудно нам говорить по телефону. Особенно непонятными были *directions* и *spelling*. В то время в магазинах электроники появилось чудесное маленькое устройство: телефон-пикап. Это была присоска с микрофоном, прикреплявшаяся к телефонной трубке и присоединявшаяся к магнитофону. Мы записывали телефонный разговор, не переспрашивая, а потом наша дочка прослушивала его и писала на бумаге. Просто и элегантно.

Разговор с профессором Хадлером был весьма коротким. Он предложил мне приехать в Вебб-институт через неделю, 23 мая. Он сказал, что от станции метро «Атлантик» я должен доехать до станции «Джамайка» и там пересест в поезд железной дороги до станции Глен Ков. Все должно занять около двух часов, и он предложил встретиться около 9 часов утра. Самым необычным в его инструкции был конечный этап: на станции Глен Ков я должен позвонить из уличного телефона, нажать 0 (оператор) и попросить

прислать такси до Вебб. Мы прослушали эту часть записи несколько раз – инструкция была четкой и ясной: телефонный оператор должен был прислать мне такси! С какой стати телефонный оператор должен заниматься моим такси?! Непонятно! Да, еще я должен был позвонить профессору Хадлеру, и он пошлет ко мне кого-нибудь, чтобы провести меня от ворот института.

В субботу я проделал «тренировочный» путь от дома до Глен Ков. Он занял 1 час 45 минут. В Глен Ков у станции стояло пять телефонных будок. Я набрал 0, извинился перед оператором и спросил, можно ли заказать такси до Вебб. Ответ был коротким: «Конечно, сэр». Все правильно. Взял расписание и справился о билете. Билет с обратным проездом можно было купить накануне.

В среду в 6:20 я был полностью готов. Брифкейс – у двери с вечера: два резюме, два списка компаний, автореферат диссертации и три книги: первый том «Справочника по строительной механике корабля», «Справочник по теории корабля» и одна из последних монографий по общей прочности корабля (Я.И.Короткина), а также англо-русский/русско-английский словарик Романова и газетная страничка со статьей, которую я начал переводить. Газет мы еще не читали, мы их переводили. Для чего мне могут понадобиться профессиональные книги, я не имел точного представления, но все-таки взял. Как всегда, присели вместе с Адой: раз-два-три-четыре-пять. Счастливо-счастливо-счастливо! Ни пуха ни пера! Обнял Аду. Пошли! Утро было прекрасным. Да! «Нас утро встречает прохладой» – вспомнились забытые слова. Здорово!

7:10, я на «Атлантик», переход на железнодорожную станцию. Проверяю – все в порядке, поезд отходит в 7:41. У меня в запасе 30 минут, все учтено и проверено! Привычной платформы на станции нет. Железнодорожный путь полностью скрыт за стеной с многочисленными пневматическими дверями. Поезд останавливается очень точно, двери станции и поезда идеально совмещаются, открываясь и закрываясь с громким, шипящим пуфф-пыщц. Напротив дверей стоит ряд удобных скамеек со спинками. Времени терять нельзя: язык, язык, язык! Достая словарик, статью и карандаш. Продолжаю чтение и перевод статьи.

Чтение-перевод движется не быстро. Аккуратно вписываю незнакомые слова. Язык для профессионала – первое дело! Прочел несколько параграфов. Наконец, чувствую – пора! Встаю напротив дверей. Проходит пара минут – поезда нет. Подхожу к двери, прислушиваюсь – тихо. А почему вокруг никого нет? Смотрю на часы – 7:45. Все в порядке! Просто поезд на несколько минут опаздывает. За дверями ничего не слышно. Подхожу к табло, оно

показывает следующий поезд – 8:35. Подхожу к кассе. Спрашиваю, что случилось с поездом 7:41. Кассирша отвечает – ушел.

– Как – ушел?

– Сэр, вы это серьезно?

– ???

Часы показывают 7:46. Какие-то неоформленные мысли как раскаленные пузыри в недрах земли медленно перемещаются в моем сразу воспалившемся мозгу: читая (нет – *переводя!* – иностранный язык, действительно с глубоким погружением) эту захудалую заметку, я пропустил поезд!

Поезд ушел! Бай, доктор Кейн! «Несерьезный вы, Кане, человек!»

Когда нас впервые инструктировали в Риме о поисках работы в Штатах, одним из самых важных условий называли точность во времени. Если вам назначили встречу в 10:00, вы должны явиться не в 9:55 и не в 10:05. Вы должны явиться в 10:00!

Ха-ха! Язык с полным погружением! Этот лопух – погрузился! Да он просто свалился в омут! Забылся! Забыл, что притащился в великую страну не учить язык, не читать дурацкие газетные заметочки, а пробиваться, идти вперед. Да! Доктор *Каане* пробивается к американским вершинам со словариком Романова, мороча голову таким действительно серьезным людям, как мисс Нобел и миссис Патрик. И профессор Хадлер!

Да, кстати. Профессор Хадлер. Очевидно, надо позвонить ему. Плетусь к телефону. Отвечает секретарша:

– Профессор Хадлер говорит по телефону, хотите оставить сообщение?

– Это Кейн. У меня затруднения на станции. Следующий поезд в 8:35.

– Не волнуйтесь, мистер Кейн. Профессор Хадлер заканчивает свои дела. Он ждет вас. ОК?

Вешаю трубку. Время 8:10. Возвращаюсь к платформе. Нервно хожу взад-вперед. Голова гудит. Сердце тяжелым молотом грохает в груди... Присаживаюсь. Закрываю глаза. Надо успокоиться. Дышу глубоко. Считаю. Спокойно – раз. Спокойно – два. Спокойно – три... Спокойно – 21... Спокойно – 35...

Открываю глаза. Успокоился. Надо готовиться к поезду. А во сколько поезд? Да, в 8:35. А сколько сейчас? 8:45!

Подхожу к кассе и хочу спросить о поезде 8:35, но кассирша бросает на меня какой-то изумленный взгляд.

На часах 8:45. Смотрю на табло. Следующий поезд – 9:25!

Чувствую – схожу с ума. Подхожу к дверям – 8:46. Тихо. На станции – никого. Присаживаюсь и открываю брифкейс. Проверяю расписание. Вот – 8:35. Следующий – 9:25.

Подхожу к табло. Следующий поезд – 9:25!

Смотрю на часы – 8:47. Я же присел и начал свой счет в 8:10, потом взглянул на часы в 8:45. А поезд ушел в 8:35.

Голова раскололась. Опять в ней зазвенело: «Несерьезный вы, Кане, человек!» Михаил Константинович стоял у расписания рядом со мной и повторял, казалось, давно забытые слова.

Вспоминаю: «Спокойно – 35». А дальше что? Я заснул на «Спокойно – 35» и проспал поезд! Я сидел прямой как штык и дрыхнул. На виду у кассирши, у которой справлялся о поезде 8:35. Неудивительно, что она посмотрела на меня как на идиота – да, идиота, который пришел на станцию рано утром, чтобы дрыхнуть, а потом спрашивать об ушедшем поезде!

Мозг пронзило: я сошел с ума и потерял связь с окружающим миром! Я не слышал, что в час пик на перроне собралось множество людей! Я не услышал громкое, шипящее пuffed-пыщц! Я не слышал, как мимо меня проходили люди – в вагон и из вагона! В час пик!

Голова гудела, гудела, гудела... Беспорядочные мысли крутились, как петля Мебиуса: «Притащил в Штаты и завалил всю семью! К чему ты пригоден здесь? Перебирать залежавшиеся и подгнившие фрукты-овощи в *Big Banana*, а по ночам убирать мусор в метро? Грузчик в мебельном магазине? А в каком состоянии мышечный аппарат у инженера, переквалифицировавшегося в научного работника, прошедшего 14 лет за чертежным и письменным столом? Олух, не тетрадочки со словами надо было таскать везде с собой, а гири в сеточке, мышцы накачивать! Как тут по-американски говорят – *loser!* А Ада? Она – серьезный человек. Она найдет свой путь в эбаско-табаско! Найдет! А на кой черт ей нужен тип, дрыхнувший на станциях метро?

Loser! Loser! Loser!

Стоп! Хватит ныть! А что мне – гордиться этим?!

Иди! Куда? Иди и звони Хадлеру. Если ты ему не позвонишь, то точно его не увидишь. Никогда! Иди!»

Смотрю на часы: 8:49! Казалось, я проснулся вечность назад, а выяснилось, что прошло всего четыре минуты! Иду к телефону, набираю номер. Слышу:

– Профессор Хадлер у телефона.

– Прошу прощения, профессор Хадлер, но мне не удалось попасть на поезд 8:35.

– Мистер Кейн, очень хорошо (про себя думаю – он сейчас скажет: и не приезжайте), я все еще занят. Когда следующий поезд?

– В 9:25.

– Чудесно! Вы будете здесь около 10:45, к этому времени я закончу все свои дела. Не забудьте позвонить мне со станции перед тем, как сядете в такси. Удачи вам.

Ничего себе?! Профессор Хадлер еще не понял, с кем имеет дело.

Проверяю табло. Поезд в 9:25. У меня есть 35 минут. Иду в туалет. Снимаю пиджак, галстук, расстегиваю рубашку, моюсь холодной водой.

Возвращаюсь. Сажусь и закрываю глаза. Встаю, прислоняюсь к металлическому косяку двери, и жду поезда, не сходя с места. Доверия к *идиоту* нет никакого.

Подходит поезд. С громким, ясно слышимым пuffs-пыщц открываются двери. Вхожу. С тем же пuffs-пыщц двери закрываются. Поезд практически пустой. Сажусь. Встаю и иду к дверям. Стою всю дорогу. На остановках входят-выходят один-два человека. Пересадка. Сажусь. Опять встаю и опять стою у дверей. Никакого доверия к себе. Доезжаю до Глен Ков без проблем.

Выхожу. 10:30. Иду к телефону, звоню оператору. Такси ОК! Звоню Хадлеру. «Прекрасно, студент будет ждать вас у ворот». Вешаю трубку. К станции подъезжает такси. Невероятно! Несколько минут – и я у простого въезда с двумя кирпичными тумбами, с табличками на каждой: ВЕББ-ИНСТИТУТ.

10:40. Студент на месте. Здравуемся за руку. Несколько минут ходьбы по ухоженным, выложенным кирпичом дорожкам, среди аккуратных лужаек. Два оленя. Везде на лужайках усердно жующие кролики. Шмыгают бурундуки. Торопливо, перекачивая волны подкожного жира, ныряют в норы суслики. Нервно дергая хвостами, прыгают белки. Я никогда не видел такой бурной жизни вне зоосада. В барочных вазонах яркие цветы. За кустами океан, отражающий ярко-синее майское небо. Проходим строгий кирпичный особняк. Какой-то райский уголок! Подходим к скромному строению, больше похожему на обычный жилой дом. Студент открывает дверь. Прохожу по небольшому коридору и оказываюсь перед милой секретаршей. Телефон и пишущая машинка – вот и все. Кэтрин подает мне руку. Красотка!

– Мистер Кейн! Наконец-то! Тяжелое путешествие? Профессор

Хадлер только закончил свои дела. Пройдемте.

В голове пронеслось: я должен был приехать к девяти; мое безумие, продолжавшееся вечность, заняло всего полтора часа.

Заворачиваем за угол, Кэтрин стучит в дверь. Заходим. За столом сидит сухой, лысоватый, подтянутый человек, одет просто – в бобочке, но зато с бабочкой. Встает, протягивает руку:

– Профессор Хадлер.

– Мистер Кейн.

– Непростая у вас поездка. Представляю. Наши железные дороги ужасны.

Я неопределенно поддакиваю.

Начинается разговор.

– Так вы из России? Когда же вы прибыли в Штаты?

Хадлера интересует все: школа, институт, институтская программа, где я работал, и т.д. На все это я вполне дельно отвечаю. Про себя отмечаю – да это же нас в языковой школе заставляли делать, и мисс Нобел выспрашивала нас бесконечно, и в АСЕП мы это друг другу рассказывали. Оказывается, это все не пропало зря.

Профессор Хадлер спрашивает про Корабелку. Восхищается: «Девять тысяч студентов! Да, это большое учебное заведение для кораблестроения. В нашем институте меньше 80 студентов. А знаете ли вы профессора Постнова? Он был у нас в начале прошлого года».

– О, как же, он был руководителем моего диплома, тогда еще доцент. Он стал моим руководителем после нескольких лет пребывания за границей. В 1975 году, во время защиты моей диссертации, он задавал мне много вопросов, а потом выступил первым и призвал ученый совет проголосовать за присвоение мне кандидатской степени. В это время он уже стал ученым секретарем Корабелки, заведовал кафедрой строительной механики – моей выпускной кафедрой – и лабораторией при ней.

– А знаете ли вы Александрова?

Мишка Александров (так его называли, хотя он был лет на 10 старше меня), стройный, плотный, мастер спорта по академической гребле, как-то незаметно защитил кандидатскую, был направлен в Штаты на очень длинную стажировку, получил доцента и тут же стал ректором Одесского института инженеров морского флота. Это был невероятный взлет карьеры! Все это я выложил Хадлеру, он одобрительно кивал головой.

Профессор встал, снял с полки книжку и с гордостью протянул ее мне. Это была монография Короткина. Я открыл свой брифкейс и

передал Хадлеру точно такую же книжку (которую я взял, не зная зачем). Он рассмеялся. А в дополнение я протянул ему первый том «Справочника по строительной механике корабля». Одним из его авторов был Короткин, он читал нам пару курсов.

Каким-то удивительным образом, по чисто профессиональным каналам, мы находили совершенно реальные точки контакта. Незаметно прошло более двух часов. В час дня Хадлер встал: «О, время ланча!» Ага! Этому нас учили в НАЯНЕ – если вас пригласили на ланч, это не значит, что за вас будут платить. Вы всегда должны иметь при себе достаточно денег, чтобы расплатиться, если потребуется. У меня было с собой 50 долларов – почти все, что у нас оставалось от привезенных в Штаты пятисот долларов.

Прошли по территории, вошли в главное здание. Миновали красивый холл с огромным камином, обрамленным массивной резьбой из темного дерева, уставленный огромными кожаными диванами и креслами из такого же дерева. Пришли в небольшую комнату. Там уже сидели двое мужчин. Хадлер поздоровался с ними и представил меня: доктор Кейн, недавно прибыл в США из России, из Ленинграда. Двое оживились и стали расспрашивать меня. Обычные вопросы, я это уже только что рассказал Хадлеру. Хотя они и наклонялись ко мне (видно было, что им трудно понимать меня), но по разговору было ясно, что они меня все-таки понимали. Удивительно! Я говорю с американцами, но не в НАЯНЕ и не в АСЕП, а в американском институте!

Когда после ланча я попытался заплатить за него, оказалось, что для преподавателей Вебб он бесплатный. Хадлер как декан (значит, он не только заведует лабораторией, он еще и декан!) имел право приглашать на ланч посетителей.

Вернулись в офис. У меня в голове сверлит – надо показать мои резюме, надо обсудить списки компаний, – но Хадлер опять берет инициативу в свои руки:

– Я хотел бы показать вам некоторые материалы.

Приносит со своего стола небольшую пачку чертежей. Я удивляюсь про себя. Очевидно, эти чертежи по какой-то причине уже были приготовлены для меня. Но рассуждать некогда. Разворачиваем чертежи. Это меня интересует неимоверно. Прежде всего, это были синьки, точно такие же, к которым я привык. Большие чертежи даже сложены были так же. В углу – такой же штамп, с номером проекта, масштабом, подписями. Масштаб не привычный десятичный, а один фут к одной четверти дюйма. Замечаю это, и Хадлер соглашается, что десятичные масштабы, конечно, удобнее, но Штаты далеко отстают от остального мира.

Чертежи – сразу видно, буксира-толкателя, – и мы начинаем некое обсуждение пропульсивных характеристик буксиров – эффективности гребного винта и рулевой установки. Я не специалист по буксирам. Говорю это Хадлеру. Он отвечает, что он – тоже. Я говорю, что, может быть, у меня есть кое-какая информация. Открываю свой брифкейс и достаю «Справочник по теории корабля», который я тоже взял неизвестно для чего. Просматриваю оглавление и, не листая, открываю страницу – невероятно! – сразу нужный график, о котором я не имел ни малейшего представления. Мистика какая-то! Показываю его Хадлеру. Он берет книгу, бегло просматривает. Видно, что очень доволен... Все это продолжается почти три часа. Профессор складывает чертежи. Опять начинает расспрашивать меня о моей семье. Говорю, что моя жена тоже корабель инженер-механик, *Ph. D.* в сопроамате. Он поражен!

Разговор явно идет к концу. Хадлер на минуту задумывается:

– Доктор Кейн, очень рад был познакомиться с вами. Мне надо уладить некоторые дела, и, весьма возможно, мне удастся предложить вам работу в моей лаборатории. Не могу обещать вам этого сегодня. Позвоню через две недели. Надеюсь увидеть вас снова. Секретарша уже ушла, я вызову вам такси. Я проведу вас к воротам.

– Спасибо большое, профессор Хадлер. Я помню дорогу к воротам и дойду сам. Буду ждать вашего звонка.

– Конечно!

Я совершенно ошарашен. Такого конца для *идиота* я совсем не ожидал! Все было для меня новым и необычным, но самое главное – я говорил! Говорил в течение нескольких часов, с несколькими людьми, на житейском и профессиональном уровне. Я понимал и меня понимали!

На станции Глен Ков я провел минут сорок и добрался домой без проблем. Ну и денек же был у меня! В дороге было время обдумать, что со мной произошло. Ругать я себя продолжал, но появилась мысль, что напряжение всего последнего года сконцентрировалось в паре утренних часов и дало свой результат. В конце концов, даже самое блестящее резюме и идеальный список компаний, которые я ожидал получить при встрече с Хадлером, явились бы лишь компонентом в решении конечной задачи – получения работы. Все эмигрантские байки изобиловали всевозможными случайностями. Оценивая свою многочасовую встречу с Хадлером, я приходил к выводу, что провел ее весьма успешно.

Мне было непонятно, с какой целью он пригласил меня на эту встречу. Мое собеседование не было консультацией, на которую я рассчитывал, а было похоже на некий экзамен. Как я его сдал? К

моменту встречи с Хадлером я уже был членом Американского Общества корабелов и знал о Хадлере как об одном из самых почетных его членов: он был известным специалистом в области корабельной гидромеханики, отмечен многими наградами Общества. Как гидромеханик он был намного сильнее меня. Тем не менее и ему не все было ясно из того, что мы с ним обсуждали. У него были какие-то свои мотивы. Но самое главное: мы с ним говорили! Было видно, что его совершенно не раздражал мой корявый язык: он прицельно переспрашивал меня, когда я не мог четко выразить свою мысль.

Ну, так что же, Хеленочка Берг? Всего-то прошло чуть больше трех месяцев после нашей встречи! Полтора года на язык?! А вот Нобел и Патрик поняли ситуацию по-другому. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»

Домой я добрался в начале восьмого. Я все еще был возбужден. Мой длинный отчет за этот день жена и дочь слушали с открытыми ртами. И мой утренний провал, и мой длинный разговор с Хадлером – все это выглядело нереальным. Мы, конечно же, вспомнили «несерьезного человека».

В тот день я узнал очень много – и из чертежей, и от Хадлера, и из его рассказа о Вебб-институте. Мне стало ясно, что профессионально я полностью подготовлен к работе в Америке. После этой встречи я внес несколько изменений в мои резюме.

Второй выход в свет. Дуракам везет!

Ровно через две недели, в среду 6 июня, я решил сделать еще одну вылазку, уже с новым резюме. Во второй, южной башне *WTC*, располагалась штаб-квартира консалтинга по судостроению – компании *J. J. Henry*, второй в США. Я решил занести туда мое резюме лично, встретиться и поговорить с кем-нибудь.

Приехал в *WTC*, поднялся на 95-й этаж, вышел из лифта – и сразу оказался перед стеклянной стеной, от пола до потолка. За стеной была приемная компании *J. J. Henry* с огромным сооружением – стол с несколькими телефонами, тремя пишущими машинками и множеством чего-то такого, что я не мог сразу опознать, но, по-видимому, необходимого для секретарши в приемной. За столом, в шикарном вращающемся кресле, восседала царственного вида особа в белоснежной блузке с замысловатым жабо, превращавшим ее и без того пышный бюст в некоторое монументальное сооружение – клумбу. Выглядело это великолепно, внушительно и несколько вызывающе. За ее спиной простиралась стена, затянутая добротным сукном глубокой королевской синевы, с большими золотыми

буквами: *J.J.Henry*. В приемной стояли в стеклянных дисплеях модели нескольких боевых кораблей, как в ленинградских проектных судостроительных бюро.

Вошел. Представился. Взгляд секретарши прошел сквозь меня как сквозь пустоту. Я сказал, что я корабел и хотел бы показать свое резюме – может, компания заинтересуется мной. В Америке так не делается. Тем не менее она взяла у меня резюме, встала и походкой гейши удалилась за синюю стену. Ее не было всего несколько минут, но за это время я успел разглядеть через широкий проход часть чертежного зала. Я был поражен – там стояли не кульманы, а самые обычные чертежные столы, как в конструкторском бюро в Ленинграде: слегка наклонные огромные плоскости со знакомыми мне рейсшинами – широкие линейки с двумя роликами на концах, с туго натянутыми нитями, крест-накрест пробежавшими по двум канавкам на каждом ролике и закрепленными на четырех углах стола.

Замысловатая, вызывающая клумба присеменила назад и, глядя сквозь меня, не моргая, бесстрастно объявила, что не нашлось никого, кто бы заинтересовался моим резюме. Наконец, она моргнула, ее взгляд еще раз прошел сквозь меня, и она занялась своими секретарскими делами. Вот и все! Хоть бы кто-нибудь вышел! Ведь профессор Хадлер как-никак проговорил со мной почти шесть часов! Настроение испортилось, и я упрямо вспомнил Хелену Берг. Как-то проявилась вся реальная трудность поиска работы: кому нужно твоё резюме? А кому ты вообще нужен? Наверное, если бы тут так уж были нужны корабелы, то в Вебб-институте было бы не 80, а 180 или 1800 студентов.

Пришел домой вконец расстроенный, и не снимая пиджака, завалился на кровать. В голове крутилось: а дальше что? Подумал: резюме-то мое она мне не вернула. Теперь оно, скорее всего, в мусорной корзине. Стало совсем тоскливо. Пришла Ада. Заглянула в спальню. Подумала, что я задремал, и прикрыла дверь. Прошло какое-то время. Она врывается в комнату: «Женя, тебя кто-то к телефону! Кто-то спрашивает доктора Кейн. На английском!»

Кому я понадобился? Доктор Кейн – надо же! Подхожу к телефону. Ада уже включила магнитофон – мы тренировались не зря. В трубке раздаётся: «Говорит профессор Хадлер (его голос я сразу узнал). Как дела, доктор Кейн? Бла-бла-бла... десять долларов... бла-бла-бла...».

Его речь, произнесенная с явным энтузиазмом, продолжалась, как выяснилось позже, четыре минуты. Вечность. Ада с напряжением смотрит на меня. Очевидно: я ничего не понял. В трубке молчание.

Я растерянно произношу: «Вот?» Это должно означать: *What?*

Хадлер опять начинает: «Мистер Кейн (теперь я уже понижен в звании), бла-бла-бла...». Всего минуты полторы. Опять мое молчание. Стою красный, хочется биться головой о стенку деревянного кухонного шкафа, на котором висит телефон.

Из меня опять вырывается квакающий звук: «Вот?»

Трубка молчит, но, наконец, из нее звучит голос Хадлера (все слова – медленно, четко и размеренно): «Можете ли вы выйти на работу в понедельник?» Слышу, мой голос отвечает: “*Yes*”

Хадлер: «Об... условиях... поговорим... в... понедельник. Полагаю... вам... будет... удобно... появиться... около... девяти. ОК?»

Я счастлив – не от того, что он мне сказал, а оттого, что я понял все слова, которые он произнес так старательно и четко. В данный момент я был бесконечно благодарен именно за это. И я выдавливаю: «ОК». Хадлер: «Увидимся в понедельник. Бай-бай».

Гудки. Вешаю трубку.

Ада напряженно смотрит на меня. Она слышала только мои слова: два раза «Вот?», «*Yes*» и «ОК».

Наконец, до меня доходит, что вроде бы меня взяли на работу, что я согласился и что должен быть в Вебб-институте в понедельник, в девять утра!

– Ада, кажется, Хадлер предложил мне работу.

Магнитофон все еще крутится. Кричим дочери: «Беги сюда, живо!»

Прокручиваем ленту назад.

Яна слушает Хадлера, звучит мое «Вот?», и Яна дико хохочет. Доходит до моего второго «Вот?», и Яна снова раздражается хохотом. Она объясняет, что мои «Вот?» – это что-то вроде «Чаво?» Много раз мы потом прокручивали эту ленту и для себя, и для наших друзей.

Первой частью хадлеровской речи был панегирик доктору Кейн. В самых высокопарных выражениях Хадлер говорил, что счастлив был встретиться и обменяться мнениями с первоклассным специалистом. Он счастлив, что его переговоры прошли удачно, контракт подписан, и он может предложить мне научно-исследовательскую работу – 10 долларов в час, сорок часов в неделю – и просил как можно скорее дать ответ. Раздается мое первое: «Чаво?» До Хадлера дошло, что я ничего не понял, и он повторил свое предложение о работе, но панегирик уже практически исчез, если не считать, что он счастлив сделать мне такое предложение. И вновь мое: «Чаво?» Ну, а третья часть была короткой, и я ее понял. Позже

до меня дошло: я даже не поблагодарил его.

Я застыл. Несколько минут назад я лежал на кровати, совершенно подавленный еще одним своим провалом, мрачно вспоминая Хелену Берг, а теперь я соображал – как мой единственный, непреднамеренный, безнадежный выстрел в молоко попал в самое яблочко?! Цифры провернулись мгновенно, как в арифмометре: 10 долларов в час, 40 часов в неделю, 52 недели – 20800 в год. Никто вокруг нас так не начинал. Я не мог всему этому поверить – это *невозможно!* Жена с дочкой запрыгали вокруг меня.

«Заседание начинается, господа присяжные заседатели!» Вот так-то, Хеленочка Берг! Полтора года на изучение английского?! Позвонили друзьям. Весь вечер трезвонил телефон.

На следующий день стал соображать, что делать. Идти в языковую школу? Почти собрался. Потом решил: надо же объявиться в НАЯНЕ, в АСЕП – они ведь так много сделали для меня! Поехал в НАЯНУ. Мисс Нобел расспросила меня и просияла: «Вот видите, я всегда верила в вас». Мы стали прощаться с ней. Откинувшись назад, она посмотрела на меня, как ваятель смотрит на свое удавшееся творение, протянула мне обе руки и, закатив глаза, сказала свое пророческое: «А вашу жену я вижу только в ЭБАСКО».

Потом я направился в АСЕП. Миссис Патрик хотела знать все подробности моего разговора с Хадлером. Ей я рассказал все, и она весело смеялась. Я был ей премного благодарен. Она призналась, что ей крайне редко приходилось таким непосредственным образом участвовать в устройстве профессионала на работу по своей специальности. Мы очень тепло попрощались...

В субботу поехали в «Александрс», купили мне три бобочки: начиналось жаркое Нью-Йоркское лето. Одна бобочка все еще сохранилась, она совсем тоненькая и чрезвычайно легкая, я надеваю ее в самые жаркие дни.

Выход на рабочую орбиту

В понедельник Кэтрин показала мне мое рабочее место. Хадлер появился минут через десять и сразу пригласил в свой кабинет. Как я и подозревал, стопка чертежей буксира была содержанием моей работы: сравнительный анализ нескольких конфигураций пропульсивных установок. Вся эта работа требовала огромного объема расчетов.

Очевидно, Морская лаборатория, директором которой был Хадлер, была аналогом системы НИС (научно-исследовательского сектора) советских вузов. Преподаватели Вебб-института добывали

себе такого типа проекты, они завершались статьями – отсюда большой объем разнообразных публикаций. Когда Патрик позвонила Хадлеру и отрекомендовала меня, он как раз находился в процессе добывания этого проекта. Хотя Хадлер был первоклассным специалистом, он мгновенно сообразил, что некто из России сможет сделать это всего за 10 долларов в час в течение 3–4 месяцев, избавив его от огромного объема вычислений. Стоить ему это будет 5–6 тысяч, но все равно он получит тысяч 30: и волки сыты, и овцы целы.

Моя встреча с Хадлером была настоящим, полноценным интервью. Он должен был разобраться во мне как в человеке и специалисте, способном сделать эту работу за 3–4 месяца. Я мог бы опоздать и на полдня, он все равно ждал бы меня. Он был удовлетворен, а две недели ему нужны были, чтобы оформить этот контракт. Во время нашего разговора он прекрасно понял, что мой язык почти не имел никакого значения. Мы практически составили и обсудили план работы. Как только контракт был заключен, он немедленно позвонил мне: теперь он должен был быть уверен, что я еще есть. Мое непонимание его панегирика не смутило его. В конце концов, он просто приказал мне выйти на работу. Для меня это было колоссальной находкой. В этом огромном мире, где я был просто щепкой, его величество случай свел нас.

Доктор Кейн «беседует» с адмиралом!

Самым трудным для меня во всем этом были ланчи. Они были простыми: салат, выбор из двух супов, выбор из двух вторых блюд, кофе, кувшин воды со льдом, мисочка с крекерами и маленькими пластмассовыми пакетиками арахисового масла и джемов; стол с белой скатертью, белые матерчатые салфетки с простыми столовыми приборами, перевернутые вверх дном высокие стаканы для воды.

За столом всегда сидели два-три человека: преподаватели, даже если у них не было дел в институте, приезжали просто так: как известно, нет ничего лучшего в Америке, чем бесплатный ланч. Эти два-три человека, давно знавшие друг друга, жившие рядом и общавшиеся домами, беспрерывно трепались обо всем: спорт, кино, Бродвей, финансы, путешествия, машины, все что угодно, но не политика, – все это лилось одним бесконечным потоком. Я, в общем-то, понимал, о чем они треплются, но не мог обо всем этом выдать ни единого слова: я не жил их жизнью. Я сидел и тоскливо жевал свой салат. Хадлер пытался иногда вовлечь меня в беседу, но это неизменно были Ленинград, Советский Союз, Кировский балет или Гулаг. Сколько можно говорить о преследованиях, чистках и первомайских парадах?!

Как-то в эту «кают-компанию» заглянул высокий, решительный, с квадратным подбородком мужик, волосы – коротким бобриком, явно с военной выправкой. Все дружно встали. Я, естественно, тоже поднялся. В руке у меня был кувшин с водой. В этой небольшой суматохе я не заметил, что мой стакан все еще стоял вверх дном, и стал лить воду из кувшина. По белой скатерти растеклась лужица. Я растерялся, смутился и стал лихорадочно хлопать своей салфеткой по этой лужице. Все уже пожали руку пришельцу, и я слышу, как Хадлер представляет меня, доктора Кейн, адмиралу – новому президенту Вебб-института. Тот с энтузиазмом протянул руку для пожатия. Я лихорадочно пытаюсь вытереть руку о мокрую салфетку, и мне ничего не остается, как протянуть свою мокрую лапу боевому адмиралу – не висеть же его руке в воздухе. Адмирал без всякой заминки энергично потряс мою мокрую лапу, вытер теперь уже свою мокрую ладонь, сел. Все сели, и ланч пошел своим нехитрым чередом.

Вышел я из «кают-компаний», иду через большой холл с камином, мимо кожаных диванов. Веселую же шутку я в буквальном смысле «отмочил» с адмиралом! Есть что рассказать дома и друзьям. Слышу энергичные шаги у себя за спиной. Адмирал. Что-то спрашивает меня. Я этого не ожидал, а к вопросам вне какого-то определенного контекста я абсолютно невосприимчив. Все обычно спрашивали меня, как я добираться до станции Глен Ков. Этот ответ я отработал и заученно рассказал адмиралу о метро, поездах, такси. Адмирал уставился на меня и уже более внятно еще раз спросил: «Как вам нравится Вебб?» Я совершенно растерялся, мне хотелось сказать, что этот кампус напоминает мне Пушкинский лицей, хотелось рассказать и о Пушкине, но я запнулся, так как не знал английского варианта слова «лицей», совсем смешался, но быстро собрался и сказал просто и лаконично, что Вебб – прекрасное место и что он мне очень нравится. Адмирал был доволен, что я понял его, ободряюще похлопал по плечу, пожелал удачи, и мы разошлись.

В Америке важно соблюдать религиозные праздники!

Так прошли июль и август, мой проект продвигался по намеченному плану и уже виден был конец. В пятницу, 29 сентября, прощаюсь с Кэтрин: «Увидимся в понедельник». А она: «Во вторник». Я смотрю на нее вопросительно. Она немного замылась и, видимо инстинктивно, дотронулась до своего крестика. Я все еще вопросительно смотрю на нее. Наконец она тихо говорит мне: «Это еврейский праздник». Об этом я знал очень мало. Видя, что я никак не реагирую, она объясняет мне, что это Йом-Киппур, что профессор Хадлер, который был в отъезде, инструктировал ее напомнить мне,

что этот день в Вебб – бенефитный (один из трех по выбору), и я могу не выходить на работу. Тут и я смутился, в свою очередь, за свое незнание. Религия – очень уважаемый институт в Америке, и я, естественно, согласился, бодро ответив: «Увидимся во вторник». Кэтрин облегченно вздохнула.

Ада начала работать в ЭБАСКО вскоре после праздника *Labor Day*, и оказалось, что и у них Йом-Киппур – тоже бенефитный день. Это было непривычно для нас: еврейский праздник – и все с таким уважением. Понедельник начинался прекрасным утром. Решили податься на океан. Я был в ванной, и вдруг прибежала Ада: кто-то просил меня к телефону. На английском. Это всегда напряжение.

Раздается уверенный мужской голос: «Мистер Кейн?»

– Слушаю.

– Говорит Brent, менеджер отдела кадров *J.J. Henry*. Как дела?

– Отлично. (А сам думаю: они что, все еще помнят обо мне? Резюме-то уже сгнило на свалке.)

– Очень рад! Позвольте вас спросить: вы уже работаете?

– О, да.

Небольшая заминка: «Конечно, конечно, мистер Кейн! Превосходно! А можно вас спросить, где?»

– В Вебб-институте.

– В Вебб-институте? Поздравляю, поздравляю, мистер Кейн! Просто великолепно! А что вы там делаете?

– Небольшие исследования в области пропульсии буксиров.

Некоторое молчание, снова явно неискренние поздравления и пожелания всяческих успехов. Тем не менее я успел спросить: «А по какому поводу вы мне звоните?»

– Можно вас спросить: вы довольны своей работой?

– Конечно. Но у меня уходит около четырех часов в день на дорогу.

– Правильно ли я вас понимаю, что вы хотели бы покинуть Вебб-институт?

– Да, совершенно верно. Конечно, это весьма почетно – работать в Вебб, но даже если я начну ездить на машине, это мне мало поможет.

– Мистер Кейн, у нас появились работы, которые, мы думаем, вас могут заинтересовать. Мог бы я встретиться с вами?

– Да, я могу приехать к вам в четверг утром.

– Отлично, будем ждать вас в 9 утра. ОК?

– ОК. Бай-бай.

Я повесил трубку. Фамилию менеджера я забыл записать, а наш телефон-пикап мы отсоединили: ведь работы мы уже нашли.

Вторник и среду я отработал как обычно. Хадлера не было, а Кэтрин просто сказала ОК, когда я известил ее, что в четверг меня не будет.

В четверг, 4 октября, в 9:00, я опять стоял перед синей стеной с золотыми буквами *J.J.Henry*. Секретарша теперь была без жабо. Очевидно, что надобности в этом никакой нет совершенно: у нее и так всего предостаточно и внушительно.

Я назвал себя. В этот раз ее взгляд был внимателен. Она тут же позвонила, и через минуту появился широко улыбающийся мужчина.

– Рад вас видеть, мистер Кейн. Я – Brent. Я звонил вам.

– Доброе утро, мистер Brent.

Мы прошли через компактный чертежный зал, небольшую часть которого я рассмотрел в свой первый приход. По одну сторону зала были кубики, за ними, за стеклянной полустенкой, был проход, в который выходили офисы, примыкавшие к наружной стене. Сквозь окна (от пола до потолка) просматривались наружные мощные ребра WTC.

Пришли в офис Brentа. На его столе лежало мое резюме, то самое, которое я оставил 6 июня, почти четыре месяца назад. Многое изменилось с тех пор.

Я не выдержал:

– А я думал, вы выбросили мое резюме.

– Мы не выбрасываем такие резюме, мистер Кейн.

Началась беседа, чем-то похожая на первую часть собеседования с Хадлером: где я учился, жил, работал, семья, когда приехал в США и т.д. Поговорили об эмиграции. Поговорили о Вебб-институте. Имя Хадлера было хорошо известно мистеру Brentу.

Через некоторое время к нам присоединился весьма представительный джентльмен с густыми, седыми, выющимися волосами, не по-американски зачесанными назад, без пробора – точно, как у меня, только моя шевелюра была черной, без седины. Говорил он с сильнейшим немецким акцентом, равноценным моему русскому, но, в отличие от меня, совершенно правильно и свободно: Хорст Джанеки, вице-президент и менеджер технического отдела. Он тоже принес копию моего резюме. Они стали задавать

технические вопросы, и постепенно выяснился их особый интерес: что-то связанное с прочностью конструкций, подверженных резким перепадам температур, особенно сверхнизких. Я предположил, что речь идет о проекте газозова. Не вдаваясь в специфику, Джанеки согласился. Инициатива интервью перешла к нему – очевидно, его позиция была выше, чем позиция Брента. Мистер Джанеки спросил, какой у меня опыт в этой области. Мои ответы полностью их удовлетворили.

Мы еще побеседовали какое-то время, и они оба вышли, извинившись. Мистер Джанеки вернулся один. Он прямо спросил, могу ли я сказать, какова моя зарплата в Вебб. Я ответил: 10 долларов в час. Нас предупреждали еще в НАЯНЕ, что мы должны либо избегать ответа на этот вопрос, либо отвечать правду. Джанеки подумал немного и сказал, что они, пожалуй, смогут предложить мне инженерную позицию с окладом 22 600 долларов в год; компания имеет все основные бенефиты и бонус в конце года. Он попросил меня подумать и дать ответ в течение нескольких дней.

Поразмыслив минуты 3–4 (Джанеки терпеливо ждал), я сказал, что принимаю его предложение. Вот каков был ход моих мыслей. Я уже четко представлял себе, что Вебб – это микроскопический, уникальный институт. Его Морская лаборатория была оболочкой, необходимой профессуре для ведения работ по НИСу. За время моего пребывания в Вебб я не видел ни одного сотрудника, работавшего полный рабочий день. Похоже, их и не было. Я видел, что мой проект явно подходил к концу. Хадлер никогда не говорил о моем будущем в Вебб-институте, а я как-то не решался его спросить. Очевидно, у него ничего не было в планах. В *J.J.Henry* мне предложили чуть-чуть больше денег, и я сэкономил на транспортных расходах. Основных бенефитов (медицинской страховки и пенсионного плана) в Вебб для меня не было. Когда я начинал работу в Вебб, я об этом и не задумывался, но теперь я был осведомлен обо всех этих важнейших компонентах трудоустройства. Торговаться я не умел, и для меня наличие надежной работы было важнее размера зарплаты. Ада уже работала, и разница в несколько тысяч долларов не имела теперь для нас решающего значения. Офис компании был в южном Манхэттене, и я избавлялся от изнурительных ежедневных поездок. Итак – решено.

Очевидно, Джанеки был удовлетворен моим быстрым решением. Я сказал, что, скорее всего, мне понадобится неделя, чтобы полностью закончить мой проект, и я смогу выйти на работу в понедельник, 15 октября. Мы поблагодарили друг друга и распрощались.

При выходе из офиса я попрощался с секретаршей, восседавшей перед синей стеной. Она уже, наверное, что-то знала и состроила мне широчайшую, хорошо отработанную зубастую улыбку. Я спустился в лобби Торгового Центра. На все ушло чуть больше двух часов.

С английским нет проблем!

Пятницу я отработал как обычно. В понедельник, 8 октября, появился Хадлер, и я все ему рассказал о *J. J. Henry*. Он прекрасно знал эту компанию и часто их консультировал. Он выглядел весьма довольным. Он объяснил мне то, о чем я догадывался. Этот проект был задуман некоторое время назад. Причиной задержки было то, что он не мог найти исполнителя. Случайный звонок миссис Патрик был как раз в точку. Хотя он четко представлял, что эта работа была всего на несколько месяцев, но, с другой стороны, он понимал, что такая работа в Вебб послужит для меня мощным трамплином. Я полностью согласился с ним и поблагодарил: именно так и получилось. Хадлер сказал, что мое поступление в *J. J. Henry* избавило его от неприятной обязанности сказать мне, что работа закончилась: я уходил сам.

Мы стали обсуждать, как кончить проект. Я уже аккуратно собрал все свои расчеты в папку. Результаты почти четырехмесячных расчетов укладывались в несколько графиков, таблиц, диаграмм и эскизов. Хадлер спросил, смогу ли я написать объяснительную записку на одной странице. Я ответил: нет проблем.

Вернулся к себе и за час написал все по-русски и старательно перевел на английский – со словарем, естественно. Отдал Кэтрин, и она как пулемет отстучала на машинке мою записку – точно на одну страничку.

Отдал ее Хадлеру. Он прочитал, сделал всего несколько пометок. Это были чисто грамматические исправления. Текст оставался почти нетронутым. Он пристально посмотрел на меня: «А вы не могли бы расширить вашу записку до трех страниц?» Я сказал – нет проблем.

Вернулся к себе, начал писать, но день уже подошел к концу. Вечером дома я закончил все и прикинул, что полный текст должен уложиться в три страницы. Утром Кэтрин опять все быстренько отстучала на машинке, а я вписал некоторые уравнения и формулы. К приходу Хадлера все было готово. Он прочел, опять сделал незначительные пометки и, посмотрев на меня внимательно, спросил: «Джин, а не могли бы вы написать весь отчет?» Я – опять: нет проблем. (Да, я забыл сказать, что с самого начала он назвал себя Джак, а я стал Джин.)

К концу недели я написал полный отчет: введение, постановка

задачи, уравнения, формулы, расчеты, графики, конструктивные компоненты, список литературы. Исправлений было много, но в целом все сохранилось, как я написал. Текст вложили в специальную папку с эмблемой Вебб-института. Авторы: Профессор Хадлер и Доктор Кейн; заказчиком проекта была указана крупнейшая нефтяная компания ЭКСОН (EXXON). Хадлер с удовлетворением посмотрел на законченную работу и вдруг спросил: «А как вы это сделали?»

Я переспросил: «Сделал что?»

– Как вы смогли написать это все? Уровень вашего письменного языка несравним с вашим разговорным языком. Скажу вам откровенно, я не ожидал этого. Как вы это сделали?

Я ответил, что писать мне гораздо легче, чем говорить: не надо мгновенно подыскивать слово, нет трудностей с произношением, я пишу все на русском, а потом перевожу на английский, словарь всегда под рукой.

Хадлер поблагодарил меня за работу и сказал, что я могу обращаться к нему по любому вопросу и ссылаться на него, если мне это понадобится в будущем. Прощаясь, он добавил, что мой разговорный язык – моя самая большая проблема, я должен им упорно заниматься. Я поблагодарил его за предоставленную мне возможность начать в Вебб-институте свою американскую карьеру. Мы обнялись с Кэтрин, и я вышел из здания, в котором проработал почти четыре месяца.

«Заседание продолжается»

В понедельник, 15 октября, я стоял перед теперь благожелательно улыбающейся секретаршей – Барбарой. Через мгновение ко мне вышел Джанеки и привел меня в чертежный зал, к пустому кубуку...

В *J. J. Henry* я отработал два года, и много чего со мной произошло за это время. Два случая – особые.

Как-то в понедельник, утром, Джанеки уже ждал меня у моего кубука: срочное задание, всего на неделю. Сам он уезжает в командировку. Работа должна быть закончена и отправлена заказчику не позже пятницы, быстро (*quick*), для утреннего совещания в следующий понедельник. Он еще раз подчеркнул – быстро! Я закончил всю работу в пятницу, во второй половине дня, и потопал к Барбаре. Передал ей материалы и, сославшись на Джанеки, попросил отправить их самым срочным способом. Она кивнула – конечно. Перед уходом она подтвердила, что отправила

все с курьером заказчикам в Хьюстон.

Утром ровно через неделю Джанеки первым делом подошел ко мне, спросил, закончил ли я работу, и переспросил что-то насчет «быстро». Я подтвердил, что все в порядке, Барбара отправила работу срочно. Через несколько минут, весьма раздраженный, он вырос у моего кубика и опять спросил, быстро ли я отправил работу. Я ответил, что отправил ее не только быстро, а срочно. Он сказал, что если отправить все быстро, то все должно появиться у заказчика мгновенно. Я взорвался и сказал, что мгновенно бывает только в сказках. Требуется по крайней мере пара часов на самолет. Он спросил: «Вы что, отправили работу по почте?» Я ответил вопросом – а как же еще?

На лице Джанеки появилось выражение озарения и пробежала мимолетная усмешка. Он попросил мои материалы и повел меня в маленькую клетушку, где стоял компьютерный терминал (это 79-й год, существуют только *mainframe*-компьютеры). Джанеки показал на неизвестный мне аппарат, стоявший на отдельной тумбочке. Я работал в этой клетушке на терминале, выходя на компьютер, и полагал, что эта штука является некой частью терминала.

Джанеки глазами показал мне следить за ним – и движением фокусника вставил мои листки в прорезь аппарата, надавил на телефонные кнопки, явно набирая номер телефона, и сделал движение головой, как бы спрашивая: «Соображаешь?» Я развел руки и отрицательно покрутил головой. Тогда он преувеличенно артистичным движением нажал на кнопку, аппарат ожил, раздался телефонный звонок, какие-то неизвестные мне птичьи трели, и листки один за другим поползли в аппарат. Джанеки весело рассмеялся и сказал: “*Quick*”. Я вроде понял и подтвердил: “*Quick*”. Серьезно посмотрев на меня, он медленно произнес: “*Q-u-i-p*” и указал на верхнюю панель аппарата. На нем было лого: *Quip*.

Наконец-то разрешилась эта загадка с «быстро» – *quick*. В то время нефтяной гигант ЭКСОН начал производить электронное оборудование для офисов – в частности, первую успешную модель машины *facsimile* (впоследствии получившую название *Fax*) – *Quip*. Сразу появился глагол – *to quip*. Вот Джанеки и твердил мне все время: “*to quip*”, а я слышал это как *quick* – быстро. Он спросил меня, как звучит *quick* по-русски, и когда ему надо было от меня что-нибудь срочное, он с удовольствием объявлял «бистро-бистро», а я ему в ответ: “*quip-quip*”.

Другой случай грозил мне серьезными неприятностями и чуть не выбил меня из колеи. Как-то Джанеки направил меня к одному из менеджеров, сидевших в офисах по периметру здания, – получить у

него работу. Билл Шлезингер (тоже с немецким акцентом), с лошадиным лицом, пожав мне руку, начал объяснять суть работы. Я вслушивался в каждое слово. Пару слов я уловил, но в остальном это был поток совершенно неопознанных звуков. Наконец он кончил и спросил, все ли мне понятно. Я не мог даже представить себе, как я могу ответить, что не понял *ничего*, и ответил: «Да, сэр».

Я вернулся в свой кубик. Что делать? Пойти опять к Шлезингеру и сознаться, что я ничего не понял? Или идти к Джанеки? В любом случае я мог навредить себе как работник со слабым знанием языка, не выяснивший смысла порученной работы. Я попал в ловушку. Все-таки мне показалось, что пару слов я уловил. Есть в корабельном деле специфический этап: исходя из главных размерений судна спроектировать его поперечное сечение, то есть определить толщины всех листов наружной обшивки, переборки и размеры подкрепляющих их связей, а затем посчитать вес корпуса судна. Даже если мое предположение было правильным, я должен был удостовериться в этом. Я решил: чтобы проверить это, я могу зайти к Шлезингеру и задать этой лошадиной морде только один вопрос. Ответ на этот вопрос должен быть простой: либо «да», либо «нет», без всяких разъяснений. Если ответ будет «да» – значит, я на правильном пути, если «нет», то я извинюсь, скажу, что не так понял, и расспрошу все подробно.

Такой вопрос я придумал. Не вдаваясь в технические подробности, я должен был спросить – использовать ли обычную сталь? (Другая возможность подразумевалась – высокопрочная сталь.) Я, как бы невзначай, зашел к Шлезингеру, и на мой вопрос он ответил: «О, да!» Я сказал: «Конечно, сэр» и растворился.

Через несколько дней я положил ему на стол свои эскизы и расчеты, и он довольно тепло, несмотря на свою лошадиную морду, поблагодарил меня. Через час ко мне подкатил Джанеки:

– Ну, как твои дела с Билли?

– Отлично, по крайней мере, он довольно тепло поблагодарил меня. Но мне было трудно его понимать.

Джанеки осмотрелся, доверительно наклонился ко мне и тихо проговорил: «Вообще-то Билли (и он покрутил пальцем у виска), у него ужасный дантист. Он сделал ему безобразную челюсть, и теперь в офисе ни один человек не может понять ни одного его слова. Ни одного! А Билли еще и в ярость приходит от этого. А вы – молодец!» Он подмигнул мне, и похлопав по плечу, отошел.

Дела мои шли весьма успешно. Вскоре Джанеки сообразил, что на мне можно заработать приличные деньги, послав меня в другие компании консультантом. Как случайно я выяснил позже, на рынке

меня можно было запродать таким образом за 70 долларов в час и выше. В результате за время службы в *J. J. Henry* я два раза отработал на 42-й стрит в Манхэттене. Первый раз это был проект, который Джанеки имел в виду во время моего интервью, а в другой раз, летом 1981 года, я был запродан во вторую по размеру в Америке нефтяную компанию «МОБИЛ», в ее танкерный департамент, – точно по моей специализации! Работая там, я понял, что мое место – в нефтяной компании.

* * *

В конце августа, с подачи моего нового приятеля, которому я посодействовал в получении работы в компании ЭКСОН (через профессора Хадлера!), я отнес свое резюме в ее штаб-квартиру на *Avenue of the Americas*, пройдясь в ланч по обжигающему Манхэттену. К своему резюме и сопроводительному письму я приложил наш с Хадлером веббовский отчет, выполненный по заказу компании ЭКСОН.

В октябре 1981-го, через два года с начала моей работы в *J. J. Henry*, я вышел из квартиры. Сел в машину, оставленную с вечера около нашего дома. Начинался новый виток моей профессиональной жизни в Америке – в танкерном департаменте (самом большом в мире) компании ЭКСОН в Нью-Джерси. В памяти всплыли Хелена Берг с ее уничтожающим приговором, деловая миссис Патрик и прокуренная мисс Нобел, глядящая в потолок и говорящая загадочные слова Аде: «вас я вижу в эбаско». А слова Михаила Константиновича, который впоследствии стал неофициальным руководителем моей диссертации, я до сих пор слышу от жены и от друзей, когда они хотят поддеть меня: «Несерьезный вы, Кане, человек!»



Яна Кане – родилась и выросла в Ленинграде. Несколько лет училась в ЛИТО под руководством Вячеслава Абрамовича Лейкина. Эмигрировала в США в 1979 году. Закончила школу в Нью-Йорке, получила степень бакалавра по информатике в Принстонском университете, затем степень доктора философии в области статистики в Корнеллском университете. Живет в США с мужем и дочкой. Работает в должности *Senior Principal Engineer* в фирме *Comcast*. Стихи и проза Яны Кане на русском языке вошли в сборники «Общая тетрадь», «Неразведенные мосты», «Страницы Миллбурнского клуба», «Двадцать три», «День зарубежной русской поэзии 2019» и были опубликованы в журналах, в том числе – «Семь искусств», “*Elegant New York*” и «45-я параллель». Стихи на английском языке и переводы печатались в журнале “*Chronogram*”. Книга стихов и прозы «Равноденствие» вышла в 2019 году (Издательство «Образ», Москва).

Когда моя дочка только-только научилась читать и начала входить во вкус этого занятия, я написала для нее сказку “*The Book of Bookworm*”. Впоследствии я перевела ее на русский язык и назвала «Книга Книгоеда».

В сборники Миллбурнского клуба за 2016 – 2018 годы вошли первые одиннадцать глав «Книги Книгоеда». В этом выпуске сборника я продолжаю повествование. Надеюсь, что его окончание будет опубликовано в следующем номере сборника.

Я планирую выложить полный текст «Книги Книгоеда» на своей странице: <https://stihi.ru/avtor/yanastihiru>.

Книга Книгоеда

Глава 12. Сказания и легенды язычников

Помыслы путешественников обратились к поискам Соленого Источника. Магда надеялась, что поиски его не затянутся и что этот третий источник вдохновит Книгоеда, так что дракон сможет наконец написать свою книгу стихов. Ей так хотелось вернуться домой! Ее поддерживала мысль, что теперь они держат путь на север, то есть в направлении к Семи Холмам.

Они спустились на плоскогорье, заросшее дремучими болотистыми лесами. Передвигаться по дорогам здесь приходилось с большой опаской – им все чаще попадались группы вооруженных рыцарей, которые спешили с какими-то срочными военными поручениями. Этот край показался Магде наименее гостеприимным из всех, где им довелось побывать до сих пор. К тому же тусклые и промозглые дни между поздней осенью и ранней зимой – плохое время для блужданий по лесной глуши. Но когда они оказывались рядом с поселениями, картина становилась еще более гнетущей:

города были обнесены грозными укреплениями, нищие деревни вросли в землю, тут и там виднелись заброшенные или разрушенные домишки, а то и пепелища. Похоже, что здесь нередко прокатывались сражения. В церквях и лавках Магда слышала разговоры об охоте на ведьм, о кострах для несчастных обвиненных, а также о военных действиях: нескончаемой цепи нападений, захватов и мщений. На рыночных площадях городов и деревень попадались виселицы, вздымавшие свой жуткий груз в бледное зимнее небо. Магду начали мучить кошмары, она то и дело просыпалась с криками ужаса под крылом озабоченного дракона.

А между тем в их поисках наступил застой. Им никак не удавалось узнать что-то новое о Соленом Источнике. Магде приходилось постоянно преодолевать языковой барьер. Местные жители говорили здесь на нескольких диалектах. Хотя эти диалекты и были в близком родстве друг с другом и с тем языком, который Магда неплохо освоила в горах, произношение слов сильно различалось в разных маленьких королевствах и герцогствах, которые попадались им на пути. Так что одни и те же слова звучали совсем по-разному. По мере того как она продвигалась из города в город, Магда схватывала местные диалекты достаточно хорошо для того, чтобы понимать речь окружающих, однако часто не могла объясниться с ними так, чтобы они поняли ее. Но еще больше ее поиски затруднял страх. Угроза охоты на ведьм висела в воздухе, как зловещее испарение. Магда опасалась напрямик заговорить про волшебный источник. А местные жители и подавно не заводили разговоры ни о чем, связанном с волшебством, даже когда рассказывали ей о местности, изображенной на одной из ее карт. Карты по-прежнему хорошо продавались. Но настроение Магды становилось все более подавленным. Она решила, что если к концу зимы они не найдут источник, то она признается Книгоеду, что не в силах больше продолжать поиски. Однако в середине января им удалось сделать важное открытие.

Они читали старую книгу под названием «Сказания и легенды язычников». Написана она была триста лет назад на латыни монахом по имени Брат Стефан. Начало книги казалось малообещающим. Брат Стефан писал, что целью его работы над записью этих сказаний было «предостеречь истинно верующих от того, чтобы слушали они рассказы старых бабок или песенки лукавых менестрелей, в которых живут еще темные и невежественные страхи и поверья, когда-то застилавшие ясный свет правды в умах язычников». Но погрузившись в книгу, Магда и Книгоед поняли, что цель эта была всего лишь предлогом, уловкой. Ею – то ли сознательно, то ли сам того не подозревая, – воспользовался монах, чтобы получить

возможность собрать и записать древние сказания, которые заворожили и глубоко взволновали его. Пересказал он их талантливо, живо и красочно, не упуская мельчайших деталей. И оказалось, что в переплетении нескольких повествований говорилось о Соленом Источнике! Согласно книге Брата Стефана, люди знали о существовании Соленого Источника с незапамятных времен. Язычники чтили его как святыню и воздвигли возле него алтарь. Они веровали, что в этой точке человеческий мир напрямую соприкасается с миром богов.

Местонахождение Соленого Источника постоянно менялось. Никому еще не удалось найти к нему дорогу по земле. Но подземный путь к нему был известен. Начинался он в глубокой расщелине в скале и долго плутал где-то в недрах, прежде чем вынырнуть наконец опять на поверхность, у самого источника. Языческие почитатели священного источника построили каменный грот, «просторный, как церковь», над расщелиной, где начинался подземный путь. В давние времена многие люди приезжали и приходили подивиться на огромный грот и даже решались сделать несколько шагов во мрак расщелины. Но очень немногим хватало отваги, желания и безрассудства на то, чтобы пуститься в дальний путь «во чрево земли», и еще реже случалось, что путешественник достигал цели и возвращался обратно. Брат Стефан рассказал о судьбе нескольких мужчин и женщин, которым удалось совершить опасное путешествие.

«Увы! – писал он, заканчивая последнее из этих повествований и, видимо, не будучи в силах полностью скрыть свои истинные чувства, – четыреста лет назад даже этот, окутанный мраком, путь был закрыт для всех, кто хотел бы найти дорогу к Соленому Источнику: в гроте над расщелиной поселился огнедышащий дракон. Поначалу храбрейшие воины вызывали чудовище на бой. Но каждый из них пал в бою с драконом. Может быть, в наши дни, когда у рыцарей и броня надежнее, и копыя тверже, а сердца укреплены истинной верой, кому-нибудь из них будет по силам расправиться с чудовищем и освободить грот». Очевидно, чтобы помочь рыцарям, которые пожелают найти дорогу к гроту, Брат Стефан подробно сообщал, где и как его следует искать. «Однако, – заключал он с явной горечью, – до сих пор ни один из властителей или прославленных воинов нашего времени не счел сражение с этим чудовищем достаточно славным подвигом. Они малодушнее, чем язычники прошедших веков. Теперь наши властители покупают позорный мир, поставляя дракону ежегодную дань золотом и драгоценностями и позволяя ему преграждать путь к Соленому Источнику».

Повествования Брата Стефана привели Книгоеда в глубокое

раздумье. Долгое время он сидел неподвижно и только что-то бормотал себе под нос то на одном языке, то на другом, то на третьем. Он перебирал в уме все, что ему было известно о близлежащих землях. Наконец он объявил, что ему примерно ясно, где находится древний грот, этот участок он сможет разведать за пару недель.

Путешественники решили расстаться на время разведки, чтобы дракон смог как можно быстрее добраться до нужного участка и осмотреть его с воздуха. Магда с лошадьми остановилась на постоялом дворе, а Книгоед, запасшись книгами, улетел на поиски грота.

Дни ожидания ползли медленно. Погода была ветреная, холодная, так что Магда большую часть времени проводила у себя в комнате или внизу, в трактире. После многих месяцев странствий с драконом ей было непривычно жить в доме, битком набитом людьми, слышать, как день и ночь они говорят, поют, горланят, бранятся и храпят. И хозяйка постоялого двора, и ее слуги, и купцы, жившие в наемных комнатах, и горожане, приходившие по вечерам в трактир выпить пива и посплетничать, – все были преисполнены любопытства и хотели знать больше о чужестранной девушке, путешествующей в одиночку: откуда она, куда и зачем едет. Объяснение Магды, что она совершает религиозное паломничество в дальний женский монастырь, их не убедило. Избегая настырных расспросов, Магда все больше времени проводила в одиночестве, в отведенной ей чердачной комнате, читая у камина или чиня свои потрепанные дальними странствиями пожитки при тусклом свете оконца. Однако ее необщительность только разожгла любопытство всех, кто собирался по вечерам в трактире, так что оживленные споры о ней служили закуской многим кружкам пива.

Хозяйка постоялого двора любила сплетничать, а чтобы было о чем поговорить, совала нос в чужие дела и подглядывала за своими постояльцами под видом заботы о них, принося им то поднос с едой, то дрова для камина. Она рассказывала, что в комнате «чужестранной девицы» было множество книг и что сама девушка имела привычку подолгу сидеть у окошка рано утром и в сумерки, словно бы выискивая что-то в небе. Кое-кто начал было бормотать, что «это странно и подозрительно – девице, не послушнице и не монахине, сидеть, уткнувшись в книгу, смотреть на звезды и чураться компании честных людей». Но хозяйка быстро пресекла эти толки. Она вовсе не хотела, чтобы ее постоялицу обвинили в колдовстве, особенно до того, как та оплатит счет. Поэтому хозяйка выдвинула собственное, куда более романтическое объяснение происходящего. Она была уверена, что девушка убежала из дома и теперь ждала (повидимому, тщетно), когда за ней приедет ее возлюбленный. Книги

были подарком, который она собиралась поднести ему, а ее склонность к одиночеству и интерес к предвечерным и вечерним небесам объяснялись ее «сердечной тоской по этому вероломному паршивцу». Версия хозяйки пришлась по душе ее клиентам, и все со вкусом принялись обсуждать эту печальную историю. К счастью, никому и в голову не пришло, что Магда всматривалась в небо в ожидании сигнала от дракона!

Наконец, на рассвете девятого дня ее пребывания на постоялом дворе Магда увидела условный сигнал: три коротких огненных вспышки, пауза, еще три вспышки. Девушка спешно собралась, объявила о своем отъезде и оплатила счет, несколько недоумевая по поводу многозначительных взглядов хозяйки и ее сочувственных вздохов и рукопожатий.

Магда поспешила в лес, на место встречи. Книгоед был в большом возбуждении. Он нашел грот! До него оставалось не более десяти дней езды. Однако в гроте все еще проживал дракон. Книгоед не приблизился к гроту, поскольку не хотел сразу же вызывать на бой хозяина логова. Но он ясно видел голову и плечи спящего дракона, торчавшие из грота. Судя по размерам головы, это был настоящий исполин, намного крупнее Книгоеда. Книгоед также заметил, что голова и плечи спящего покоились, похоже, на грудке золота и драгоценностей, и глубже в гроте пол был устлан такой же сверкающей периной. Так что, скорее всего, это был дракон из породы златокопителей, что совпадало со сведениями в книге Брата Стефана. Книгоед полагал, что дракон, которого он видел, был тем же самым, который вселился в пещеру семьсот лет назад. По крайней мере, судя по размерам, это был дракон весьма почтенного возраста.

Итак, теперь они знали, куда держать путь. Но как пробраться в грот? Дракон не впустит без боя сородича в свое логово. Магда была в ужасе от мысли о битве между Книгоедом и тем, другим драконом. Поэтому она сразу отвергла идею взять грот силой. Книгоед считал делом чести предложить вызвать владельца грота на бой, но, по правде говоря, ему совсем не хотелось сражаться с противником, который явно был намного крупнее и опытнее его самого. Так что он без особых усилий дал Магде отговорить себя от такой затеи. Книга Брата Стефана намекала на другой подход к делу. Книгоед надеялся, что этот подход придет Магде в голову и она первая предложит его. Так и получилось:

– Книгоед, а ведь в книге говорилось, что во времена Стефана властители откупались от дракона золотом, и он жил с ними в мире. Может быть, если мы предложим ему золото, он позволит нам пройти через грот?

- Возможно, что это сработает, - ответил Книгоед, стараясь не показать чувства облегчения. - Как правило, златокопители наименее агрессивны из всех драконов, если дела у них идут хорошо, клад растет, и никто на их золото не покушается. Они предпочитают получать золото и драгоценности без возни и риска. К тому же, если это и правда тот же дракон, что в сказаниях Брата Стефана, то ему сейчас уже за семьсот лет. Обычно в этом возрасте драконы остепеняются и начинают ценить тишину и покой.

- Как ты считаешь, у нас достаточно золота? - спросила Магда.

Книгоед мельком оглядел мешки и покачал головой: «Боюсь, что нет. Если дракон прожил там все эти столетия, то он накопил груды сокровищ. Мы будем просить его о большом одолжении - пропустить нас в самое его логово. У нас будет только один шанс договориться с ним мирным путем - мы должны сразу предложить ему заметную прибавку к его кладу, а не какой-то мелкий подарок».

Магда только вздохнула.

Следующие три месяца они были полностью поглощены погоней за заработком: все их разговоры были о клиентах, заказах, ценах на карты и стоимости припасов. Они продвигались к гроту очень медленно, стараясь по дороге заработать как можно больше золота.

Глава 13. Рудольф Великолепный

К Пасхе путешественники заработали достаточно золота, чтобы произвести впечатление даже на хорошо обеспеченного дракона. Магде теперь приходилось идти пешком от одного города к другому. Чайка везла золото и книги, а на Ласточку были нагружены все припасы и пожитки.

Они устроили стоянку в лесу, в нескольких милях от города, который назывался «Сторожевой». До грота с логовом дракона оставалось два-три дня пути. Они надеялись, что Сторожевой будет последней остановкой, после которой они будут готовы к переговорам с драконом, занимавшим грот. В Сторожевом они получили несколько хороших заказов на карты города и его окрестностей. Особенно доходными были два заказа на карты самого большого размера - один от богатой гильдии купцов, торговавших кожами, а второй - от человека, правившего Сторожевым, герцога Рудольфа, которого называли Великолепный.

Эти два заказа, а также несколько других, помельче, Магда получила при содействии Себастьяна, служившего при герцоге архивариусом и писцом. Себастьян был для Магды источником информации о Сторожевом, он же был и самым первым ее

заказчиком в этом городе, а потом по его рекомендации поступили и другие заказы. Магда познакомилась и сдружилась с Себастьяном за пять недель пребывания в окрестностях этого города. Это был худой сутуловатый человек, которого Магда считала стариком, хотя на самом деле ему было лишь немного за сорок. Жил он одиноко в тесном доме, битком набитом книгами и картами. Себастьян свободно говорил на латыни и был прекрасно образованным и знающим человеком. Магда проводила многие часы в приятных беседах с ним. Он знал и любил поэзию. Когда он читал Магде строки из любимых стихов, серые глаза его наполнялись светом, а бледное лицо оживлялось радостью. Магда очень жалела, что не могла познакомить Себастьяна с Книгоедом, – у них было родство духа, и они бы наверняка подружились.

Но вот, наконец, карты для гильдии купцов и для герцога были готовы. Туманным и теплым весенним днем Магда приехала в Сторожевой с двумя большими рулонами, обернутыми рогожей. Она отвезла первую карту в здание гильдии. Человек, принявший карту, заплатил ей сполна, но при этом не сказал ни слова, и вид у него был испуганный. Слегка встревоженная, Магда направилась к дому Себастьяна, чтобы передать ему карту для герцога. Она вздохнула, взявшись за старый медный дверной молоток, – пришло время распрощаться с Себастьяном.

К ее удивлению, дверь ей открыл не Себастьян, а незнакомый человек – высокий, в кольчуге, шлеме и при мече. На его доспехах был герб герцога Рудольфа Великолепного, так что Магда решила, что он служил в армии или охране герцога. Еще три человека в таких же доспехах и при алебардах вышли на крыльцо. Магда, вытянув шею, высматривала Себастьяна, но он не появился.

– Пойдем с нами, герцог желает видеть тебя, – сказал высокий незнакомец, жестом указывая, что она должна последовать за ним. Магда хотела было спросить, где же Себастьян, но вид у стражников был суровый и неприступный. Один из них взял под уздцы Чайку и Ласточку, а высокий снова указал ей рукой, чтобы она следовала за ними.

Они шли по городу, и тревога Магды переросла в страх. Шумные толпы на улицах при их приближении замолкали и расступались. Магда ощущала на себе пристальные, враждебные взгляды, слышала ползущий за ней шепот. Она взглянула вверх, где между теснящимися домами проглядывала узкая полоса серого неба. Знакомый крылатый силуэт, слегка размытый туманом, беззвучно кружил над ней. Магде очень захотелось рвануться в какой-нибудь переулок и взорвать там сигнальные петарды, чтобы призвать на

помощь дракона. Но нет, подумала она, это будет неразумной несдержанностью. Возможно, герцог послал за ней своих людей, чтобы оказать ей почести, а ее поведение как раз и убедит окружающих, что девушка-чужестранка – помешанна и опасна. С другой стороны, если и вправду происходит что-то нехорошее, если стражникам было приказано доставить ее в замок против ее воли, то наверняка они успеют схватить ее прежде, чем ей удастся взорвать сигнальные петарды. А ее странное поведение лишь усугубит недоверие к ней, если она под каким-то подозрением. К тому же, если она призовет дракона, и он кинется к ней прямо сюда, в городскую толпу, к вооруженным стражникам, то и сам дракон, и горожане вокруг нее окажутся в опасности. Нет, решила Магда, лучше не сопротивляться, а постараться выпутаться из этой истории как можно скорее.

Благодаря работе над картами Магде были хорошо известны и план города, и план герцогского замка. Магда знала, что в замок они вошли через западные ворота в толстой крепостной стене. Проходя вглубь крепости, она не удивилась лабиринту построек, окружавших маленькие внутренние дворики.

Они вошли в главное, величественное здание замка и оказались в огромном помещении – видимо, в зале для пиршеств. Когда ее глаза привыкли к полумраку, Магда заметила человека, сидящего у незажженного камина. На столе рядом с ним стояли три канделябра. Подойдя еще ближе, она увидела, что перед ним лежит та карта, которую она только что доставила гильдии купцов. Под ней виднелись другие большие куски пергамента – это были карты, которые она ранее продала в Сторожевом.

Магда догадалась, что незнакомец, восседавший в кресле, похожем на трон, и есть сам герцог. Одет он был очень богато, и осанка его изобличала в нем человека, привыкшего к власти. К тому же он был великолепно красив, как и пелось про него в мадригалах местных менестрелей. Волнистые волосы отливали золотом в свете свечей. Маленькая, ухоженная бородка обрамляла точеное лицо. Герцог поднял голову, и его синие глаза уставились на Магду пронизательно и недружелюбно. Длинные пальцы шевельнулись, сверкнув сапфирами, и сделали знак подойти ближе. Магда присела в глубоком реверансе. Герцог Рудольф продолжал молча рассматривать ее. Она вдруг вспомнила, как она неприглядна в своей потрепанной дорожной одежде. К ее тревоге примешивалось теперь смущение.

– Эй ты, ты говорить по-нашему умеешь?

– Мало, ваше Высочество, – ответила, запинаясь, Магда и, сблизив

руки, жестом показала, как мало.

Герцог нахмурился, и его унизанная кольцами рука нетерпеливо шевельнулась.

– Привести Себастьяна, – приказал он, и один из стражников поклонился и вышел. Вскоре стражник вернулся в сопровождении Себастьяна, который казался еще более был бледным и согбенным, чем обычно.

– Переводи, – приказал герцог, не взглянув на ссутулившегося человека, стоявшего у его кресла.

– Повинуюсь, мой господин, – поклонился Себастьян и подошел к Магде.

– Та карта, которую ты заказал для меня, в этом рулоне? Скажи ей, чтобы она развернула ее вон там, – герцог указал на пустой стол рядом со столом, заваленным картами.

Магда поняла его приказание, но решила дожждаться, когда Себастьян переведет слова герцога на латынь. Она подозревала, что попала в серьезную передрагу, и не хотела обострить ситуацию проявлением инициативы или непокорности.

Герцог встал и жестом приказал Магде отойти. Он склонился над новой картой, потом повернулся к столу, где лежала карта, сделанная для гильдии. Некоторое время он глядел то на одну карту, то на другую, сравнивая их.

Наконец он снова сел и уставился на Магду.

– Я так и думал, – сказал он, и в голосе его явно послышалась угроза, – ты... – И тут он употребил слово, которое Магда не поняла.

– Нет! – отчаянно вскрикнул Себастьян, заламывая руки. – Нет, я уверен, что это не так. Ваше Высочество, я уверен...

– Ты здесь для того, чтобы переводить, а не для того, чтобы говорить мне, в чем ты уверен, – оборвал его герцог.

– Он говорит, что вы – ведьма, – прошептал Себастьян, не в силах взглянуть на Магду. Ледяной ужас стеснил сердце Магды. На миг она потеряла дар речи.

– Нет, нет, клянусь, это не так! – наконец вскричала она на своем родном языке, а потом, увидев, что ни Себастьян, ни герцог не поняли ее, перешла на латынь:

– Это не так, я поклянусь на кресте!

– Придержи свой кощунственный язык, – оборвал ее герцог, услышав ее слова в переводе Себастьяна, – и не трать мое время на все эти увертки, я слышал все это и раньше.

Он раздраженно отмахнулся, как от мухи, и сапфиры снова сверкнули на его руке.

– Таких, как ты, мы отправляли на костер и с меньшими уликами. Только ведьма способна делать такие карты – они совпадают во всех деталях. И мой замок, где ты ни разу раньше не была, ты не смогла бы начертить так, – он ткнул пальцем в пергамент, – со всеми внутренними постройками и дворами, как если бы ты рисовала свою карту, пролетая над ним!

Магда пыталась возразить сквозь хлынувшие слезы.

– Замолчи, ведьма! – заорал герцог, его красивое лицо перекошилось от ярости. Он снова повернулся к столам и впился глазами в карты.

– Я представить себе не мог, что он... Да будет Бог милостив к вам... – прошептал Себастьян дрожащим голосом.

Герцог снова повернулся к ним.

– Но если ты продала душу дьяволу, по крайней мере, ты получила взамен нечто полезное, в отличие от других бабенок, которых мы заставили плясать в огне. Может быть, я позволю тебе жить. Ты будешь делать для меня карты! – сказал он, жадно раздувая ноздри.

Он перечислил полдюжины городов, находившихся вблизи от его владений. Названия нескольких из них были знакомы Магде – она миновала их по пути в Сторожевой.

– Конечно же, ваше Высочество, я сейчас же примусь за дело, – проговорила Магда с почтительным поклоном. Для нее забрезжил луч надежды: стоит ей только выбраться из замка, а уж тогда...

– Заберите ее в темницу! Дайте ей пергамент, перья, чернила, кисточки, краски. Приносите ей свечи, хлеб и воду, – распорядился герцог, – но больше ничего не давайте ей, а то она может опять заняться своим гнусным колдовством.

Все это Себастьян переводил шепотом.

– Ваше Высочество, если я буду в темнице, я не смогу чертить карты городов, в которых мне никогда не приходилось бывать! Мне нужно побывать в тех местах и осмотреться! – отчаянно вскричала Магда. Стражники окружили ее, и один из них алебардой указывал ей на дверь. Себастьян перевел ее мольбу, и голос его был наполнен таким же отчаянием. Герцог обратил на нее враждебный и недоверчивый взгляд, но сделал рукой знак стражникам, и они остановились. Он уселся и, прищурившись, пристально рассматривал ее.

– Гм, хотел бы я знать, как ты изготовила эти карты.

– Господин, я поднимаюсь на холмы или на высокие башни, чтобы рассмотреть местность. Я расспрашиваю местных жителей о том, чего не могу сама увидеть. Потом я начинаю чертить...

Сильный удар по лицу прервал речь Магды, как только Себастьян перевел первые несколько слов. Она почувствовала, как теплый ручеек крови потек из рассеченной губы и закапал с подбородка.

– Не смей лгать мне! – прошипел герцог, с отвращением вытирая кулак о пергамент. Он снова уселся и долгое время молчал. Наконец он заговорил – видимо, размышляя вслух, а Себастьян тихонько переводил Магде.

– Она, конечно, ведьма. Она будет лгать и попытается хитростью спасти свою шкуру. Она скажет, что ей нужно побывать в этих городах, но как только она на выстрел стрелы приблизится к чужому владению, она улизнет, это как пить дать. Если бы я знал, как ей удалось нарисовать эти карты, я бы придумал, как сделать, чтобы работать она смогла, а удрать не сумела. Однако если я прикажу ей показать мне, как она это делает, – кто знает, каким колдовством она займется. Она, небось, и летать умеет. Но ведь дьявол бросает этих тварей на произвол судьбы, когда они попадают в наши руки. Ни одной из них не удалось вывернуться... – Он продолжал рассуждать сам с собой, но голос его перешел в невнятное бормотание.

Он снова поднял голову и уставился на Магду.

– Ведьма, – сказал герцог, – я не хочу тратить время на выслушивание твоих лукавых речей. Я хочу, чтобы ты показала мне, как ты делаешь это колдовство с картами. Скажи мне, что тебе для этого нужно. Я расставлю вокруг тебя стражников с алебардами и луками наготове. Если ты попытаешься удрать или навести на меня порчу, они отправят тебя в пекло, расплачиваться с твоим рогатым приятелем, прежде чем ты успеешь сделать еще один вдох.

Магда поняла суть его речи, так что пока Себастьян переводил слова герцога, у нее было несколько мгновений на размышления. Ее единственным шансом на спасение было просигналить Книгоеду, чтобы он узнал, где она, и что она в опасности. Но ведь это и его втянет в опасность. Да, но если он не найдет ее сейчас, то вскоре он заподозрит неладное и кинется разыскивать ее. И тут-то он все равно наткнется на герцога и его стражу, и опасности ему не избежать.

Магда силой воли подавила панику и сосредоточилась на одной мысли: ей необходимо оказаться снаружи и подать сигнал дракону.

Между тем Себастьян кончил переводить и замолчал. Магда

набрала в грудь побольше воздуха:

– Ваше Высочество, я не колдую, но у меня есть особый способ узнавать, как выглядит местность вокруг меня. Для этого я должна быть снаружи, под открытым небом. У меня есть палочки с фитилями, как у свечей. И вот с помощью... – Она собиралась было описать в деталях, как выглядит сигнальная петарда.

– Скажи ей, чтобы она перестала тараторить, – прервал ее герцог. – Мы можем вывести ее в большой внутренний двор у конюшен. Позвать еще стражников! Две дюжины лучников, две дюжины с копьями и алебардами. Пошевеливайтесь!

Через несколько минут Магда оказалась посредине большого двора, мощенного каменными плитками и усыпанного клоками соломы и навозом. Она достала из котомки кусок чистого пергамента, перья и чернильницу, чтобы придать правдоподобность своим приготовлениям. Стражники с копьями и алебардами, расположившиеся у стен двора, и лучники с натянутыми луками, стоявшие на балконах второго этажа, не отрываясь следили за каждым ее движением. Их лица выражали смесь решимости, недоверия и любопытства. Было ясно, что они готовы искрошить ее при малейшем неверном движении. У Магды промелькнула мысль, что если не удастся вызвать Книгоеда, то ей хотя бы гарантирована мгновенная смерть.

Герцог наблюдал за ее действиями из-за толстых дверей одной из конюшен через небольшое окошко. По приказанию герцога, Себастьян стоял снаружи, у дверей конюшни, чтобы при необходимости переводить.

Выложив материалы для изготовления карты, она засунула руку глубоко в котомку и достала коробочку с кремнем, огнивом и трупом и сверток с петардами. Не глядя на окружавших ее людей, Магда почувствовала, как их напряжение и готовность к бою возросли, когда она воткнула в землю странные палочки с фитилями.

С трудом заставив дрожащие пальцы повиноваться, Магда смогла зажечь труп. Она запалила фитиль и запустила петарду. Несколько человек вокруг нее ахнули, когда петарда с шипением взлетела и с громким треском разорвалась высоко над двором. Сполох огня был хорошо виден даже в дневном свете. Один из стражников выпустил стрелу, но, по-видимому, как предупреждение Магде, а не с намерением убить ее. Наконечник задел ее плечо, но только порвал куртку, не поранив тела. Магда вздрогнула.

«Продолжай!» – крикнул герцог после небольшой паузы, и Себастьян перевел его приказ. Магда запустила вторую петарду, потом третью. Она выпрямилась и затаив дыхание всмотрелась в

небо. Достаточно ли яркими были вспышки? Смотрел ли Книгоед в нужном направлении, когда взорвались петарды? И вот, к своему огромному облегчению, она увидела три ответные вспышки красного огня, маленькие на таком расстоянии, но четко проступившие на молочном фоне облаков.

Черное пятнышко в облаках резко завернуло и помчалось к ней с нарастающей скоростью.

Герцог заметил огненные сигналы и приближающийся крылатый силуэт и очень быстро сообразил, что происходит. Он выскочил из конюшни, схватил девушку и поволок ее назад в конюшню, прижав лезвие кинжала к ее горлу так, что на ее коже выступила кровь. В то же время он крикнул Себастьяну, чтобы тот последовал за ним в конюшню и закрыл за собой дверь на засов. Свободной рукой герцог зажал Магде рот, больно прижав ее рассеченную губу.

– Ведьма призвала дракона! Живо, вы, внизу, бегите за стрелами с золотыми наконечниками! Будете целиться в брюхо! На балконах – целитесь в глаза!

Потом он прошипел Магде:

– Если мы пристрелим этого дракона, то ты пожалеешь, что родилась на свет, стерва! Если же нам не удастся прикончить его и ты не уговоришь его убраться отсюда, я отрежу тебе нос и уши и запихну их тебе в глотку, прежде чем эта тварь до нас доберется, чертово ты отродье! Поняла?

Себастьян, открыв рот, смотрел на теперь уже совершенно очевидно драконий силуэт, который мчался к ним, так что герцогу пришлось прикрикнуть на него, чтобы заставить его переводить. К тому времени, когда он закончил и Магда кивнула, Книгоед был уже прямо над головами стражников. Резко накренившись в воздухе, он закрутил спираль спуска, чтобы вместить ее в окруженный каменными стенами двор.

Герцог отнял ладонь от рта Магды и больно завернул ей руку за спину. «Говори! Прикажи ему убраться!»

Не обращая внимания на лезвие, которое глубже впилося ей в горло, Магда во всю мочь заорала на своем родном языке: «Книгоед! Осторожно, лучники на балконах – целятся тебе в глаза!»

– Понял! – проревел дракон.

– Он не может остановиться. Он уже приземляется! – сказала Магда герцогу. Себастьян, задыхаясь, перевел ее слова, в то время как двор заполнился вихрем пыли и соломы, поднятым мощными крыльями.

Дракон был встречен залпом стрел, но предупрежденный Магдой, он, приземляясь, запрокинул голову и прикрыл глаза. Стрелы с золотыми наконечниками на него не подействовали, но несколько железных наконечников впились в уязвимые складки кожи в сочленениях крыльев и тела. Брызнула огненная кровь, дымась и чернея от контакта с воздухом. Но это были не более чем царапины. Дракону удалось приземлиться практически невредимым. Остальные стрелы теперь лишь отскакивали от твердой чешуи его спины. Приземляясь, он обдал двор мощной волной пламени. Несколько стражников теперь с воплями катались по земле, пытаясь сбить охвативший их огонь.

Не обращая внимания ни на этих стражников, ни на тех, кто все еще обстреливал его золотыми стрелами, ни на тех, кто пустился наутек, Книгоед метнулся прямо к конюшне, из которой до него донесся голос Магды. Одним выдохом яростного пламени он превратил в уголь толстую древесину вокруг дверных петель и, сорвав двери с петель, ворвался в помещение. Герцог, вцепившись в Магду и не убирая кинжала от ее горла, поволок ее вглубь конюшни, к сеновалу. Себастьян, следуя за ними, споткнулся и теперь, съезжившись, лежал у их ног.

Книгоед мгновенно оценил обстановку. Стоявший перед ним человек выставил перед собой Магду как щит от пламени. Дракон не мог схватить этого человека: а вдруг тот из отчаянной мести или в панике перережет ей горло. Некоторое время Книгоед и герцог стояли в неподвижности, меряя друг друга ненавидящими глазами. Стражники во дворе тоже застыли, не зная, что им предпринять. Дракон направил свою огнедышащую морду прямо на их господина, повернув к ним непробиваемую стрелами спину. Слышалось лишь фырканье и топот испуганных лошадей.

Наконец, Магда подала голос. «Себастьян, скажите герцогу, что он не сможет обойтись без меня, – произнесла она на латыни. Голос ее звучал ясно и уверенно. – Только я умею говорить на драконьем языке». Она метнула Книгоеду многозначительный взгляд. Зрачки дракона, суженные до змеиных щелок яростью, на мгновение расширились, в них мелькнула молния догадки.

– Если герцог убьет меня, то дракон испепелит его, прежде чем кто-нибудь успеет и пальцем шевельнуть в его защиту.

Себастьян, запинаясь, перевел ее слова. Его лицо, обращенное к ней, отражало смесь ужаса, изумления и облегчения.

– Скажи ему, что у меня есть волшебный талисман, с помощью которого я повелеваю драконом. Я отдам ему этот талисман в обмен на мою свободу. Но ему нужно будет научиться у меня драконьему

языку, иначе от талисмана не будет никакого проку. Когда герцог выучит необходимые слова, он сможет вызывать к себе дракона, ездить на нем куда ему вздумается и заставляя его изрыгать огонь по приказанию.

Лицо герцога было за спиной Магды, но она могла судить о том, как он реагировал на ее слова, по его позе, дыханию и силе хватки, с которой он держал ее. Когда она заговорила, его хватка сделалась еще жестче, чем раньше, а когда Себастьян закончил перевод, дышать ей стало чуть легче – герцог обдумывал ее предложение.

Глава 14. Волшебный талисман

Наконец, не выпуская Магду, герцог переместил свой кинжал, так что теперь его лезвие прижимало ей не горло, а шею у самого затылка.

– Я отпущу твои руки, – прошипел он. – Не вздумай отдавать приказания своему дракону, или я перережу тебе позвоночник. Не делай никаких резких движений и передай мне этот талисман.

– Я должна приказать дракону сидеть не шевелясь. Иначе он схватит талисман в тот момент, когда я буду передавать его вам. В тот момент, когда талисман переходит от одного владельца к другому, у дракона есть шанс перехватить его и разрушить чары, которые заставляют его повиноваться владельцу.

– Говори, – кратко приказал герцог.

– Книгоед, – торопливо сказала Магда на своем родном языке, – я попытаюсь убедить его либо дать тебе улететь отсюда со мной, либо дать тебе унести его отсюда.

Дракон кивнул.

Магда завернула рукав куртки, так что обнажилось ее запястье с золотым браслетом в виде дракона, читающего книгу. Не отпуская кинжала, герцог сорвал браслет с руки девушки и внимательно рассмотрел его.

– Эй ты! Дракон! Поклонись мне! – приказал он на своем языке. Книгоед сделал вид, что ничего не понял. Герцог выругался.

Не убирая лезвия от ее шеи, герцог вышел во двор, толкая Магду перед собой. Между тем на смену бежавшим и получившим ожоги стражникам прибыли новые, так что и двор, и балконы на втором этаже опять были заполнены вооруженными воинами.

– Ты, ведьма!

Герцог ткнул Магду кинжалом. Ноздри Книгоеда раздулись, но он не шелухнулся.

– Как приказать этой твари поклониться?

Магда перевела слово «поклонись» на язык Семи Холмов и повторила его медленно и отдельно. После двух-трех попыток герцог произнес незнакомые слоги довольно ясно. Книгоед, с трудом обуздывая ярость, обернулся к герцогу, подогнул передние лапы и склонил свою голову, увенчанную золотыми зубцами. Из толпы стражников и придворных, которые, набравшись храбрости, наблюдали за происходящим из окон, послышался гул возбужденных голосов.

Глаза герцога засверкали: «Как приказать ему дышать огнем?»

Магда обучила его слову «огонь». Вскоре он освоил и это слово.

– Огонь! – скомандовал герцог, указывая на ряд набитых соломой мишеней, стоявших у стены конюшни. Книгоед, злобно фыркнув, мгновенно испепелил их.

– Как заставить его лететь и везти меня, куда я захочу?

– На то, чтобы обучить вас всему, что необходимо для управления драконом, понадобится некоторое время, – ответила Магда. – Но я могу объяснить ему, что вы желаете, чтобы он прокатил вас, а потом вернул сюда. Я научу вас говорить «вперед!» и «возвращайся», и вы сможете его испробовать.

– Откуда я знаю, что ты не обманешь меня? – беспокоино спросил герцог.

– Передайте талисман обратно мне, и я покажу вам, что команды означают именно то, что я сказала.

– Ну нет, ведьма, так просто я тебя не выпущу.

– Передайте талисман одному из своих людей, и он сможет командовать драконом. Но это должен быть человек благородных кровей и решительного характера. В руках простолюдина талисман потеряет силу.

Герцог обвел взглядом людей, теснившихся в окнах вокруг двора. Очевидно, он не решился доверить хотя бы на время власть над драконом ни одному из придворных. Наконец он отдал приказания стражникам. Потом бросил несколько слов Себастьяну, и тот, запинаясь, перевел, что герцог приказал стражникам сжечь Магду живьем, если он не вернется в целостности и сохранности. Так герцог хотел предотвратить какую-либо уловку девушки, когда она будет давать распоряжение дракону. Торопливо и испуганно Себастьян добавил несколько слов от себя:

– Будьте осторожны! Как только вы научите его всему, что он хочет знать, он убьет вас.

– Я знаю, – хмуро отозвалась Магда.

Три стражника, опасливо поглядывая на дракона, вышли на середину двора и окружили девушку, приставив алебарды к ее шее.

– Скажи ему, – приказал герцог, – что я желаю облететь один раз весь город, а потом вернуться сюда, во двор. И не вздумай схитрить, а то...

Магда научила герцога произносить «вперед!» и «возвращаясь» на языке Семи Холмов, а потом обратилась к дракону. Конечно, он не нуждался в ее переводах. Книгоед, который поглотил немало книг на местном языке, прекрасно понимал все, что говорил герцог, так же как он понимал и все сказанное Магдой и Себастьяном на латыни. Так что Магда использовала этот момент, чтобы сказать дракону совсем другое:

– Когда ты его заполучишь, постарайся заставить его приказать стражникам отпустить меня. Если мне удастся отсюда выбраться, то я встречу тебя на нашей стоянке, у речной мели.

Книгоед кивнул.

– Я передала ему ваше приказание. Когда вы скомандуете ему «вперед!», он схватит вас за плечи и понесет, – объяснила Магда герцогу. – Он так же и меня носил над городами, когда я готовилась делать карты. А когда вы ему прикажете «назад!», он принесет вас сюда.

Крепко зажав в руке браслет, герцог выкрикнул: «Поклонись!», очевидно, чтобы проверить свою власть над драконом. Во второй раз дракон низко поклонился ему. «Вперед!» Дракон оттолкнулся от земли, и взмахи его огромных кожистых крыльев вновь заполнили двор вихрем пыли. Ухватив герцога за плечи, дракон по спирали начал набирать высоту, надежно зажав свою ношу в передних лапах.

Время ползло невыносимо медленно. Магде казалось, что она уже много часов стоит без движения, с алебардами у горла. Но наконец крылатый силуэт с болтающейся человеческой фигуркой вновь возник в небе. Магда, затаив дыхание, наблюдала, как снижается дракон. Но он не приземлился во дворе, а закружился над верхними этажами построек замка.

Голос герцога донесся до стоящих внизу слабо, но четко: «Отпустите девушку. Она сказала правду, – прокричал он. – Я приказываю ей встретить меня у драконьего логова. Заплатите за карту, которую она сделала по моему заказу, и дайте все, что ей нужно для поездки туда. Следовать за ней никому не дозволено. Я вернусь через неделю. Пусть Себастьян управляет всем до моего возвращения».

Тут дракон вошел в крутой вираж, быстро набирая высоту. Еще несколько мгновений, и он уже был высоко в небе. Он был похож теперь на хищную птицу, уносящую в своих когтях безвольно висящую мышь.

Во дворе после короткой паузы поднялся гам пререканий. Некоторые стражники пытались доказать своим товарищам, что приказания герцога звучат подозрительно. Шел спор о том, верить ли им, или же запереть Магду в подземелье и держать ее там, пока ситуация не прояснится.

Но Себастьян решительно пресек прения:

– Вы слышали приказ его Высочества, – выкрикнул он неожиданно звучно и твердо. – Он оставил меня управляющим до своего возвращения. Мы будем послушны ему и сделаем все так, как он приказал.

Услышав уверенные и ясные приказания, стражники, по давней привычке, перестали спорить и повиновались. Они опустили алебарды, и Магда последовала за Себастьяном в большой зал.

– Быстро собирайте все, что вам нужно, и уезжайте, – сказал он ей негромко. – Стражники скоро снова начнут сомневаться в том, были ли приказания герцога его подлинной волей. Он пролил много крови, но его стражники восхищаются им и преданны ему. Они не могут вам простить, что вы вели с ним переговоры вместо того, чтобы ползать в пыли у его ног. Они верят, что вы – ведьма. В любой момент они могут снова взять вас заложницей. Им куда больше по вкусу смотреть, как вас потащат на костер, чем видеть, как вас отпускают на свободу.

– Но что будет с вами, Себастьян?

– Я всего лишь исполняю приказы герцога. Теперь, быстрее, скажите мне, что вам нужно.

Магда кивнула.

Себастьян провел ее в сокровищницу и наполнил несколько кожаных кошельков золотыми монетами и слитками. Магда попросила провизии – крупы, сушеных фруктов, сыра. К недоумению Себастьяна, она попросила также собрать ей книг. Какие странные обстоятельства она выбрала для пополнения своей библиотеки! Однако он не стал терять время на расспросы. Он провел ее в большой зал, где хранились архивы и книги, и помог ей запаковать множество фолиантов. Магда чувствовала себя очень неловко – она присваивала чужое добро. Но девушка понимала, что после всех событий этого дня она долго не сможет заниматься продажей карт или покупать провизию для себя и для дракона в землях на много

миль кругом.

Между тем стражники, повинувшись указанию Себастьяна, привели из конюшни Ласточку и Чайку. По совету Себастьяна Магда также попросила привести одного из верховых коней самого герцога и оседлать его, как будто бы она и вправду собиралась встретиться с герцогом где-то в чащобах. Наконец все было готово. В сопровождении Себастьяна и нескольких стражников, которые недоверчиво и неприязненно косились на нее, Магда выехала из ворот замка. Весть о ведьме, которая призвала на помощь дракона, уже разнеслась по городу. Магда ехала по пустынным улицам мимо домов с закрытыми ставнями. Казалось, город зажмурился от страха перед ней. У городских ворот Себастьян и стражники остановились. «Себастьян, как я могу отблагодарить вас? Да хранит вас Бог!» – прошептала девушка.

– Я не мог бы жить с мыслью, что завел вас в ловушку. Да хранят вас ангелы во веки вечные, Магда, – ответил Себастьян с улыбкой, полной смиренной доброты.

Бедный Себастьян! Магда не догадывалась, что часы, которые он провел в беседах с ней, были величайшей радостью его жизни, и что он сознательно и без колебаний жертвовал теперь собою ради нее.

Магда провела коней по деревянному разводному мосту и двинулась по дороге на север, в направлении драконьего логова. Заночевала она в лесу. Теперь, когда она оказалась в одиночестве, на нее навалился весь ужас прошедшего дня. Она провела бессонную ночь, сжавшись в комок у костра, но все никак не могла согреться.

На рассвете она резко изменила направление, повернув на восток, к стоянке, где они с Книгоедом провели последние несколько недель. К исходу дня девушка нашла стоянку и была очень разочарована, не увидев там дракона. Но все равно тут она почувствовала себя спокойнее – место было для нее знакомое и обжитое. Шалаш из ветвей и холстины, в котором они устроили себе мастерскую, по-прежнему стоял на поляне. Магда напоила лошадей у речушки и стреножила герцогского коня, а Ласточку и Чайку пустила пастись без пут. Она развела костерок и собиралась варить себе кашу, когда услышала знакомый шум кожистых крыльев.

Книгоед приземлился, Магда кинулась к нему и обхватила руками чешуйчатую шею. Наконец-то она ощутила себя в полной безопасности! Они долго не могли заснуть в тот вечер, рассказывая друг другу, что произошло за последние два дня. Теперь, под защитой драконьего крыла, Магда почувствовала прилив гордости, припоминая детали своих злоключений с Рудольфом Великолепным. Она не растерялась и не раскисла в отчаянной

ситуации. Книгоед не скупился на похвалы ее смекалке и с большим смаком описал шок и ярость, охватившие герцога, когда тот понял, что дракон и девушка перехитрили его. «Я хорошо знаю его язык, – заметил Книгоед, – но я не мог понять и половины того, что он сказал, когда до него дошло, что он остался в дураках. Видно, это были не те слова, которые пишут в книгах».

– Так как тебе удалось заставить его отдать все эти приказания, когда ты вернулся с ним к замку?

– Он хоть и мразь, но соображает быстро. Ему не понадобилось много времени, чтобы перестать думать о том, как отправить тебя на костер, и начать беспокоиться о собственной шкуре. Так что переговоры у нас были простые. Я сказал, чего от него хочу. В обмен я дал ему слово чести, что если он исполнит все как надо, то я не сожгу его и не порву на куски. А жаль! У меня нос так и чесался испепелить его. Но пришлось ограничиться тем, что я сбросил его в хорошую чащобу терновника в лесу. Мне хочется думать, что он повстречает голодного медведя. Но боюсь, что это слишком уж радужная надежда. Вполне возможно, что недели за две он доберется до своего замка.

Книгоед бросил злобный взгляд в том направлении, откуда прилетел.

– Да, кстати о его приказах, тебе удалось заполучить у них золота?

Магда показала ему кошель с золотом и мешки с остальными припасами.

Дракон был очень доволен и расхвалил хозяйственность Магды:

– Теперь у нас достаточно и на подарок дракону, и на большой кусок обратного пути. Да и жеребца из герцогской конюшни мы продадим, когда окажемся подальше от этих краев. А раз уж мы заговорили о золоте – вот твой «волшебный» браслет. Только не вздумай заставлять меня опять кланяться, у меня и так шея болит от вчерашних поклонов.



Илья Липкович - родился и вырос в Алма-Ате. В 1985 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «Статистика». В 1995 году выехал в США для продолжения обучения. В 2002 году получил докторскую степень в области статистики в Вирджинском политехническом институте. После окончания докторантуры работал в различных фармацевтических компаниях в качестве специалиста по статистике и опубликовал ряд статей по методам анализа результатов клинических испытаний. Живет и работает в Индиане.

Студенческое

Приняли

В 1981 году я поступил в Алма-Атинский институт народного хозяйства («нархоз»), куда устремлялись в основном люди практического склада. Не то чтобы они собирались сразу начать воровать по завершении учебы, но по крайней мере предполагали иметь какой-то интерес в жизни. Я пошел на самую травоядную специальность – «статистика», на учетно-экономический факультет. Пошел по материнским стопам, она раньше преподавала там на кафедре статистики. Нужно было сдать всего два экзамена в сумме на 9 баллов – это называлось «пройти по эксперименту» (эксперимент для тех, у кого средний балл аттестата выше 4,5).

Я набрал требуемые баллы – получил 5 по математике (письменно) и 4 по истории (устно). На истории не очень внятно ответил про решения одного из съездов партии. Странно, пишу слово «съезд», и оно уже не вызывает такого сердечного трепета, как в те годы. Кажется, просто съезд с основной трассы. Но в те годы «съезды» воспринимались вполне серьезно.

Математика была вторым экзаменом, и пока мы ждали оценки, родители очень переживали, что я могу не набрать 9 баллов – тогда пришлось бы сдавать экономическую географию, к которой я вообще не был готов. Не понимал основных принципов территориально-производственной интеграции и социалистического разделения труда. Например, лес валят на Дальнем Востоке силами биробиджанских евреев, потом везут его на Урал. Там уральские умельцы изготавливают из дерева табуретку, которую везут назад в Биробиджан, чтобы лицо еврейской национальности могло на нее забраться и вкрутить лампочку, произведенную на минской фабрике елочных игрушек. В случае

провала географии пришлось бы сразу идти в армию, так что было не до шуток.

Наконец, результаты были вывешены на огромных листах ватмана на всеобщее обозрение, словно простыни после брачной ночи. Мое имя было в списке зачисленных, а вот девушка, которую я приметил на экзамене по математике, кажется, имя свое не нашла. Я это заключил из того, что она плелась рыдая, поддерживаемая с обоих боков за руки двумя массивными тетками. Я подумал: «Что ты ревешь, дура? В армию тебе не надо, поступишь куда-нибудь в следующем году». Пожалел не ее, а то, что не придется нам вместе учиться. Я уже начал немного фантазировать на эту тему.

Начало учебы

В табаководческом совхозе, куда нас послали сразу после зачисления, я познакомился с другими бывшими абитуриентами, прошедшими по конкурсу и признанными годными для сельскохозяйственных работ. В основном это были приятные ребята, однако с несколько приземленными интересами. Особенно те, кто поступил на специальность «бухучет в сельском хозяйстве», не говоря уже о золотожильном бухучете в торговле, сокращенно БУТ. Я даже сложил двустипшие, которое понравилось и тем, кому удалось попасть на эту бластную специальность, и тем, кому не удалось:

Если пойдешь учиться на БУТ, / Будешь всю жизнь одет и обут.

Помню, еще пользовалась успехом такая моя шутка. Время обеда. Один студент завалился спать, его будят, чтобы идти в столовую: «Скорей вставай, там уже второе едят». Он не реагирует. Я уточняю: «ТВОЕ второе едят». Ничто так не помогает завоевать расположение людей, как вовремя произнесенная идиотская шутка.

В последующие годы на табак нас не посылали, мы ездили на целину – на картошку. Это оказалось гораздо более чистым занятием, чем сбор табачного листа. И кормили там, понятно, куда лучше. Той же картошкой. Девушки занимались сбором урожая, а нас сразу направили на разгрузку машин, привозивших картофель на склад. Имелось некоторое количество самосвалов – эти разгружать было легко, они сами себя разгружали. Но большую часть совхозного автопарка составляли обычные бортовые машины. Как только мы убеждались, что кузов у машины, въехавшей на склад, не поднимется, – хватали деревянные лопаты и запрыгивали с разных сторон на борт, как пираты на торговое судно. Нужно было лопатами, напоминающими весла, выгребать картофель из кузова. Этими же лопатами, как я понял, разгружали и зерно. Работая, я все думал, что зерно кидать было бы гораздо легче: оно сыпучее, а

картофельные клубни – влажные, с комьями приставшей земли, грести лопатой как-то не сподручно. Мои размышления прервал голос бригадира: «У тебя, парень, руки, бл*ть, из ж*пы растут, или ты тяжелее ложки ничего в жизни не подымал?»

На складские работы брали и какое-то количество девушек, они там что-то мели и чистили. Некоторые выражения, срывавшиеся с уст бригадира и складских рабочих, их огорчали. Наконец, девушки предъявили ультиматум: не станут работать, если механизаторы будут продолжать ругаться матом. Говорят: «Мы и слов таких никогда не слышали». Я им заметил: «Если не слышали, откуда тогда знаете, что они неприличные?» В самом деле, откуда? В книжках тогда этих слов найти было нельзя.

Бригадир одобрил мою шутку и стал относиться к нам уважительно. Даже угостил «печенкой». Услышав в первый раз «пошли, печенкой угощу», я подумал: откуда у них печень на картофельном складе? Оказалось, «печенкой» называли печеную картошку. Ею сыт не будешь. В обед мы пошли в столовую поесть нормальной пищи, потом зашли в барак и немного отдохнули. Вернулись на склад часа через два.

Бригадир опять рассвирепел: «министерские у вас, бл*ть, обеды!» Даже совершил небольшой исторический экскурс:

– Эх, при Сталине вас бы сразу за ж*пу и в конверт, – он в те времена подростком на шахте работал. – На десять минут опоздал человек – и все, только его и видели. Бывало, пьяный, все равно на работе как штык должен быть. Тех, кто не мог сам стоять, мы с боков поддерживали, пока головы считали.

Потом мы с ним опять помирились, после того как полночи разгружали несколько машин. Он нас даже поощрил: позвал домой и угостил варениками с картошкой и бригадирской водкой.

Иногда приходилось общаться и с простыми шоферами. Как-то еду в кабине по колдобинам, слева водитель, справа его приятель. Вспоминают, как на выходных гуляли с бабами, пили самогон до отключки:

– Утром просыпаюсь, а Верка говорит: «Спасибо тебе!» Я ей – «За что?» – «Если б не было за что, не благодарила бы». А я ничего и не помню.

* * *

В совхозе бригадир-чеченец поучает:

– Если ты человек хороший, добрый и умный и думаешь о своей выгоде, то должен пропальвать аккуратно, иначе сорняк опять вылезет. А товарищам своим помогать не надо, пускай каждый сам за

себя думает.

Вот так-то, если ты – хороший, добрый и хитрый человек. Решил взять на вооружение.

Тот же чеченец нам рассказывал, как его призывали в армию. Военком спрашивал:

– Веруешь в Аллаха?

– Верую.

– А известно тебе, что Гагарин летал на небо и никакого Аллаха там не видел?

– А он его и не увидит.

На картошке

Вспоминаю одну из моих студенческих поездок в Северо-Казахстанскую область, на картошку. Городские – все достали справки и отмазались от сельхозработ, а я поехал как мудака. В нашей команде собрались в основном ребята-казахи из сельской местности, с низкой толерантностью к алкоголю. Каждую пятницу они напивались и устраивали дебоши с мордобоем, пока не приходила пора блевать на пол и валиться на него, поскользнувшись в собственной блевотине. Утром, когда приходили «преподы» с угрозами отчисления из института, студенты встречали их неизменной фразой: «В первый и последний раз». Продолжение следовало уже на казахском языке с вкраплениями матерных слов на русском, и я не все мог разобрать.

Собственно, преподаватели сами невольно спровоцировали эти пьяные выходки. Дело было так.

В первый же вечер (ехали мы больше суток, сначала на поезде из Алма-Аты в Петропавловск, потом на электричке, потом еще на чем-то до совхоза с ласковым названием «Мамлютка») я простудился ввиду неподготовленности к североказахстанской погоде, и у меня начался жар. Об этом стало известно преподавательскому составу, и помощь не замедлила явиться. Зав. кафедрой планирования и прогнозирования сельского хозяйства, доцент Курмангалиев, добрейшей души человек, принес мне «лекарство». Оно, как и положено, оказалось горьким и было заключено в граненый стакан, о содержимом которого я сразу догадался если не по цвету, то по запаху (несмотря на заложенный нос). Дабы подсластить пилюлю, в другой руке доцент держал банку с горячим чаем, увенчанную блюдцем, на котором лежали щедрой рукой отрезанная краюха белого хлеба и огромный кусок рафинада. Мне было приказано залпом выпить содержимое стакана, закусить хлебом с рафинадом,

запить чаем и сразу же обернуться в два одеяла, чтобы как следует пропотеть. Я, к изумлению доцента, ловко опрокинул стакан в рот, еще не дослушав его инструкцию о том, что делать с остальными ингредиентами, и сразу ощутил разлившееся по всему телу блаженство. По-видимому, лекарство начало действовать. Я закутался в одеяло и уже было поднес к губам банку с чаем, как вдруг вспомнил, что я не один в комнате, и посмотрел вокруг. На меня горящими от зависти глазами смотрели все мои не захворавшие товарищи. Появление в комнате стакана с водкой и ее мгновенное исчезновение произвели на всех ошеломляющий эффект. Каждый с радостью променял бы свое бесполезное здоровье на горькую мою долю. Я с достоинством отпил из банки и широким жестом, не лишенным издевки (впрочем, простительной больному), пригласил их разделить со мной трапезу. Они скорбно посмотрели на меня и тут же, как по сигналу, испарились. Комната вдруг вытянулась в плацкартный вагон, в голове у меня заплясали обрывки недодуманных мыслей, некоторые из них, правда, зацепились за телеграфные столбы, и требовались усилия, чтобы их освободить, а пока я с ними возился, поезд все время куда-то несло, ведь мы не могли стоять на одном месте.

Когда я проснулся весь в поту, веселье в комнате было в самом разгаре. Появление «лекарства» было воспринято всеми как молчаливое благословение руководства лагеря на поход в сельский магазин за водкой. Кроме водки, хлеба, поваренной соли и хозяйственного мыла, там ничего и не было.

Таким образом, моя болезнь и ее излечение привели к резкому и необратимому падению морального уровня коллектива. Вернуть уважение к дисциплине и трезвому образу жизни руководство уже не смогло, как и чем только оно ни пыталось запугать студентов. Напивались они быстро и шумно. Я тоже принимал участие в оргиях, но меру свою знал, вел себя тихо и нетрезвое состояние свое умело маскировал под мыслительный процесс. Поэтому у руководства лагеря ко мне претензий не было, вплоть до самого отъезда. О чем после.

К середине уборочного сезона деньги у нас кончились, и водку покупать стало не на что. Но что-то мои товарищи время от времени пили, втайне от меня. Загадка разрешилась просто. Как-то субботним утром я решил побриться, хотя брить мне было, честно говоря, нечего. Я достал привезенную из дома бритву, еще ни разу мной в поездке не использованную, намылил щеки, тщательно выбрил проблески щетины, и для понта решил освежиться одеколоном. Я видел у одного из моих товарищей большую бутылку с одеколоном – псевдохрустальный сосуд, который замыкался

массивной пробкой, как у графина. Бутыль была протянута мне дрожащими руками, я откупорил ее, щедро налил жидкость в ладонь и начал растирать по лицу. Реакция моих товарищей на этот акт бытовой гигиены была не вполне адекватна: они хором запричитали, замахали руками, отняли у меня бутылку и отчитали за столь легкомысленную расточительность. Я удивился такой жадности, тем более что никто из них, по моим наблюдениям, не брился. А вечером все объяснилось. Ребята собрались кружком и скупой разлили часть содержимого этой самой бутылки по стаканам. Разбавили водой, от чего жидкость превратилась в молочного цвета непрозрачную субстанцию. А я-то наивно думал, что они кумыс пьют по вечерам для поправки распатанного пьянством здоровья. От предложенного мне стакана я брезгливо отказался. И напрасно – лишил себя частицы жизненного опыта.

В день отъезда мы получили расчет, и все напились так, что и моя репутация человека трезвомыслящего, если и не всегда трезвого, подмокла, в прямом смысле этого слова. А начиналось наше путешествие домой славно. Я еще довольно крепко стоял на ногах, и пока мы ехали на вокзал, в электричке поддерживал с двумя молодыми преподами интеллектуальный разговор о латиноамериканской литературе (кажется, говорили мы о Маркесе, которым все увлекались, кто мог достать). Увидев, что я одет не по сезону (из-за чего и захворал в первый день), один из них дал мне на время штормовку. Эту штормовку, как потом выяснилось, я оставил на скамеечке, на привокзальной площади г. Петропавловска, где тихо сидел и блевал, стараясь попадать в специально для этих целей установленную урну. Потом уже помню себя входящим под низенькие своды прокисшего мочой привокзального отхожего места. «Подышать?» – весело спрашивает на ходу застегивающий и подтягивающий штаны веселый пассажир. И доверительно сообщает: «Так ссал, что в ушах звенело!» Я подумал, что все же есть в этом мире своя тайная гармония. По тому, как легко мне удалось справить нужду, очевидно, что верхней одежды на мне не было, а может, я как-то исхитрился управиться, не расстегивая штормовку.

Так или иначе, ввели меня в вагон почему-то уже без штормовки. Почти весь следующий день я искал ее по всем вагонам, где, предположительно, мог ее оставить. Мне повсюду говорили, что видели на мне только минимальный набор предметов одежды, и сообщали некоторые дополнительные подробности моего поведения, от которых хотелось провалиться сквозь землю. Штормовки я, конечно, в поезде не нашел, да и все заработанные мной на картошке деньги тоже бесследно исчезли (вероятно, большую их часть мы пропили еще на вокзале).

Вернувшись в Алма-Ату, я купил на свою стипендию новую штормовку в спортивном магазине «Динамо» и отдал ее владельцу утерянной. Он меня простил, но на интеллектуальные темы заводить со мной беседу побоялся. Так мы и не договорили о Маркесе и его влиянии на нашу культуру.

Перечитал написанное и вижу, что тут обо всем сказано, кроме картошки, на сбор которой нас и привезли. О ней я, может быть, еще вспомню и напишу в другой раз. А сейчас я лучше напишу о том, как мы собирали табак. Кому вообще нужна эта картошка.

Дело табак

Как только нас зачислили на первый курс Алма-Атинского института народного хозяйства, сразу же послали в табакководческий совхоз, километрах в 120 от города. С табаком я и раньше был знаком, но не столь интимно. В школе, после окончания учебного года, посылали на пару недель на прополку. Примерно через неделю я научился отличать табачные листья от сорняка. Это не так просто: в июне листья табака еще не очень велики, и их легко спутать с крапивой.

Но вот в сентябре спутать табак с сорняком уже не было никакой возможности. Перед нами стояли стройные кусты в человеческий рост, покрытые широкими ярко-зелеными листьями. Знай рви, и носи полными охапками к дороге, и вяжи в тюки, и погружай в грузовик. А потом кто-то будет раскладывать листья, и скреплять, и развешивать рядами для просушки, и собирать высохшие листья, и много чего еще делать, покуда табачный лист не превратится в привычные каждому алма-атинскому школьнику сигареты высшего сорта под названием «Казахстанские».

Процесс сбора табачного листа трудоемкий, бесплодный и на удивление грязный. Табачный лист выделяет сок, въедающийся в кожу сборщика даже сквозь перчатки (которых, как правило, не было), и после еще несколько месяцев руки липнут к чему попало.

Сложность сбора усугублялась еще и тем, что рвать табачные листья все сразу с куста нельзя, требуется собирать их по мере созревания, в три «ломки»: сначала верхние, потом средние и, наконец, самые нижние. Смешивать табак разных уровней – тягчайшее преступление и перед совхозом, и перед ни в чем не повинной армией курильщиков. А нормы нам установили высокие – как для местных жителей.

Мы с Игорем Л. сразу решили – хрен с этими ломками, будем дербанить кусты сверху донизу, иначе и полноремы не сможем выполнить. На совхоз нам было наплевать, курильщиков тоже было

не жаль, тем более, как нам сказали, этот табак идет прямо на экспорт.

Таким недостойным образом мы начали свою трудовую деятельность. И не мы одни. Дурной пример заразителен, и скоро половина отряда переняла наш порочный опыт и превратила цветущие плантации в «дискотеку» с торчащими голыми палками на месте роскошных кустов.

«Дискотека» – так выразился главный агроном, когда его привели посмотреть на дела наших проворных рук. Это было единственное печатное слово, слетевшее с его уст.

Было много шума, и в конце концов нас решили показать директору совхоза. К счастью, «самого» не было, и нас (главных зачинщиков и нарушителей, числом около пяти) привели в кабинет к заместителю директора, некому товарищу С.Р.Краснобаеву. Я догадался, что предки его были баи, вовремя переметнувшиеся на сторону Красной Армии. Тов. Краснобаев оказался человеком с огромных размеров животом и мясистым круглым лицом.

– Вот, – грозно сказал агроном, – перед вами, товарищи студенты, второе лицо в совхозе, расскажите ему, чем вы тут занимаетесь.

«Интересно, какого размера должна быть рожа у первого лица, если это – второе», – шепнул я на ухо Игорю, и пока он скалил зубы, незаметным движением подтолкнул его вперед, как главного зачинщика. Сам я скромно встал сзади.

Впрочем, мне и сзади все было прекрасно видно. Я даже заметил, что ремень на брюхе Краснобаева был довольно поношен и имел несколько дырочек, просверленных в дополнение к сделанным заводским способом. По-видимому, ремень был куплен, когда размеры его живота были еще вполне скромными, дырочки пришлось просверлить уже после, и они, как древесные кольца, отражали карьерный рост владельца ремня. С каждым продвижением по служебной лестнице живот рос, а скупость или отсутствие времени не позволяли его обладателю приобрести новый ремень.

Мы постояли с минуту, переминаясь с ноги на ногу, замдиректора нам улыбнулся своей златозубой челюстью и сказал:

– О, студенты, это хорошо, наша смена, приехали из города, значит, помогать нам? Молодцы!

Он явно был не в курсе, зачем нас к нему привели.

Агроном задрожал от возмущения.

– Какое помогать, это – вредители, они нарушили режим сбора

табачного листа, – и тут он коротко объяснил заму, как мы вместо трех ломок обошлись одной.

Зама как подменили, он просто изошел гневом:

– Это что такое, это что за отношение? Что за, *б вашу мать, постановка вопроса, понимаешь ли? Приехали из города, значит, бл*ть, нам помогать? Выгоним вас всех домой, на х*й, из института отчислим, бл*ть, за систематическое нарушение трудовой дисциплины. Так будем вопрос ставить, такая, понимаешь ли, *б твою мать, постановка вопроса. Всё! Вопросы есть?

Казалось, что мат использовался замом сугубо по производственной необходимости, как элемент бюрократического языка.

Тут главный агроном не на шутку испугался: а работать кто будет, еще, чего доброго, зам и в самом деле всех разгонит и отправит по домам. Он наклонился к нему и сказал что-то вроде: ну что же, это студенты, первый раз, они еще исправятся.

Мне это напомнило известную сцену из кинофильма «Кавказская пленница», когда тов. Саахов говорит, защищая Шурика, что «есть ведь еще другая, понимаешь ли, сторона медали».

Зам. директора опять переменялся в лице и расплылся в улыбке:

– Конечно, я и говорю, студенты, подрастающее поколение, приехали помогать нам собирать урожай. Сами ведь, небось, курите? Молодцы! Все сделаем, условия создадим, трехразовое питание обеспечим, по субботам баню, понимаешь ли. Дискотеку в клубе. По-человечески чтоб всё. Такая постановка вопроса. Вопросы есть?

При упоминании «дискотеки» агронома передернуло. Он опять вспомнил о нанесенном ущербе, наклонился к заму и сказал, что убытки серьезные, придется вычесть у студентов из зарплаты.

– И, кстати, в бане они проделали смотровую дырку в женское отделение, а на дискотеке в прошлую субботу достали у местных бражку и напились, устроили драку с местными и сломали в клубе дверь.

Лицо зама опять помрачнело:

– Ах, так это что, бл*ть, – студенты, приехали нам тут беспорядок устраивать, понимаешь ли, на х*й выгнать из института, напишем: систематически пьянство, систематически нарушение трудовой дисциплины. Вот так, бл*ть, будем ставить вопрос. Таким, понимаешь ли, образом. Всё, вопросы есть?

Казалось, в голове у зама работают только две взаимоисключающие программы, одна меняется на другую, как

пластинки.

Агроном опять наклонился к заму и сказал: «Ну это ведь студенты, молодые ребята, на первый раз им простим, а убытки пока спишем, и все».

Зам просиял:

– Вот это правильно, вот молодцы, я и говорю: студенты, приехали к нам из города, помощники, комсомольцы. Наша смена! Вот так, вот таким образом будем вопрос ставить.

На этом разговор с замом закончился.

К табаку мы после этого относились бережно и даже кое-что заработали. Я лично за 40 дней получил 19 рублей с копейками.

ДНД

Еще запомнилось из институтской жизни, как мы дежурили в милиции. Чтобы всем было понятно, кто мы, нам выдали красные повязки, на которых было выведено большими буквами ДНД (добровольная народная дружина). В милиции рассказывали всякие забавные истории. Например, про пенсионеров. Один пенсионер-инвалид раздобыл где-то свиную голову, притащил к себе на пятый этаж (без лифта) и решил ее сварить. В кастрюлю она целиком не поместилась и полголовы торчало. Он варил ее два дня, пока соседи не вызвали милицию – думали, там у него труп. Запах, понятно, шел от той части головы, что не поместилась в кастрюлю.

«Преподы»

Выходит, что самые яркие воспоминания у меня остались от поездок в колхоз и прочих принудительных мероприятий, не имевших прямого отношения к учебе. Однако кое-что могу рассказать и о так называемом учебном процессе.

Помню, сидим с Игорем Л. на поточной лекции по бухучету, особо ненавидимому мной предмету, играем в какую-то не очень азартную игру, вроде морского боя, и вдруг слышим, как наша преподаватель, средних лет женщина, говорит: «... и посылают умирать молодых парней непонятно за что!» Ясно, имелся в виду «ограниченный контингент» вооруженных сил в Афганистане. Не знаю, в какой связи это было сказано, предыдущий ее текст восстановлению не подлежит. Я посмотрел вокруг: кто конспектирует, кто, как мы с Игорем, занят своим делом, кто вообще плохо понимает по-русски. Я подумал, что, может, ее теперь от нас уведут, и тогда не придется сдавать ей зачет. К нашей чести, ни один студент из более чем сотни присутствовавших на поточной лекции

ее не «сдал», хотя, возможно, не раз пожалел об этом во время сессии. Мне удалось сдать зачет с третьего захода.

Еще более, чем бухучет, я боялся и ненавидел «технологии отраслей народного хозяйства». Это была дьявольская смесь химии, экономики и планирования. Преподавала ее женщина, вполне соответствовавшая своему предмету: сухая, лишенная каких-либо понятных нам эмоций, властная и, кажется, незамужняя, она была воплощением производственной дисциплины. Студент, опоздавший на ее лекцию, мог рассчитывать на сдачу зачета в лучшем случае со второго захода. Экзамена по этому предмету у нас, к счастью, не было.

Имени-отчества ее я не запомнил, вероятно от страха, который она внушала. Между собой мы звали ее по фамилии (С-ва). На зачет нас запускали тройками. Я зашел с двумя отличницами, в первой тройке – пропадать, так сразу. Мне в спину смотрели с надеждой глаза обреченных моих аульных товарищей. Они верили, что я могу своей болтовней заработать зачет по любому предмету и, быть может, как-то облегчить и их участь. «Иди первым, у тебя голова, как Дом Советов», – сказал Тулебай. Первой из нашей тройки отвечала Ира П. Она по всем предметам получала пятерки и всегда давала полные ответы, обычно начинавшиеся фразой: «Мы знаем, что...». С-ва попросила Иру привести примеры использования полимеров в народном хозяйстве. Я на всякий случай наострил уши. Ира начала заученной фразой из учебника, намереваясь затем перейти к существу вопроса:

– Трудно перечислить все примеры применения полимеров в нашем народном хозяйстве...

– Если трудно перечислить *все* примеры, приведите несколько, – резко прервала ее С-ва.

Я оценил шутку и рассмеялся. Я вообще ценил хорошую шутку при любых обстоятельствах, свою или чужую. Хотя сейчас я сомневаюсь, может, она в самом деле буквально поняла фразу студентки. Да нет, понятно, она издевалось над чуждой ей культурой «общих фраз». Американец такой скрытый сарказм квалифицировал бы как *dry humor*, ну она и была сухарем. С-ва посмотрела на меня, и я осекся, поняв, что пропал. Американцы называют такой взгляд «поцелуй смерти». Я бы сказал, «как серпом по я**ам». Зачет по технологии я сдал только на пятый раз.

Запомнились лекции по «общей теории статистики» (была такая наука, соединяющая государственную и математическую статистику в одно целое), которую нам читал колоритнейший А.А. Все, кто у него когда-то учился, запомнили из его курса по крайней мере одну

деталь – как он энергично вытирал рукавом пиджака мел с доски. Я помню из «общей теории» гораздо больше, но все равно в памяти доминирует его немного заикающийся, нервно подрагивающий голос, как будто имитирующий не сразу попадающую в петли дверь или иглу проигрывателя, пущенную мимо борозды. Наконец, из нечленораздельного мычания кристаллизуется: «ма-ма-ма-математические свойства средней арифметической!», и пошел стучать мелом по доске, как конь копытцами. Все конспектируют. Согласно общей теории статистики, у средней, помимо формально-математических свойств, были еще и нематематические, содержательные свойства, как измерителя общественных отношений, ибо статистика считалась общественной дисциплиной. Соответственно, велась борьба с буржуазными извращениями, например «огульной средней» (когда, скажем, считается средняя температура у больных в палате). Нужно отдать должное А. А., лекции он читал интересно и разнообразил материал забавными примерами из учебников и из собственной жизни.

Как пример применения статистического наблюдения в быту, мы изучали методы оценки бюджета времени. Требовалось разнести все 24 часа суток на взаимоисключающие виды деятельности. Одна студентка спрашивает: «Как быть, если я смотрю телевизор и вяжу, к какой категории это отнести?». Тут я задаю еще более мудреный вопрос: «А что, если я смотрю телевизор и лыка не вяжу?».

Помню, как я участвовал в олимпиадах по математике среди студентов технических ВУЗов (нематематических специальностей). Сначала я занял первое место в олимпиаде по математике в самом нархозе. На какую тему были задачи, я уже не помню. Олимпиаду проводил доцент кафедры математики К. Б. Это был аристократического вида казах с тонкими чертами, которые несколько портил наметившийся второй подбородок. Он говорил взахлеб и необычайно вкусно рассказывал о самых что ни на есть абстрактных вещах. Например, о равномерной сходимости степенных рядов. Это случается, когда для любого положительного *эпсилон* можно подобрать такой порядковый номер *n*, что, начиная с него, остаток ряда по абсолютной величине будет меньше *эпсилон*, для любого аргумента *x* (*n*, вообще говоря, зависит от выбора *эпсилон*, но должен годиться для *любого x*). Глаза К. Б. светились радостью от того, что *n* всегда сыщется, и кадык под вторым подбородком ходил ходуном. Тут же приводился пример патологической последовательности, когда для любого номера *n* находилась такой коварный *x*, что условие не выполнялось. Молчаливое противостояние между *n* и *x* впечатляло меня даже больше, чем классовая борьба из учебника политэкономии. Как-то К. Б. сообщил

мне, как своему самому способному ученику, тайную мудрость предков: оказывается, в математическом анализе все доказательства строятся на возможности переставить местами предельные переходы.

Когда он готовил меня (в числе других победителей олимпиады в нархозе) к республиканскому туру, то иногда отклонялся от темы и в узком кругу делился иными математическими тайнами, передаваемыми из уст в уста. Например, однажды он показал нам безукоризненно строгое доказательство того, что линия нашей партии – прямая. Каждая точка линии партии есть точка перегиба – стало быть, вторая производная в ней равна нулю, первая производная – константа, а функция – линейна. Впрочем, таких вопросов на олимпиаде не было. Все же в республиканском туре я занял второе место, а вот на всесоюзном туре в Омске выступил довольно посредственно, если не сказать – провалился, но было приятно уже потому, что я оказался среди настоящих математиков. Перед закрытием олимпиады профессор показал на доске решения задач. Это был худой очкарик-интроверт, сухо говоривший в потолок математическим жаргоном тех лет: упрОстить, более общО, комплЕксная. Мел крошился в тонких его пальцах, и на доске белым по черному выстраивались красивейшие комбинации, когда-либо виденные мной наяву. Выдавая поощрительную грамоту, он и в моей фамилии поставил ударение неправильно, впервые назвав меня на американский манер: «Липкович». То был тайный намек на эмиграцию.

Пользовались у нас популярностью лекции С.К. по экономической истории. Густой гривой каштановых волос С.К. напоминал молодого Маркса. Он и сам был убежденный марксист гегелевской закваски, до всего дошедший своим умом, но держался неконформистской линии и иногда говорил вещи, от которых у иного правоверного партийца волосы встали бы дыбом, если бы он забрел на его лекции. Вот он у подиума, поправляет характерным жестом дужку очков и говорит многозначительно: «Все дело в том, что Англия к началу XX века...» – и я забывал, какое тысячелетие на дворе. Заменить его лекцию походом в близлежащую пивную (что я нередко позволял себе с занятиями по другим дисциплинам) было для меня равносильно святотатству. Я тут же представлял себе, как он скажет, наведя на меня колючий свой взгляд из-под толстых линз, что он «всегда халтуру презирал». Я занимался у него в кружке и писал что-то про Кейнса.

Вообще, были свои преимущества в том, что я учился в столь убогом учебном заведении, каким был наш нархоз. Все передовые преподаватели, уставшие смотреть в пустые глазницы будущих

счетоводов и счетоводок, с жадностью набрасывались на меня: заманивали в кружки, привлекали к «исследовательской» деятельности.

Анализ недостатков

Когда я учился на втором курсе института (1982 г.), И. М., доцент кафедры статистики, придумал для меня такой проект: читать наши основные газеты – «Правду» (просто «правду», «комсомольскую» и «казахстанскую»), «Известия» и еще что-то из того, что оставял в почтовом ящике неутомимый советский почтальон, – и выписывать оттуда информацию о недостатках экономического характера, классифицируя их по разным признакам (отрасль, тип, причина, была ли проблема решена, и проч.). Идея заключалась в том, чтобы накопить достаточное количество примеров и потом обработать их методами многомерной статистики: скажем, найти скрытые признаки или выделить устойчивые кластеры. От этого задания веяло здоровым конструктивным началом, отнюдь не диссидентским злопахательством. «Если мы сумеем четко выделить скрытые признаки недостатков, то это будет... ну, я не знаю что, наверное... Государственная премия. Так что, действуй!» – сказал И. М. и заспешил на лекцию.

Я взялся за дело с энтузиазмом и стал регулярно просматривать газеты, к чему раньше привычки не имел. В нашей семье чтением газет занимался главным образом отец. В детстве мне даже казалось, что это и есть его основная работа. Отец научил меня правильно читать газеты, объяснив, что любую статью, независимо от содержания, начинает изучать со слов «Вместе с тем ...», пропустив первые два-три абзаца. Вскоре у меня накопилась целая папка вырезок. Людям, обвиняющим меня в склонности к критиканству и цинизму, следует спросить в первую очередь с И. М., столь неосмотрительно спустившего с цепи, по-видимому, всегда дремавшего внутри меня критикана и циника. Хотя сам И. М. таковым не был и искренне верил, что наша работа поможет делу строительства развитого (как тогда говорили) социализма. Тем не менее, сбор и классификация недостатков не могли не настраивать на циничный лад, и вот почему.

Первый крупный улов недостатков пришелся на конец брежневской эпохи. Типичная статья об экономической проблеме, скажем в «комсомольской правде», писалась добросовестным корреспондентом, который приезжал на какую-нибудь йошкар-олинскую обувную фабрику имени Клары Цеткин, чтобы выяснить причины дефицита данного вида продукции (статьи о «причинах

дефицита» составляли подавляющее большинство публикаций). Это был не просто журналист-болтун, а человек серьезный, перед командировкой досконально изучивший технологию производства обуви. Директор фабрики объяснял, что причиной плохого качества является отсутствие кожи, и корреспондент ехал на кожевыделочную фабрику имени Розы Люксембург, в какую-нибудь тьму-таракань, там ему жаловались на дефицит и плохое качество станков по переработке кожи, и он ехал к поставщикам станков. Те жаловались на перебои с электроэнергией. По мере продвижения от изготовителей предметов потребления к производителям средств производства технологический жаргон сгущался, и для понимания статей приходилось лезть в справочники. Дело кончалось обычно тем, что иссякал запас командировочных, отпущенных редакцией на решение проблемы дефицита, а вместе с ними и энтузиазм корреспондента. Потом я прочитал в одноименной книге венгерского экономиста Яноша Корнаи, что «дефицит» – это имманентная проблема социалистической экономики, которая как насос выкачивает все ресурсы. Но корреспонденты не имели возможности ознакомиться с этой книгой, изданной у нас уже в годы перестройки. Не знали об этом и мы с И. М.

Считалось, что причины дефицита – в плохом планировании и недостаточном внедрении прогрессивных технологий. В каждом конкретном случае были свои конкретные причины, требовавшие специального языка, изобилующего технологическими терминами. Поиск самой первой причины и порождал бесконечный спуск по цепочке поставщиков и недопоставщиков, пока корреспондент не оказывался у разбитого корыта. Дефицит проваливался в лисью нору, ускользая от охотника, и тот возвращался в редакцию с обширными материалами, но без окончательного решения, что же нужно делать.

И вот Брежнев умер после двадцатилетнего своего царствования, а вместе с ним вымер и технократический язык газетных статей. Пришел Андропов, и причиной всех недостатков объявили плохую дисциплину – явление не технологического, а морально-политического плана. Я как раз был на зимних каникулах и временно перестал читать газеты. Вернувшись к нашей действительности, я ее не сразу узнал.

Когда я возобновил чтение газет, то с горечью отметил, что статьи дотошных корреспондентов про «пиковые нагрузки» электростанций с подробным описанием характеристик турбин исчезли. Новые корреспонденты (а может, это были те же самые) соловьями заливались о праздношатающихся гражданах, которые, вместо того чтобы работать, шляются целыми днями по магазинам и

парикмахерским в поисках сами не зная чего, искусственно создавая дефицит.

Мы с И. М. были огорчены тем, что проект наш, очевидно, зашел в тупик. То, что само резкое изменение тона публикаций о недостатках было интересно и могло послужить объектом изучения, как мета-характеристика системы, нам в голову тогда не пришло, и это даже хорошо. Потому что описывать этот феномен как бы «со стороны» уже было бы диссидентством. Оруэлловский *doublethink*, какими мы все тогда были, таких изменений не замечает, колеблясь и изменяясь «вместе с линией партии».

Через несколько лет, вернувшись из армии в самый разгар перестройки, я нашел свою студенческую тетрадку с записями о недостатках и с удовольствием перечитал. То, что я там увидел, находилось в разительном контрасте с новыми, перестроечными публикациями. В современных публикациях язык был не технократическим, а социально-экономическим. Тон задавали Гавриил Попов и Юрий Афанасьев. Писали об административно-командной системе, о том, что дефицит есть неизбежный признак и призрак социализма, иногда даже не ссылались на западную литературу (скажем, на книгу того же Корнаи). Однако многие шли гораздо дальше Корнаи, доказывая, что социализм – это экономически абсурдная структура, наподобие изображенных на эшеровских картинах; что планирование в рамках социалистической экономики невозможно в принципе, и непонятно, как социализм вообще просуществовал в нашей стране более 70 лет. Да его и не было вовсе. Писали (во всех газетах и журналах, вплоть до «Юного натуралиста»), что нужно начать с рынка потребительских товаров раскручивать спираль экономики, и тогда дефицит исчезнет, возникнут новые деньги, обеспеченные реальными товарами и потребительским спросом, и все очень быстро войдет в норму, как оно и имеет место во всех развитых странах. Было ясно, что через год-другой после того, как падут колдовские чары социализма, мы перейдем от недоразвитого социализма к развитому капитализму, а там уже и до коммунизма недалеко. Только теперь его называли как-то иначе.

Кто же отнесет нас на своих плечах в развитой капитализм? Народ-то у нас сам не побежит, если кнутом не погонишь. Вот, говорят, есть у нас наиболее активная и предприимчивая часть населения, которую держали в лагерях и тюрьмах за экономическое, якобы, мошенничество в особо крупных. На них вся наша надежда. То, что речь идет о мафиозных структурах, ни Афанасьеву, ни Попову в голову тогда не приходило.

Первый диссидент

В студенческие годы я был правоверным советским человеком. Дома у нас диссидентская литература не хранилось и «разговоры», выходящие за рамки анекдотов про Ленина, Сталина и Брежнева, не поощрялись. Среди наших знакомых откровенных антисоветчиков не наблюдалось или же они были хорошо замаскированы.

Правда, однажды к нам домой зашел школьный приятель отца, некий Миша, приехавший за какой-то нуждой в Алма-Ату из Москвы. Маленький человек с брюшком и детским выражением на круглом лице. Уже не помню, как начался разговор, видимо, с воспоминаний об общих приятелях. Вдруг отец спросил полушутя:

– Ну что же ты, Миша, не уезжаешь в Израиль?

– Потому что меня не пускают, – неожиданно серьезно, даже с надрывом ответил Миша.

Я был потрясен, впервые в жизни я видел человека, который не просто был недоволен положением дел, но хотел покинуть, чтобы не сказать предать, Родину. Отказаться от родного, теплого, обжитого – с очередями за дефицитом и анекдотами о нем, рассказываемыми в той же очереди. Оказалось, что Миша был математик и работал в закрытом учреждении. После того как он подал на выезд в Израиль, его уволили с работы, но разрешение на выезд не дали.

Отец сказал приятелю:

– Ну, чего же ты ждал? Государство наше как русская женщина – если ты от нее ушел, она тебе этого никогда не простит.

Уличные разговоры

За свою жизнь мне много о чем приходилось беседовать с самыми разными людьми. Большая часть этих разговоров улетучилась из моей головы, сейчас затрудняюсь даже примерно сказать, о чем говорили. Врезались в память короткие беседы с людьми, ранее неизвестными, случайно подвернувшимися на улице, в общественном транспорте или в бесконечных очередях. В какой-нибудь Америке редко случается, что с тобой заговорит совсем незнакомый человек, если только это не является частью формальной бизнес-процедуры, скажем, официант, мастер в парикмахерской, дантист или судья при вынесении тебе приговора. Впрочем, у последних двух типов есть явное преимущество перед собеседником, которому они всегда могут заткнуть рот. А в совсем неформальной обстановке обращение к тебе незнакомого, даже с такими тривиальными для постсоветского человека вопросами, как «где вы это брали?» и «который теперь час?», маловероятно и

заставляет усомниться в психическом здоровье вопрошающего. Бывает, конечно, что тебя остановит нищий и попросит точную сумму, скажем 2 долл. 35 центов, не хватающую на покупку билета домой (где он, судя по внешнему виду, давно не был).

А вот на бывшей родине со мной и моими близкими часто заговаривали незнакомые люди, будучи вполне в здравом уме, хотя и не всегда трезвом. Вероятно, это объяснялось скудостью нормальных каналов, по которым можно было обратиться за помощью и советом.

Однажды, когда я был классе в четвертом, бабушка вернулась с базара, куда она ходила за свежим сазаном для фаршированной рыбы, необычайно взволнованная. Я спросил, неужели ее опять пытались обвесить или вместо сазана всучить толстолобика? Она сказала – нет, «сазанчик крупный и свежий, чтоб я так жила, вот сам понюхай и потрогай, какая у него чешуя». Оказывается, на обратном пути ее остановила одна женщина, высмотрев острым глазом в толпе:

– Скажите, вы еврейка?

– Да, а в чем дело?

И женщина рассказала, что ее дети собрались эмигрировать в Израиль и тянут ее с собой. Она же не знает, как правильно поступить. Надо сказать, что лучшего специалиста по данному вопросу, чем моя бабушка, найти было нельзя, по крайней мере в нашем городе. Она была старым членом партии и мигом прочистила женщине мозги. Кроме стандартной агитлитературы в бабушкином арсенале была и многолетняя подшивка журнала «Советиш геймланд» («Советская родина»). Там в каждом номере публиковались душераздирающие истории бывших советских евреев, соблаздившихся нелепыми сказками о легкой жизни на земле обетованной и попавших в лапы беспросветной нужды. Бабушка пересказала некоторые из последних историй и закончила так:

– Не думайте ехать! Вы там никому не нужны. Чтоб я так жила!

Не знаю, воспользовалась ли добрая женщина бабушкиным советом.

Пока я был мал, ко мне, понятно, никто за советом не обращался. Но когда я окончил школу и поступил в высшее учебное заведение, расположенное на краю города, созрел для серьезных разговоров в уличном формате. Каждый день я тратил полтора часа на дорогу, часть которой была пешей, а часть – троллейбусно-автобусной. Хотя обычно я пытался читать в общественном транспорте, люди как-то выделяли меня из общей массы, вероятно, приняв мой мечтательный взгляд за признак человека участливого и способного войти в

положение. Ведь системы *counselling* (консультации психолога) в бывшем СССР, кажется, не было. По крайней мере, в нашей студенческой поликлинике ее точно не было. Да и кто бы стал туда ходить? Наибольшей популярностью пользовался кабинет, рядом с которым висел плакат, изображающий шпагу, напоминавшую шашлычный шампур, с нанизанными на нее сердцами. Под рисунком было написано: «Связи случайные, результаты печальные». У плаката всегда толпилось много народу. Я же, прочитав надпись на плакате, проходил мимо. Девушки меня не любили. Заговаривали со мной люди совсем другого типа.

Как-то меня остановила при попытке сесть в автобус пожилая (на мой тогдашний взгляд) женщина. Она как-то вдруг, как это бывает во сне (или в романах Достоевского), материализовалась, выйдя из переулка, и сразу обратилась ко мне за сочувствием. Суть дела заключалась в том, что у ее дочери, восемнадцати лет от роду, был ум трехлетней девочки. Мать говорила, что держит ее взаперти, чуть ли не на привязи, как собаку, но иногда, как вот случилось сегодня, она убегает из дома, и тогда любит, «намазавшись», прогуливаться мимо ограды расположенной рядом воинской части. Солдаты заманивают ее печеньем и конфетами, договорившись с патрулем на КПП. Лицо старухи (сейчас я думаю, что ей было лет 45) выражало скорбь человека, которому больше некуда пойти. Ведь она уже обращалась даже к командиру части, но все бесполезно. Я вспомнил, что и сам не раз, проходя по дороге в институт мимо ограды воинской части, встречал ее дочь, привлекавшую мое внимание бесформенным сложением и странной дисгармонией между вечно улыбающимся открытым ртом и недобрый взглядом немного косых глаз. Солдаты смеялись ей из-за ограды, ласково звали по имени и делали откровенные предложения. Та кокетничала с ними как умела. Я слушал женщину, не перебивая, пока она не выговорится, пропустив по крайней мере три автобуса. Иногда она прерывала рассказ, чтобы вытереть глаза. До встречи с матерью разговоры ее дочери с солдатами через прутья решетки казались мне забавным и мимолетным фоном городской жизни.

Одно время занятия у меня были во вторую смену и возвращался домой я затемно. Однажды я ехал в автобусе с преподавателем экономической истории, С. К., его пара была последней. Я считал его чем-то вроде бога, сошедшего на грешную землю. К тому же он был похож на моего другого тогдашнего кумира, Карла Маркса (когда он был еще безбород). Возможность личной беседы с ним, хоть бы и на задней площадке автобуса, уже была окутана восторгом и тайной посвящения в высшие миры. Сейчас уже трудно сказать, о чем мы с ним тогда говорили. Вероятно, о перспективах государственного

регулирования в Американских Штатах. Тут С.К. обратил внимание и на убогую нашу действительность. Сзади двое подвыпивших мужчин – прилично одетых, в плащах, из которых торчали шелковые шарфики, и в меховых шапках, несколько сползших с их вспотевших голов, – пытались выломать чем-то мешавший им верхний поручень. Плохо приваренный конец его отстал от стойки, когда они оба, по пьяной доверчивости, повисли на поручне. Это, по-видимому, их и разозлило. А может, они полагали, что, выламывая поручень, помогают движению автобуса. Увлечшись, они готовы были снести и стойку. Но это оказалось им не под силу. Вдруг один из собутыльников решил, что ему пора выходить, и оставил своего товарища. Тот успокоился и стоял у окна, тихо покачиваясь и чему-то улыбаясь. Мне показалось забавным, что С.К. мог вообще тратить свое внимание на обитателей низшего слоя жизни, каковыми были эти разгулявшиеся. Да он и не тратил, только заметил с усмешкой, что вот они собираются разломать на наших глазах автобус, и продолжил разговор о важном. К сожалению, он жил где-то на полпути от института до моей остановки, и разговор наш не мог продолжаться бесконечно. Когда С.К. вышел, человек у окна обратил на меня внимание. А может, он уже давно обратил, и только ждал случая, когда я останусь один, чтобы со мной заговорить.

– Нажрались с Маратом до ус**чки, – весело сказал он, как человек, не зря потрудившийся и теперь с гордостью оглядывающий плод своих усилий.

Я не был расположен к разговору с ним, но мне все же пришлось выслушать историю о том, что и в какой последовательности было употреблено. Вышел он почему-то вместе со мной, и пока мы шли, оживленно жестикулировал, но мне казалось, что он только открывает рот, слов его я не слышал, в голове у меня все еще царил С.К. – с его верой в необходимость регулирования американской экономики. Когда мы оказались около моего дома, пришла пора прощаться.

– Ну, я пошел.

– Куда?

– Вот мой подъезд

Мужчина громко и как-то театрально расхохотался. Плащ у него распахнулся и шарфик развевался на шее.

– Врешь! Здесь ты жить не можешь!

– Могу.

– Иди, а я буду ждать, и если ты соврал и сейчас выйдешь, я тебя отп**жу.

Я прошел в подъезд, достал ключ и начал открывать дверь. Почему-то я не сразу смог попасть в скважину. Он стоял в проеме входной двери в подъезд, словно часовой, но слегка покачиваясь. Увидев, что произошла заминка, он опять театрально расхохотался и даже зачем-то снял шапку, оголив черные волосы с благородной проседью. Я, наконец, открыл дверь, вошел в квартиру и захлопнул за собой дверь. Спутник мой не сделал попытку проследовать за мной, окаменев от удивления, что ключ подошел к замку. Я видел из окна, как он прохаживался у подъезда, дымя сигаретой. Некоторое время он ждал, потом ушел. Я так и не понял, что ему было нужно.

Припоминаю еще один любопытный *small talk* (как говорят американцы) по дороге домой. В полупустом автобусе ко мне подошел мужчина с испитым заговорщическим лицом, одетый то ли в телогрейку, то ли в пальто, по фасону напоминавшее телогрейку. На пальцах у него синели татуировки. Выглядел он так, будто только что из тюрьмы. Как это часто бывает, первое впечатление оказалось верным. Он рассказал мне немного о том, как ему жилось на зоне, я слушал, не перебивая, чтобы как-нибудь не рассердить его бестактным вопросом. Но тут он сам задал вопрос:

– Как ты думаешь, я пацан или мужик?

Я решил, что на пацана он точно не похож, скорее мужик, хотя вид у него был несколько опущенный.

– Мужик, – сказал я, и по неожиданно злобному блеску в его глазах понял, что ошибся.

Когда я вышел на своей остановке, он проследовал за мной. Оказавшись на морозе, он подобрел и как-то по-собачьи смотрел на меня, оскалив редкие зубы и пытаясь застегнуть несуществующие пуговицы куцей своей телогрейки.

– Пойдем, – вдруг сказал он с мрачной решительностью и попытался взять меня под руку. Другой рукой он показал в сторону подворотни.

– Зачем? – спросил я и осекся. Огонь вожделения плясал в желтых его зрачках.

Я отказался и, удаляясь, еще какое-то время слышал, как он ругал меня словами, многие из которых я не понимал.



Анна Мазурова - переводчик, прозаик, автор «Словаря молодежного сленга» (1989), романа «Транскрипт» (2014), сборника «Пока мы ждем» (2016), в который вошли рассказы, ранее печатавшиеся в журналах «Знамя», «Октябрь», «Новый мир», в «Антологии странного рассказа» и в альманахе «Страницы Миллбурнского клуба».

Прокуратор

- В такую жару? Да нет, я вряд ли. Впрочем, может быть, если станет лучше...

Горели торфяники и лучше не становилось, температура была сорок градусов, стоял желто-серый непроницаемый смог, такой, что не было видно домов на другой стороне улицы, телевизор острит: «Москвичи сейчас живут по принципу – что вижу, тем и дышу», – и телезрители острит в ответ: «А что, мы когда-то жили по другому принципу?» Я возила детей на Царицынские пруды, где у воды создается иллюзия, что как-то легче, лежали на траве, я рассказывала детям, как московские хипы праздновали в Царицыно 1 июня, Международный день защиты детей, и всех повязала милиция, – а вокруг шли сплошные свадьбы, даже шафер с корзиной голубей (оказалось, старинный обычай – на свадьбу выпускать голубей; много русских обычаев там завелось за время моего отсутствия).

- Ну, я не знаю, может попозже... – тянул время Л.

Глубокой ночью (чтоб легче дышалось, но было не легче) сидели с подругой в саду «Эрмитаж». Петровка в открытых воротах клубилась туманом, дымом и гарью, сквозь которые проступал новый золотой купол церкви – ее раньше не было. (Мы пытались ее разыскать, но не обнаружили подступов.) К нам приставали: «Не скучно сидеть вам, девчонки?» «Смотри-ка, мы снова девчонки!» – сказала подруга, моя одноклассница (она живет во Франции, поэтому и не знала подходов к церкви, хотя выстроили эту церковь практически напротив ее кухонного окна). «Так и туман-то какой, – не обольстилась я. – Как в бане! Согласись, именно в бане нас за девчонок не примут».

- Я бы, может, и встретился, только вам будет поздно – в одиннадцать я должен делать маме укол... – все увливал Л.

На даче у другой подруги было так же мучительно, как в городе. Может, даже мучительней – оттого, что через дорогу – река Пахра, а подойти к ней, как в детстве, нельзя: частная собственность. Это было похоже на анекдотический блог: «После войны у нас было два пожарных прудика, пожарная машина и рында, а теперь прудики засыпали, чтоб землю продать и застроить, машина пропала и рында пропала». Ответ: «Беспрецедентно оно ощущается лишь потому, что такая жара зарегистрирована в Москве впервые за последние 140 лет, а на самом деле все это нормально». Когда я тащила детей на подругину дачу, все с пристрастием выясняли направление – на юг, на север, на запад? По ветру. А то и ехать туда бессмысленно. Медведев выступил с инициативой, как все это решить: переименовать милицию в полицию.

Любой на моем месте давно бы сдался, но я все же вытащила Л. на прогулку – мне что после одиннадцати, что вместо, и в Москву я приезжаю раз в год. Сразу же, у памятника Пушкину, я вежливо поинтересовалась, как себя чувствует мама. Он приоткрыл было рот, но вдруг спохватился:

– Вы что, хотите, чтобы я жаловался? Это я делаю профессионально, за деньги. Вы же мне денег не заплатите?

Нет, на «Эхо Москвы» он больше не ходит. Невыносимо. А впрочем... Рано или поздно придется вернуться: слушать выступление Л. в пять часов – единственное развлечение мамы.

Мы взяли такси, чтобы созерцать эту чуму с Ленинских гор, и в такси я боялась, что он, как всегда, ляпнет что-то такое, за что таксист выкинет нас из машины, а может, и морду набьет (такой случай у нас уже был лет пятнадцать назад, когда мы возвращались от американского коллеги и слишком взволнованно обсуждали свою публикацию в чикагском альманахе "*Soviet Sociology*"). Вокруг высились неразличимые груды домов, смерчем из-под колес завивались неузнаваемые переулки, фонарный свет плыл, как разлитое молоко... Л. сказал:

– Хорошо бы, это продолжалось подольше.

Я покосилась на таксиста.

– Вот вы едете – вы можете понять, какой это город? Где вы? То-то и оно... Вот так бы и продолжалось, как в футуристическом фильме: город, который мог бы быть и Лос-Анжелесом, и Парижем... Нигде.

Но таксист нас не зарезал. Университет изменил свой масштаб оттого, что вокруг уже не было точек отсчета, теперь он казался вратами, а не трехбашенным высотным зданием – два сфинкса с

лапами, гривами, звездами глаз, а между ними – огромный провал в никуда. Повернувшись спиной, перегнулись через парапет.

– Нет, это не так, как я надеялся. Я-то надеялся, – Л. простер руку, – тьма накрыла ненавидимый прокуратором город... А там почти все видно. (Сквозь пелену прорисовывалось движение автомобилей и скопления огоньков.)

Мы дошли до церкви, бурно дыша черной гарью, спустились и сели на камешек где-то на склоне. Я спросила, как ему мой роман, – прошлым летом я привезла рукопись. Он замаялся.

– Да вы не тушуйтесь. Мне уже столько гадостей наговорили, что вы вряд ли их переплюнете.

– Спорим, что переплюну? – равнодушно спросил он.

Мне пеняли, зачем я пишу от мужского лица, зачем нет сюжета (неправда! он был!) и зачем ничего невозможно визуализировать – как прохладу царицынских вод посреди пепелища. Зачем мне понадобилось еще мнение Л., когда и так все было ясно?

– А спорим, что переплюну? Я не прочитал.

Чего другого я ждала? И в лучшие времена, когда мы привозили статьи ему домой – все-таки он был наш начальник, – он говорил: «Ну давайте сюда ваше говно, я потом посмотрю», – и кидал куда-нибудь за батарею. Что он за год не прочитает (и даже не вспомнит, куда положил, а то просто тогда же оставил в такси), было вполне предсказуемо, но переплюнуть он всех переплюнул: из тех, кому в прошлом году я дала эту рукопись, половина тоже ее не читали, но так бухнуть в лоб не посмели бы, а рассуждали, что «местами лихо, но комнаты, в которых там у тебя происходит, невозможно себе представить».

– Не обижайтесь, ведь в этом нет ничего личного. Я вообще ничего не читаю.

Мы стали двигаться, словно поплыли в угарном месиве, в направлении Ленинского проспекта... И как же вы живете, раз книжек вы не читаете, не пишете, не ходите даже на «Эхо Москвы», не депутатствуете больше в Думе («для этого во время выборов надо ходить по домам и обманывать старушек, а мне надоело обманывать старушек»), не ездите с сыном в Европу, справедливо полагая, что теперь он взрослый и ему скучно с папой? То есть, даже не «как вы живете», а что вы – целыми днями – делаете? Объясняет, что все одежды теперь уж хотелось бы снять – пусть внутри не окажется кочерыжки («уже не обольщаюсь»), хотя бы все снять, одну за другой... Надоело и больше не надо...

– Что у вас всех за монополия на «надоело»? И мне надоело!!! –

кричу я, но с тремя восклицательными знаками, это меня выдает.

- Нет, вам надоело не так. Вы помните тему диссертации Арамиса?

Какая там диссертация Арамиса! Конечно, не помню, да и кого это тогда интересовало? (Не оттого ли я до сих пор продолжаю читать, что голова у меня не забита таким старьем?) Я только дома проверила с точностью, о чем Арамис вел беседы в Кривкере с настоятелем Амьенского монастыря. Арамису, конечно, было жалко уходить из мушкетеров, и свою богословскую диссертацию он собирался написать о том, что удаляющемуся от мира все же пристало испытывать некоторое сожаление, иначе какая это жертва. Только сейчас я смогла оценить, что *Crève-Cœur* по-французски – Душераздирающий. «Ваша диссертация будет пользоваться большим успехом у дам», – с досадой говорит аббат, и глаза Арамиса вспыхивают: «Дай-то Бог». «Дьявол еще силен в вас».

- ...Мне тут позвонили, предложили издать двухтомник. Я отказался...

- Да как же?! – вышло опять с восклицательным знаком.

- Да так. За всю жизнь я не сказал ничего своего. Научился ставить рядом слова. Научился сравнивать мысли, взятые в разных местах. Кому-то они, вероятно, покажутся оригинальными, но я-то точно знаю, где я их взял. Всей моей заслуги там было – поставить их рядом. Все это где-то в компьютере есть, и напоминание это противно, тем более я не хочу, чтоб на полке стоял двухтомник и суммировал мою жизнь – вот и все, что я был, что я сделал... Не надо.

- Подумайте о других! – вскричала я слишком напыщенно, но вполне искренне. – Мне иногда так хочется с вами поговорить, просто голос услышать, и что мне за дело, чьи там мысли и даже – какие. Голос-то там только ваш... Как еще люди могут остаться в пространстве, во времени? Что это в вас за смирение, что за дурацкая скромность...

- Это не скромность, – скромно сказал Л. – Это уже вторая стадия гордыни. Когда я писал за Гайдара книжку, я там все написал, собственно, что хотел. И что же? Нет, то, что она вышла как книжка Гайдара, меня не смущает, – даже лучше. Как будто весомей. И все равно там не было ничего, имеющего ценность или впервые сказанного именно мной... Я по-прежнему пишу статьи, когда мне их заказывают, исходя только из двух соображений: во-первых, раз они рвутся мне заплатить, то пусть получают то, чего это стоит, а, во-вторых, если, допустим, я откажусь, то напишет кто-то другой, и еще хуже...

Мы остановились у памятника, утопленного вглубь домов. Оказалось, что это памятник Косыгину. И проспект Косыгина. И мемориальная доска. Вокруг памятника был садик, за ним домик с дивными евроокнами, еврозанавесками и евросветильниками (по Жванецкому, «даже у лошадей какие-то не наши морды») – кто же теперь обитает так славно в особнячке с мемориальной доской? Л. равнодушно пожал плечами:

– Вот-вот. Чтоб быть журналистом, нужно иметь либо пафос – а это, конечно, постыдно, – либо злость, – он ткнул пальцем в табличку, – а это у меня уже злости не вызывает.

Мы остановились на площади. Площадь эту я то ли не знала, то ли в тумане не узнавала. Там было просторно и светло «как днем» (тот же желтый туман, что и днем). Было уже непонятно, рассвело ли, брать ли такси; не было ни усталости от ходьбы, ни обязательств куда-то спешить, ни смысла продолжать законченный, в общем-то, разговор, законченную, в общем-то, прогулку... Но я не выдержала и стала рассказывать, что мой роман не желают печатать – только за свои деньги, и как это унижительно, как... как норковая шуба: пусть будет книжка на полке, она мне пойдет. (С обидой вспомнила баню – там нас уже не принять за девчонок...) Все равно что платить жиголо за любовь... Но если вам мало двухтомника, чтобы суммировать жизнь, что же еще остается? Зачем тогда все? Что же у нас еще есть?

– Да бросьте вы, – сказал Л. – Кто за вас этот роман прочитает? Вы можете честно его прочитать и понять, есть ли там что-то такое, что вы не написали? Что вы сами сделали? Тогда можно и напечатать – и даже неважно, вам ли за это заплатят, вы ли за это заплатите. Важно не это, в конце концов.

Я осторожно спросила:

– А сколько должно быть таких... праведников? Десять? Или хотя бы один?

– Хотя бы один. Но по-честному-то вы способны?

Я услышала о своей книге единственное, что хотела услышать, – от человека, который ее не читал, – и потом в благодарность отправила Л. письмецо. И получила ответ, очень трогательный: «Я тоже вспоминаю романтическую прогулку в туманах как одну из приятных вещей. Перед Вами мне хотя бы хотелось вы***ваться – это бывает так редко. А в полном тумане живу и сейчас. Смешно: дожить до таких лет и не понимать НИ-ЧЕ-ГО, кроме элементарных стереотипов и ритуалов, которые, впрочем, и понимать-то не надо – достаточно повторять. Ваш Л.Р.»

Staroměstský Orloj



О., красивая девка в сиреновой куртке, разочарована, как обветшало Шереметьево-2. Впрочем, у нее всегда такое лицо – будто всякая награда на стадии попадания к ней в руки уже сильно б/у, даже курить внутри больше не полагается (среди иностранцев не модно), и О. курит в тамбуре между дверями (на улице слякоть и дождь). Трусливо ежась под взглядами теток из группы (автоматическая дверь сломана, внутрь проникает табачная вонь), к ней присоединяется А., совсем девчонка; тут же за ней протискивается очаровательная пухленькая Э. и оборачивается от другой стенки тамбура еще одна женщина, И., с грубой, как обожженной или обмороженной, кожей лица, но тоже из их, выясняется, группы. Все без шапок, и черные волосы Э. благоухают сквозь дым чем-то сладким, восточным; они чрезвычайно довольны собой и друг другом: для всех, кроме Э., у которой родственники в Польше, это первая зарубежная поездка, пока в соцстрану, но всем нужен трамплин, они молоды, О. только что диссертацию защитила, привлекательны каждая по-своему, даже И. с грубой кожей и подбритой шеей (зато из нее просто прет сибирская хватка и мощь), даже А. с обгрызенными ногтями, хоть пока не умеет следить за собой, а уж Э. – вообще дамочка, приятная во всех отношениях, и каждая из них успела порядком напугаться в автобусе, как она будет среди елочных бабок. Почему елочных? Да одна особенно распинаялась, что в Чехословакии ей ничего не нужно, и веселиться по барам она тоже не собирается, а вот купить бы елочных игрушек из чешского стекла... На Новый год.

Конечно, И., всего добившаяся своим трудом, – это совсем не то же самое, что, скажем, А. (вон путевку купили соплихе), а Э. тут единственная, у кого все хорошо («Я, когда паковала свой "Космос", наврала мужу, что чехи прямо на улице подходят и спрашивают сигарет. Очень у них большим спросом пользуются. То есть, якобы люди, которые ездили, так мне сказали. Если бы он увидел, что я курю, это, я не знаю, все равно что он меня застал бы с кем-нибудь. Я ему дала тридцать три клятвы, когда уезжала...»). О., с другой стороны, за каких-нибудь пять минут до печенок достала своей диссертацией. Но это все-таки лучше, чем быть с Полторак. (Представляете, каким тембром отличницы надо обладать, чтобы весь невыспавшийся автобус, до сих пор переживающий, сколько пришлось заплатить таксисту за эту ночную поездку, услышал и твердо запомнил так идущую к ней фамилию! Будто не бойкий бабец лет тридцати трех – почему-то воображается именно эта

ладная цифра, – а полтора таких бабца! И ее, кстати, к пяти утра доставил к памятнику Свердлова муж на машине, и оба они, в идентичных дубленках, картинно, у всех на глазах, обнялись на прощание. Такие люди не мерзнут.) Поэтому «Космос», клубящийся ангел компании, обволакивает четверых. Даже И., всего с полминуты поколебавшись, не попросить ли у новых подруг три десятки, а потом уже объяснять, в чем дело, решает, что дружба дороже, и сообщает, что разрешено обменять еще тридцать рублей, только они должны быть червонцами, остальное не деньги. И не прогадывает – десятки неожиданно оказываются в кошельке у тщательно собранной родителями А., и все весело срываются доминивать.

В самолете их разлучают, сиденья же тройками, и А. приходится сесть с бабкой и Полторак. Та трендит о воспитании сына («Уроки сделал – имеет право час на компьютере»), так что теперь знает весь самолет: у Полторак есть компьютер, в семье, посреди того безобразия, которое творится в обществе все последние годы, установлена разумная конституционная монархия. Бабка и Полторак с возмущением смотрят, как после обеда три спинки в упор перед ними взвиваются струйками дыма. А. не решается закурить, однако лелеет мечту, что, невзирая на возраст, возьмут и ее в мушкетеры – ведь номера-то все по двое! И навсегда-навсегда она будет с красивыми, классными, а не с занудной отличницей и глупой бабкой.

Прага не заграничной Прибалтики – чистенько, и на игрушечных улицах, так же игрушечно, – митинги: студенты в момент сволакивают откуда-то стулья, усаживают прохожих и читают политинформацию, и так же мгновенно уносятся стулья, рассасывается народ; все носят ленточки чехословацкого цвета; идет забастовка театральных работников, выражающаяся в том, что вместо спектаклей все те же театральные работники проводят в театрах агитсобрания; повсюду на стенах – плакаты («демократизация», из которой вычеркнуты лишние буквы; хай живе – или как там у них – Коммунистическая партия ЧССР, только за свои деньги; и просто большое и рукописное слово «Свобода!»). За обедом дают по пиву в руки, за остальные платить, кухня невыразительна (мясо с вареной картошкой), у официантов привычные хамские лица (мы им не иностранцы), Э. пожирает пирожные А., восхищаясь, какая та стройная, И. хаёт обслуживание, А. возражает: «У них революция, им не до нас», О. стреляет глазами (тут люди и руководитель) и забирает себе ее пиво, чтоб лишнего не болтала. Среди ерунды поражают всех только куранты на Пражской ратуше.

Старейшие в мире работающие астрономические часы, пять циферблатов показывают сразу все. Бабка показывает вавилонское

время, она просто валится с ног, но от вида апостолов в верхних окошках очки наполняются влагой: эта процессия так же прекрасна, торжественна и недоступна, как елка в старинных стеклянных уборах. У О. – время «Ч», она хочет кроссовки, но чтобы они были белые, и золотой петушок кричит именно ей: надо либо сейчас, либо будет поздно! У И., в часовых поясах выражаясь, всегда воркутинское бешеным башенным боем – только-не-это, только-не-это. Скрыга с мешком, весельчак с чем-то струнным, красавец и зеркало, тут же скелетик – кивает, кивает, и циферблат старочешского времени, загнанный под остальные, так и пытается вырваться. Лунные фазы (у А. время мелкое, только бы не залететь). У Полторак в голове, голосом Левитана, единственно верное время: она посещает не только свои, но и экскурсии «параллельной» группы, где гидом – огромный обрюзгший чех (ей, разумеется, кажется, что он «лучше рассказывает», чем их крашенная дура), но и при полуторной норме если кто здесь и оторвет чудесное колечко с гранатиками, то только она, и ни списать не даст, ни где взять не расскажет. Э. впадает в какую-то кому: ей хочется спать, тут же лечь и уснуть под часами, под звездами, так, чтоб не дергали бабушка, дочка и муж.

К вечеру европеизировали кипятильник О., обрезав у него пластиковые ушки. Теперь он влезает в розетку, подруги пьют кофе (у О. был с собой, воровать же пакетики чая они еще не научились) и *отдыхают* единственным мыслимым способом: кто лежит, кто сидит, кто острит, кто ругается матом, опять диссертация О., общежитие И. и витание А. в облаках. Они счастливы, пусть даже Э. замечает, что надо поменьше курить, у нее начинается кашель, а И. беспрдельно вульгарна, и О. даже делает А. неприметные знаки, чтобы та меньше болтала о революциях. А. не читает газет, не следит, ничегошеньки не понимает, не поступала три года, как О., с папиной фамилией, и хотя О. оставили на кафедре и дали защититься в рекордные сроки, взлететь не дадут все равно, и любимый уехал навеки. Может, и к лучшему (он был женат, никогда б не оставил семьи), но разрубленный гордиев узел всегда кровоточит, О. считает себя пострадавшей в кошмарах режима, почти диссиденткой и узником совести, узником мысли, что при других обстоятельствах можно было бы родить (он как раз уезжал, и она не решилась), делать деньги и двигать науку, и А. начинает бесить ее страшно. А. не умеет ценить совпадения астрологических стрелок, не видит ничтожества своей персоны на картах звездного неба, и беспокоит ее только внешнее – не подумают ли чехи, что она *срывает*, а не собирает на память освободительные плакаты, и как *красиво* на темном углу под фонарем стоял чех и размахивал флагом, и каждый, кто проезжал мимо, гудел, а потом, в кривых улочках, они заблудились, и было уже непонятно

– это тот же угол? Тот же флаг? Или вся Прага гудит в солидарности?

О. презирует плебейский прагматизм И., замечающей – «белое нам не по климату». Климат везде одинаковый, если ты сильная личность, не И. бы учить. Позволительно А. грезить вслух о вельветовых джинсах, скупая всю жвачку, встречающуюся на пути (да и грех тратить кроны, штаны не кроссовки, была бы пара рук, голова на плечах, и сама бы пошила!). О. балдеет от сладкого запаха ну, конечно же, не «восточных», а французских духов Э. и презирует плебейство, но если о чем-то мечтаешь, к И. надо держаться поближе: она все умеет. О. не сомневается: если только И. захочет, она пристроит ее золотую цепочку со всеми своими, иначе – со жвачкой, без жвачки – на одни только обменные деньги кроссовок не купишь. И кто обвинит эту бедную И., что не хочет она в Воркуту, что борец, надо праздновать в каждом прекрасные качества – и промолчать лишний раз, не вводя И. в соблазны, но А. знаков не замечает (ничего, кроме себя!), и как раз на циничной фразе И. «хороший ты с этими плакатами придумала способ собирать сувениры – главное, бесплатно» в номере раздается телефонный звонок.

Сними трубку О. – витиевато послала бы. Э. испугалась бы, разъединила. А. машинально сказала бы: «ошиблись номером» (ей невдомек, как примечают в гостинице девок). Но трубку срывает проворная И., и разговор долго тянется в духе хамского розыгрыша «придем-придем, уже побежали». Через пару минут в дверь стучится слегка пьяноватый, слегка говорящий по-русски поляк. Э., как кролик, спасается в собственный номер, где в белой постельке впадает в давно замышленную кому. А., обидевшись переключением внимания взрослых, зачем-то плетется за ними, по лестницам, по коридорам, в номер, где Юлиаш, пьяный поляк, демонстрирует множество разных вещиц – колготки, дезодоранты, – где что-то они обсуждают, пока А. с недетской развратностью пьет его *Becher* и смотрит советский канал, там «Зеркало» Тарковского, и пока Юлиаш резко не выключает любимую А. сцену про опечатку, и, так же резко, наши командуют: «Хватит, пошли!» «Куда?» – удивляется А., отлипая от бехеровки. «Спать!» Но тут А. встречается глазами с молоденьким мальчиком, тоже поляком, смущенно забившимся в угол, когда его друг и сокамерник (выяснилось, что они здесь работают в какой-то фирме сантехники) привел в номер баб. Старики странно смотрят им вслед, когда эти двое удаляются на дискотеку.

А. не столько танцует, сколько пытается выяснить: если так в Праге, то каково там у вас? – а вокруг гремит музыка, хохочут люди, и А. полагает, что политический разговор не задался ввиду разности языков, и они начинают всю целоваться, они солидарны сквозь

языковые барьеры, и к шести утра, когда у поляка на тумбочке звонит будильник, А. уже знает, что это любовь, убедительная еще тем, что постель его залита лужами крови (пытались с часов ее предупредить!). А. так сияет за завтраком, что у подруг не хватает запала попрекнуть ее бл**ством, да даже и Э. озабочена разве лишь тем, как теперь А., не выспавшись, будет ходить по музеям.

В многоэтажных глубоких пещерах под Брно Полторак очень рассеянна, не похвальноется (тот же эффект, если в кухне вдруг выключить радио – вроде и не замечали, а стало так тихо, что слышно, как капает вода со сталактита). Э. зевает от тяжелого воздуха, от влюбленности в А., от страха, что вырубят свет. А. во грустях, но лопочет про Марию (это Моравия!), гномов, сокровища – кто ее знает, про что – и считает, что, стоит приехать в гостиницу, там уж ее будут ждать. Ну как в том разговоре: уже побежали. Гостиница в Брно неожиданно маленькая и шикарная. О. надменно отходит от стойки, так и не сумев привлечь внимания бармена: деньгами сорить, видимо, не судьба даже в этом, вполне западном, городишке, – однако от стенки – она королева! – вдруг отделяется компактный зеленый старикашка, всюю говоря с ней по-русски: анджамо! пошли! я и друг мой Коррадо! ресторане! чинзано! вторую красивый подружку! О. шарит глазами по холлу – лучше сгодилась бы И., но она занимается чем-то полезным, а не ошивается около бара, и в холле торчит только А., ожидая приезда любимого (как уже тысячу раз все слышали, по имени Анджей). О. вторгается в сладкую грезу: «Анджамо!» – «Куда?» А. упирается. И. безнадежно пропала. Э. не пойдет. Золотой петушок так и кличет со спицы. Вдруг А. выясняет, что у итальянцев машина. «И сколько здесь ехать до Праги?» Хвастливый Луиджи (оба старикашки – таксисты) заявляет, что один раз он преодолел это расстояние за час. В глазах А. зажигается дьявольский огонь. В ресторане она напивается в хрюсло, следить теперь надо за ней, за собой, за руками подвижного старикашки, но О. собранна и спокойна, рассказывает про диссертацию почти по-итальянски (не сложнее польского), холодно, ясно сияет серый изумруд ее глаз, старикашка уже обещает доллары, кроны и кольцо в восемнадцать каратов (она бы и не поняла, только он написал на салфетке). А. лежит на коленях Коррадо, они оба дремлют и лишь иногда просыпаются, чтобы посклочничать: «Я не поеду! – твердит старикашка. – Это не любовь, а авантюра сессуале!» А. не согласна. «Приедем мы – браво! – а он с другой женщиной...» А. не согласна. «Ты очень хорошая девочка, зачем ты куришь и пьешь?» А. опять засыпает в досаде. Луиджи уже чуть не взял весь комплект ее паспортных данных для приглашения и телефон написал (на салфетке, рабочий), но надо куда-то девать эту А., и, казалось бы, что

в ней, в ее восхищении – А. так и смотрит ей в рот, восхищаясь лишь внешним, поверхностным, вроде отдельной квартиры (которую черт бы побрал, и права была мама, что не порядочное жилье разменивается на однушки в мусорных районах, а молодость на женатого козла). Чтò в восхищении?! Шубы, увы, не сошьешь! Все трудней выдавать самовяз за фирму! Не по карману заботиться о судьбах мира! О. – лидер, костяк их компании, не позволяющий И. перейти на совсем уж солдатские шутки, а Э. – завалиться спать после обеда, увольте учить уму-разуму А., и она никогда никому не расскажет, как в чемодане у И. мимоходом мелькнули – живя в одном номере, все же не скроешь – колготки те, дезодоранты... И что? И. предлагают прописку и посредничество при покупке квартиры за пять тысяч, пять тысяч можно собрать, но во что обойдется сама квартира, где брать, как отдавать?..

С Полторак же решительно что-то не то, вчера пропустила оплаченный ужин, и разве что бабка, соседка по номеру (ей бы сподручнее всех догадаться!), не подозревает, в чем дело. (Ну Полторак! Молодец Полторак! Как все при заселении чурались храпящих бабок – Полторак же смекнула всю выгоду!). А. снова сияет. Она написала открытку на адрес гостиницы в Праге. Э. улыбается. Правильно. Жить надо, не прозябать: ведь как вспомнишь, сама развивалась, читала, у папы прекрасная библиотека, хотя я жила всегда с бабушкой. Говорю мужу – уедем в Израиль, но он такой рязанский мужичок, ему там плохо будет, все гнездо вьет, в коробках: мебель, посуда для нашей отдельной квартиры; если бы кто-нибудь мне сказал, что я выйду за него замуж, я бы не поверила: подвез меня на машине, потом стал возить на работу, приходишь – он бабушке помогает, потом стал жить у нас, а потом я сама стала спрашивать, почему мы не расписываемся. И вообще, он относится к бабушке лучше, чем я, он терпимей, и дома он редко бывает, работает с утра до ночи, а тут приходишь – и начинается: одна соседка сказала, другая соседка сказала, – иногда ее просто убить готова. Она все для меня сделала, а я ее ненавижу: прихожу домой, обед уже готов, я даже посуду не мою, ставлю в раковину, и по магазинам она ходит, с дочкой моей сидит, дочка ее очень любит, телевизор включен с утра до ночи, мы втроем в маленькой комнате, она в большой, где телевизор... Почти уже уговорила! Узнали родители: да ты с ума сошла! В Бога ударились, посты соблюдают, и все «ты должна, ты должна»: должна худеть, должна читать, должна заботиться о муже, о дочке, о бабушке, так иногда соберемся с подругами, и все рассказывают, как ужасно жить, и тут тоже креститься одна собралась: любовник-ювелир подарил ей золотой крестик с изумрудами, – ей-то чем ужасно, красивая

женщина, масса любовников, делают ей дорогие подарки, а она ненавидит и их, и работу, и дом. И как я могу вечерами читать? Мне дочь тут же на голову садится. Да и неинтересно. У папы прекрасная библиотека. Я так на дочку смотрю иногда: а может, зря я ее родила? А тебе надо бросить курить. Я вот дома вообще не курю.

«А не ответит, еще напиши, – вклинивается И. – Хорошее занятие. Главное, делать ничего не надо. Отправишь и жди себе. Контора пишет. Я вон три года пишу». И это все, что они когда-либо узнают о ее личной жизни.

Братислава разочаровывает всех. О. старательно носит кроссовки – ведь их надо будет надеть на себя, ходят слухи, что на все покупки потребуют чеки, и общая сумма не может превысить обменянного, отберут, но кроссовки упорно не пачкаются ни чуть-чуть, и это в серой, советской, загаженной Братиславе! (А что было бы, если б она попыталась придать им ношенный вид в нарядной Праге? В кукольном Брно?!) И. упрекает себя, что она дотянула ряд сделок до Братиславы – могла бы предвидеть пустые прилавки, хрущобы и незагранлицу (почти как лететь из Москвы за покупками к ней в Воркуту). А. прикидывает, что отсюда до Праги – триста километров, уже и не Брно (было двести), пора бы оставить иллюзии. Э. начинает казаться (а может быть, и не казаться), что в детстве она здесь была. Бабка, в принципе, счастлива, но к ее дивной коллекции можно бы и подкупить пару штук местного колорита, словацких. Сэкономлены деньги, ни разу не выпито пшезенского Праздроя, а вот поди ж ты, словацкого нету. Не существует. Потрескавшиеся забетонированные дорожки посреди серого газона, революцией здесь и не пахнет – не больше, чем в Бирюлево. Тетка-гидша забила – «свободное время». Руководитель, наверное, пишет отчет, чтобы дома потом не мараться. Тетка-гидша забила, а параллельная группа, судя по редким сиротским явлениям Полторака, продолжает фурычить (маньяк? идиот? или тоже семья?). И никто себе не позволяет ни юмористически глянуть, ни ляпнуть случайно, чего-то у всех как отшибло, пасует даже немалохольная И. – уж если такой игрок, как Полторака, не способна закрыться и не подставляться по-детски, лоховски, на глазах руководителя, то это значит, что вся ситуация выпала из-под контроля людей, и во власти таких страшных сил, куда нам со своим мелким мщением за образцовость соваться смешно, несерьезно. *Мне отлучение, и Аз воздам.* Даже не сомневайтесь. Если окажется, что у кого-то из этих мерзавцев (Анджея, Юлиаша и Луиджи) – трихомоноз (и об этом как раз диссертация О.), никто не будет наказан так страшно и неизлечимо, не просто полуторной ставкой, а всем своим славным, уютным мирком, – стоит лишь засветиться перед этим *Азом* не самодовольством, а... счастьем. Э.

начинает казаться (а может быть, и не казаться)... – повтор, но вполне отражающий, что происходит у Э. в голове. Это очень обидно. Конечно, семья ее – не босяки, не лимитчики, но достать эту путевку и выложить деньги им не было элементарно, как воображает, наверное, И.

И. кусает губы и заново изучает товарищей: надо раздать непроданное золотишко по людям (смысла не было, нечего брать), пронести через таможню, а то – кто его знает. От неподходящести кандидатур хочется плюнуть. По ответственности лучше всех Полтораки – провезла бы в лучшем виде, – но сейчас к ней не сунешься. И не только потому, что правильная, или что дружбы не завязалось: по залу за перегородкой (их уже отделили), как огромный, лохматый, не в пору разбуженный зверь, бродит гид (кто не в курсе, чуть ли не обижен, что нашей крашеной дуры след простыл еще вчера – а, смотри, параллельную группу пришли проводить). И не одна Полтораки, а вся группа, весь аэропорт избегает смотреть в его сторону, чтоб не наткнуться на взгляд раненого медведя... Вот бы старухе упрятать в игрушки! Однако насадка культурных, фарфоровых, бьющихся ценностей безропотно отдает свою кошелку в багаж, попрепивавшись всего минут десять-пятнадцать, она не боец. Стерва О. носится со своими кроссовками. Э. – трусиха. Всучить можно А. – легкомысленно бросит в карман и пройдет замечательно, так как забудет к досмотру, что у нее контрабанда, – но пеняй на себя, если среди табачных крошек и жвачечных фантиков в кармашке у А. потом ничего не окажется: спустить цепочку-другую в сортир вместе с рваной салфеткой для А. – как нормальному человеку высморкаться...

Лишь в Шереметьево-2 бабка вдруг понимает всю пагубность хрупкой стеклянной затеи, как и вообще сверхидей. Покупать надо было... как все. О. мрачно смотрит на улицу, там дождь со снегом – там так, что кроссовки, пока доберешься до дома, не только приобретут тот искомый надеванный вид, которого она не добилась за всю Братиславу, но станут неотличимы от тех, что у нее уже есть, и она на картошку в них ездит, когда кафедру посылают (О. ведь модница, ей сапоги запахло). И. в душе прокликает поездку, которая и не могла окупиться – все в общежитии ввали, стремясь осадить и подставить, – но в целом бодра: да стряхнуть и забыть, и опять шевелиться, на блюдечке не принесут. После пражского всплеска А. переживает либидинозный упадок как в смысле надежд на большую любовь, так и в смысле существенных демократических преобразований. Однако страшнее всех выглядит Э. Если б кто-то из новых подруг еще обращал на нее внимание, они бы сразу заметили, что у Э. начался приступ астмы. Ей кажется, что она лежит на полу в

коридоре, и к ней склоняются лица обожающего работающего мужа, бойкой семилетней дочери, бабушки, лица родителей, уважаемых психиатров, всегда относившихся чутко к ранимому чаду, простивших неравный, дурацкий и ранний брак, – и все эти лица склоняются к ней под предлогом оказания неотложной медицинской помощи и душат, тянут веревку... Помощь ей вправду нужна, но она даже рада, что новые подруги ничего не замечают, сейчас она возьмет такси, и они, не узнав, что она инвалид, придут в гости, бабушка накроет стол, уведет в кухню девочку, чтоб не мешала (муж будет в ночную смену), и Э. опять станет светло, хорошо и не душно с людьми – настоящими, умными, сильными каждый своим... И только одна П., румянясь не больше, чем хорошо отдохнувшая женщина, и не бледнея сильнее, чем положено после международного рейса, с полупорным мужеством делает маленький шаг и ступает в объятия парной дубленки.

IN MEMORIAM

Рашель Миневич

Я ни разу не встречалась с Аней. Мы работали над Миллбурнским сборником по Скайпу. На экране я видела ее умное лицо, легкую улыбку. Она невероятно много курила, буквально прикуривая следующую сигарету от предыдущей. Это вызывало тревогу за нее и отчаянный протест. Видно было, как, затягиваясь, она напряженно думает. После пары затяжек появлялось либо возражение, либо объяснение, либо нетривиальное рассуждение...

Работать с ней было совсем не просто, но безумно интересно. Ее смелые, нестандартные, самобытные тексты, их порой неоднозначный смысл рождали у меня вопросы, и Анины ответы, подкрепляемые специальными терминами, определениями и примерами, обнаруживали в ней филолога с прекрасным образованием, профессионала экстра-класса, к тому же человека талантливого, одаренного, неординарного. Она редко заменяла не самое удачное или неблагозвучное слово другим, синонимичным, – этот путь был для нее банален. Она либо настаивала на том, что именно так теперь и говорят, либо неожиданно переписывала предложение или целый абзац совершенно по-новому, иногда мне казалось – чтобы «пожертвовать пешкой» ради чего-то более важного.

Когда мы работали над сборником два года назад, Аня сказала, что у нее совсем нет времени, она приглашена синхронным

переводчиком на очень серьезную конференцию. Это должно было происходить в какой-то экзотической стране, сейчас не припомню в какой, но Аня призналась, что очень волнуется и в то же время, конечно, рада. Это признание было для меня столь неожиданным и была в нем такая высокая степень доверительности, что я осмелилась попросить ее не курить так много, поберечь себя.

В ней чувствовался огромный внутренний темперамент. Ее убежденность, очевидная независимость, твердость предполагали в ней человека, живущего своей особой жизнью. Я ничего не знала о ней и представляла ее свободной, не связанной никакими узами. Какова же была моя радость, когда я узнала, что у нее хорошая семья, любящий муж и двое уже взрослых детей – студентов, практически завершивших обучение.

Вот как она написала о себе в предисловии «От автора» к роману «Транскрипт»:

«Родившись в 1965 году в Москве и окончив институт иностранных языков в 87-м, я пребывала в скверном настроении в Нью-Йорке 91-го, когда одна американка польского происхождения, видно желая подбодрить и одновременно поставить на место, сказала: “А ты потерпи. Всем начинать очень трудно. Дедушка мой, например, впервые в жизни надел ботинки, когда его сюда привезли семилетним мальчиком”... И вот прошло много лет. Тяжелым, но радостным, разнообразным трудом переводчика в ООН, в Госдепартаменте, Библиотеке Конгресса, банках, судах, на производствах, военных базах и очистных сооружениях я уже почти заработала на ботинки, вышла замуж, родила двоих детей – Нику и Матвейку...»

А в прошлом году Анечка вдруг сказала: «Рашель, мне очень тяжело работать, совсем нет сил говорить... Я на химии... Четвертая стадия»... Мои самые страшные опасения обернулись реальностью. Но я еще на что-то надеялась – на американскую медицину, на Анин сильный характер, на чудо... пока не получила от нее прощальную записочку.

Александр Углов

Первая реакция, когда я узнал о ее смерти, – ощущение несправедливости. Ушла молодая женщина, полная идей и планов, фантастически талантливая.

Мы встретились в Миллбурнском клубе Славы Бродского в июне 2015-го. Заседание клуба еще не началось. Слава сказал: давай я тебя с кем-то познакомлю, и через обычную перед началом заседания толчею подвел к модельной даме (высокая, стройная, худая) со слегка

растерянным выражением на лице, типичным для тех, кто попал в незнакомую компанию. К тому же, видимо для пушщего эффекта, Аня не надела очки и была вынуждена напрягаться, чтобы лучше видеть. Узнав, кто я, Аня вспыхнула улыбкой. Мы были уже знакомы: случайно узнав о проживании в Нью-Джерси «русской писательницы Анны Мазуровой», я ей написал и предложил приехать к Славе в клуб.

Тогда же, на первой встрече, Аня подарила мне недавно напечатанный роман «Транскрипт». Оригинальная, точная, с яркими героями история о собрате Ани – переводчике-синхронисте – затянула (чего стоит «безразмерная секунда», в которую ныряет герой, чтобы вспомнить нужное слово). Однако читалась тяжело. Решив, что это моя вина (отвык от «интеллектуальных» текстов) и общая «беда» бессюжетной прозы, я послал Ане восторженный отзыв, завершив его словами: «В романе так много хорошего, что и критиковать не хочется». Аня ответила: «Саша, спасибо на очень теплых словах, а без критики я обойдусь. В процессе технически многое стало понятным, но вырулить было уже невозможно, оставалось только довести замысел до конца таким, каким он был».

Потом я несколько раз открывал «Транскрипт» наугад, выхватывая и смакуя отдельные куски. Не сомневаюсь, что не раз открою и в будущем.

Мое общение с Аней было пунктирным – поездка к ней домой в Highland Lakes, несколько телефонных звонков, электронных писем, и все.

Обстановка Аниного дома отличалась спартанской простотой и полным отсутствием того, что можно назвать «буржуазный уют». Что тому было причиной – деньги или стиль жизни хозяев, – мне осталось неведомо, но обстановка дома очень ей подходила, она сама была как бы вне быта. Предложила чай с медом «с пантами алтайского марала и голубикой» (привезенным Аниным отцом из Москвы). Аня ходит по маленькой веранде, непрерывно курит и говорит – ясно, логично, слегка дидактично, мелькают слова «досконально», «блудник», «метаморфозы». На периферии разговора – байки о сборе грибов, выросших уже детях, «им нужна любовь и деньги, а не советы», переезде в США, рассказ о том, как долго не хотела получать американское гражданство, и только после безразличия российского посольства во время отпуска за границей, когда украли документы, решилась. В центре разговора – творческие идеи. Аня хочет сделать комикс: жизнеописание героя в картинках. В качестве примера для вдохновения показывает роскошное издание нашумевшего “*Persepolis*” Маржаны Сатрапи и иллюстрированный альбом к

роману Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Кажется, идея с комиксом так и осталась нереализованной.

Вскоре Аня прислала письмо: «...Хочу посоветоваться вот о чем. Нормально ли попросить у Славы сделать выступление о романе Роберто Боланьо "Дикие сыщики" (*Los detectives salvajes*)? Я перевела его на русский...» О своих переводческих увлечениях Аня до этого не упоминала, а тут – огромный роман, который, по словам самой Ани, «нуден и многословен», но «прекрасен». Я его открыл, стал читать и не мог оторваться. Роман знаменитого Боланьо – безусловно, классика, а работа Анны Мазуровой – воистину шедевр переводческого искусства. Вот где пригодились Анино волшебное владение русским словом и переводческий опыт.

Выступление в клубе так и не состоялось – Аня получила срочную работу и уехала. Как-то раз я захотел услышать ее голос, позвонил, но телефон перестал отвечать.



Игорь Мандель – статистик,

доктор экономических наук, родился и вплоть до отъезда в Америку жил в Алматы (хотя публиковался главным образом в Москве), преподавал статистику в Институте Народного хозяйства, в 90-е годы работал в американских инвестиционных компаниях, занимая должности от консультанта до директора предприятий. В Америке с 2000 года. Занимается статистикой в применении к маркетингу; публикует научные работы. На русском языке вышли четыре книги иронической поэзии и книга сновидений (в соавторстве с коллегами), статьи о художниках

и на другие темы, стихи в интернет-альманахах www.Lebed.com и www.berkovich-zametki.com. Живет в Fair Lawn, NJ.

Евгений Александрович, аттрактор

Лёня, организатор русскоязычной культурной жизни в Рочестере в начале 2000-х, благоволил мне. И хотя у каждой культурной семьи там было, как правило, по большому дому, предложил, чтобы именно наш стал приютом на одну ночь для Евгения Евтушенко, выступление которого он сумел организовать. «Его представитель на отелях экономит, – лаконично пояснил Лёня. – Он тоже попозже подъедет, другим рейсом, у тебя найдутся две комнаты?» Он знал, что найдутся, и был-таки прав.

Прибыли Е. А. с Лёней из аэропорта на наш широкий драйвей солнечным днем, где-то в час. Я вышел на улицу, заметив машину. «Здравствуйте, Игорь», – сказал Е. А., как-то пристально на меня взглянув, как бы намекая на некий подтекст, которого вроде бы пока быть никак не могло. Но это создавало все же некую личную интонацию, которая так потом никуда и не девалась. Мы вошли в дом. «Где вы взяли этот стол?» – спросил Е. А., показывая на шикарный стол красного дерева, предмет моей гордости, купленный недавно за 80 долларов на развале (поскольку столешница была жестко закреплена на грубой бочке, это создавало яркий контраст между верхом и низом, который не всякий мог эстетически выдержать). «Наш человек», – подумал я и тут же разъяснил. «Ведь их уже не делают, деревья запретили для этого вырубать», – похоже, он был искренне удивлен. Ну да, я встречал их только в огромных домах 19-го века в округе. «А колокольчики? – спросил он о предмете уже Ириной гордости, коллекции примерно в тысячу экземпляров. – Я только у Булата видел так много, но у него они висячие, правда». «Ну ладно, времени мало, давайте посмотрим окрестности», – предложил Е. А. после легкой закуски.

И тут выяснилось, что Лёня должен вновь отправляться в

аэропорт, за представителем, а Ира занята подготовкой к ужину, так что ехать с Е.А. надо мне одному. Это была неожиданная возможность пообщаться – выступление начиналось в семь, у нас было часа четыре. Я огласил меню из нескольких точек, он выбрал для начала самую дальнюю, один симпатичный городок милях в 15, и мы поехали. Вернулись к началу встречи, не заезжая домой. После выступления сидели дома до четырех утра в компании человек около 30, выпивая и закусывая. В семь утра я разбудил гостей, и они уехали в аэропорт. Разговаривали мы вдвоем в общей сложности, наверно, не менее трех часов, что не так мало, и потом общались в компании еще часов девять. Больше я Е.А. никогда не видел, но мы несколько раз созванивались. Что-то понять о человеке можно.

Живой интерес к окружающему миру, классическая экстравертность, быстрая реакция. «Посмотрите, какие оригинальные пробки для бутылок! Надо обязательно взять одну!» «Как, как магазин называется? "Beers of the World"? Обязательно заедем». Едем к центру города, видим указатель на музей искусств, в другую сторону. «Музей тут совсем неплохой, – говорю я. – Эль Греко, Рембрандт замечательный, Барлах...» – «Эль Греко? Едем в музей!» – «Но тогда не успеем здание "Кодака" посмотреть. И водопад еще». – «Нет, едем все равно». Едем, смотрим. «Музей отличный. А вы знаете, что у меня Питер Блум есть? Давайте еще в магазин зайдем» (про Пикассо и Шагала я знал, про Блума – нет). Выбирается и покупается желтый музейный галстук (насколько я понимаю из воспоминаний о Е.А. их, наверно, уже несколько сотен). Время должно быть заполнено, по возможности – приятными вещами и впечатлениями. Одно из самых приятных – выпивка.

«Бог ты мой, уже фирма эта закрылась, я в Англии не мог этот эль найти – а тут целый ящик. Я беру весь». Сидим в знаменитом местном пивном баре. «Игорь, это бесподобный драфт. Они тут наливают на вынос. Можете ли вы отослать мне?» Я потом два дня занимался отсылкой здорового сосуда и множества маленьких бутылочек; посылка оказалась куда дороже стоимости товара, но надо было видеть удовольствие Е.А. от сей неожиданной рочестерской радости.

Откровенность Е.А. удивительна. Он общался со мной, которого видел первый раз в жизни, на темы, не обсуждаемые даже между близкими друзьями. Большую часть времени в машине, к моему изумлению, занял длинный рассказ о его отношениях с И. Бродским – история, ныне хорошо известная после интервью Е.А. с С. Волковым и из других источников, но тогда для меня вполне новая. Разговор был настолько личным, что казалось, что он вот именно меня хочет убедить, насколько Иосиф был несправедлив к Е.А. (что чистая правда), – и ему станет легче. Было видно, что тема его очень

очень волнует – а ведь прошло лет восемь со дня смерти И. Бродского. С упоением говорил он о своих былых победах над податливыми дамами. Я почти все время молчал, ибо что тут скажешь. Позднее, во время ужина, – как он загорался, либо читая свои собственные стихи, либо слушая, как кто-то вдруг вспоминал его давние строки. Как расцеловал одного такого, кто сидел возле него. Все это не наигранно.

И его живой интерес к окружающему, и его откровенность с окружающими, как кажется, вытекают из одного источника – совершенно потрясающей эгоцентричности. Такой я больше никогда не видел и, наверное, не увижу. Это выглядит примерно так: все вокруг меня в определенном радиусе волшебным образом преобразуется в некий прекрасный образ. Но что бы это ни было, оно должно находиться в окружности, где я – центр. Это самая поразительная черта Е. А., наиболее четко его характеризующая. Несколько раз я пытался вставить что-то от себя – но был немедленно повернут назад, к обсуждению его проблем. Несколько раз во время длинного вечера эпицентр внимания случайно перемещался с личности Е. А. на кого-то другого за столом, но это не могло длиться более минуты – Е. А. неукоснительно перетягивал внимание на себя, и справедливый баланс восстанавливался.

Его очарование в глазах окружающих, которое, несомненно, имелось (а чего бы мы сидели до четырех?), как раз базируется на том, что широкая душа Е. А. впускает в свой круг всех, кто рядом, и одаривает их своими щедротами. Но не надо сии щедроты воспринимать буквально – вы хороший человек не сам по себе, но лишь в той мере, пока вы в этой зоне притяжения. «А сколько вам лет?» – вроде бестактный вопрос – при всей толпе – красивой и одинокой на данный момент Л. Та смущается: «Сорок пять...» – «Нет, не может быть. Так хорошо в сорок пять не выглядят». Все, Л. попала в круг и счастлива до самого утра.

Рано утром, во время кофе, я решаю воспользоваться моментом и подсунуть Е. А. здоровый, страниц на 100, текст поэтрики, нашей стихотворной переписки со Станом Липовецким. «Вот, Евгений Александрович, – новый жанр, извольте взглянуть. Вроде смешно». – «Я посмотрю наугад – если понравится, то возьму». «Все, пора выезжать», – торопят его. «Сейчас, сейчас... Вот тут хорошо. И тут. Беру».

Дней через пять, по телефону: «Я читал весь полет до Нью-Йорка – да, интересно, смешно. Вот и Маше нравится – пусть, говорит, еще присылают. Но зачем вам все это публиковать?» – «Как зачем? А вы зачем стихи публикуете?» – «Ну, там же другие стихи. Вам надо написать роман и вставить туда всю эту переписку, это будет

замечательно».

Примерно за месяц до смерти, в ответ на мою просьбу выступить в литературном клубе: «Ну, Игорь, я же профессиональный человек, я живу с этого, как я могу просто так выступать? Так все-таки: можно ли найти ту ссылку, где сказано, что Фадеев выпивал за Платонова как за гения русской литературы?» (продолжая ранний сюжет в разговоре).

Я лишь помнил, что сказано у Сарнова, но найти так и не смог. Да и роман мы не написали, хотя стихи вполне себе публиковали (<http://berkovich-zametki.com/2010/Zametki/Nomer9/Mandell.php>). Вопрос «зачем», однако, так и остался. Уточнить не у кого.

Синдром

Я вроде простудился, и как-то в марте почувствовал боль над левым глазом. Не проходит и не проходит. В таком случае надо звонить двоюродному брату, или, по-нашему, кузену Володе, он врач-анестезиолог, но лечит все подряд – либо сам, либо через знакомых. А знакомы ему все врачи в городе – или лично, или через одно звено. Первый же из них ставит диагноз: «Гайморит с осложнениями». ОК, делают дырку в носу, что-то откачивают. Боль над глазом усиливается. Специализированное отделение ушогорлоносной больницы. Важный профессор: «Фронтит. Это очевидно. Надо делать операцию». В смысле – долбить череп над глазом (где болит, то и долбить). Ну, это как-то слишком круто, надо посмотреть – подумали мы с Володей. На следующий день веко напрочь опускается, а глаз перестает вращаться. Боль усиливается. Володя рад – это не фронтит, он прав. А что тогда?

Теперь у меня два зрения. С одним глазом, в натуральном положении – все хорошо, лишь некоторое ограничение поля зрения. А когда пальцем поднимаю веко – то возникает две проекции мира на один непонятливый мозг. Один глаз упорно смотрит прямо, как генерал, твердо знающий правду. Другой постоянно подстраивается под окружающее, вихляет туда-сюда, как жалкий предатель. Две точки зрения скрещиваются прямо на моих глазах. Я начал понимать, что такое дуализм, давно разоблаченный классиками, в действии. Жуткое дело, действительно, не зря его порицали. Идешь по аллее: левая полоса деревьев пересекается с правой и уходит еще дальше. Наступать надо точно в узкий треугольник между двух полос. Вот так Пикассо и Грис и рисовали свои скрипки изнутри и снаружи – придерживали один глаз и вращали другим. А болело у них тоже? Теперь и я бы так смог. Называлось бы, правда, реализмом, или браком. Хотя хорошую вещь браком не назовут, как замечено по

другому поводу.

Боли дошли до пяти таблеток Пенталгина в день. Володя видит, что дело плохо, и кладет меня в самую серьезную больницу на обследование. Пролежал я там около месяца. Врачи были любознательные, в основном кололи в задницу разные антибиотики и интересовались, что будет. Все алма-атинские силы, неврологи и офтальмологи, старались внести или ввести свой вклад в твердом или жидком виде. Диагнозы вслух уже боялись ставить, по крайней мере я их не слышал.

В какой-то момент решились на серьезную меру – ангиограмму. Это когда тебе говорят: «Сейчас будет такой вроде бы взрыв в голове, но недолго. Ты, главное, не дергайся в это время, а то мы снимок не сможем правильно сделать». Идея в том, что человеку вливают в кровь какую-то радиоактивную гадость и тут же фотографируют, как она разбегается по сосудам. 1983-й год, что вы хотите. Вкололи. Взрыв мне лично показался последним, что в жизни удалось повидать, да и сейчас он так примерно и помнится. И я-таки дернулся. Когда я очумело через минуту огляделся, врач сокрушенно сказал:

– Ну вот, не вышло. Что я тебе говорил? Придется повторить.

– Не надо, – живо вскрикнул я, – не надо повторять!

– Не надо было дергаться, – сурово сказал врач. – Иначе все без толку.

Извечный вопрос о том, как измерять человеческую активность – по усилиям, в соответствии с марксистской теорией, или по конечному результату, в чем уверен далекий и порочный капитализм, – встал передо мной во всей своей остроте. Да, было невыносимо больно, причем в не самом нечувствительном месте – в голове. Но толку нет. Надо мучиться еще. «Вот, значит, как они там, в Америке, добиваются своего, – смутно подумал я, – через мучения. Им лишь бы результат получился хороший. Гады». Но не довел эту смелую мысль до конца, что-то не клеивалась.

– Ладно, давайте еще раз. Но голова же произвольно дергается, я ведь не контролирую. Вы сами пробовали не дергаться?

– Мне ни к чему, – строго сказал доктор. – Давай тебе голову сестра прижмет.

Сестра сильно придавила мне голову, навалившись на щеку упругой своей грудью. Я полностью переключил внимание на новые ощущения, и не сразу понял, что второй взрыв уже разошелся по головному мозгу в каком-то ином режиме. Придя в себя от смешанных чувств, я услышал:

– Получилось! Можешь ведь, если хорошенько прижать. Вообще-то редко получается со второго раза.

– Если хорошенько, то могу, – ответил я, поглядывая на сестру. – А почему бы сразу не прижать? – поинтересовался я, но не получил ответа.

– Вот видишь, – объяснял врач воодушевленно, – тут есть такое пятно. Теперь все ясно.

– Что это?

– Ну, я точно не знаю, пусть специалист посмотрит. Но вот, есть пятно в области глаза.

– Ну, замечательно. Теперь будем знать, что есть пятно неизвестного происхождения.

На пятно смотрели многие и долго. Мнения о его природе сильно расходились. Володя мрачнел и отказывался говорить, в чем именно, ссылаясь на некую врачебную этику, ранее мной как-то за ним не замечаемую. Через неделю он твердо заявил:

– Надо ехать в Москву. Они здесь не очень понимают, как лечить и что это такое. Но это явно не фронтит. Я попробую получить направление в Минздраве.

И где-то через неделю, действительно, получил. Я к тому времени дошел до ручки. От постоянных болей и глотания таблеток, от уколов в истыканную до неприличия задницу я мало ел и сильно отощал. Перспективы были туманные. Москва как-то не вдохновляла, но лучшего ничего не предвиделось. Володя взял отпуск, и мы поехали.

Направление от Минздрава было странным. Оно не давало ни конкретной больницы, ни гостиницы, ни питания, ни даже оплаты транспорта. Это была просто просьба – «Принять в силу отсутствия надлежащих специалистов в Алма-Ате», что-то вроде этого.

Мы где-то назанимали то ли 100, то ли 120 рублей сверх стоимости билетов, взяли с собой ведро того, что все берут из нашего города – апорта, – и полетели в столицу. Остановились у доброхотных знакомых, около станции метро «Ждановская», ежели кто понимает, где это. И начали ходить по врачам. Володя надевал белый халат и даже шапочку и таскал меня по всяким коридорам примерно две недели. Началось с того, что каким-то чудом, поздно вечером, мне сделали компьютерную томографию. Таких аппаратов в Москве в июне 1983-го было, по разговорам, не более пяти. Пробыться к ним было невозможно. Володя смог лишь потому, что один из врачей был из Казахстана, и каким-то смутным образом они имели общих знакомых. Все равно пришлось где-то купить бутылку

армянского коньяка (помню, за 25 рублей, очень дорого). Вооруженный роскошными снимками, которые безусловно подтвердили то, что пятно есть, как и следовало из ангиограммы, Володя куда увереннее повел меня по знаменитым местам, от больницы Бурденко до института Филатова. Как потом он мне рассказал, меня осматривали пять профессоров, ниже он не опускался. И никто из них не умел читать томограмму, так как дело было новое. Чудо техники помогло в другом – на снимки смотрели с большим уважением, которое распространялось и на их владельца, а через него немного на меня. Количество диагнозов было равно количеству профессоров, а их характер строго соответствовал профилю специалиста. Профессор по саркоме головного мозга уверенно говорил о саркоме и прикидывал, когда он может сделать операцию. Ларинголог повторил то, что я уже слышал о фронтите, в его особо изощренном, но знакомом ему варианте. Офтальмологи говорили нечто невнятное, типа «разрежем, а там видно будет». Время шло. Единственная польза от Володиных контактов была та, что где-то в лаборатории у меня запросто проверяли давление и зрение на регулярной и бесплатной основе, на всякий случай. Каждый делал что умел, а это они умели замечательно. Что и помогло установить, что зрение глаза стало резко ухудшаться, хотя было нормальным, когда мы только приехали в Москву, две недели назад. Через три дня надо было уезжать. Деньги кончались, надежды иссякали, ведро яблок благоухало в углу, за отсутствием Главного Получателя. Кубистская картинка при поднятии века становилась все более размытой, как если потихоньку переходить от Пикассо к Делоне. Впереди маячил Кандинский.

Оставался последний вариант – великий и могучий профессор Г. из клиники Бурденко. Володя не верил, что причина в мозгу, но и не верил, что она в глазу. Он считал, что пятно где-то посередке. Я от мнения воздерживался. А Г. и оперировал в промежуточной зоне между мозгом и кончиком носа.

Попасть к профессору было просто так невозможно. Хитрыми путями Володя договорился о том, что светило просто взглянет на меня во время обхода больных, прямо в коридоре. Процедура была тщательно спланирована. Мы прошли по садику, где на раскладушках лежали многочисленные больные (как говорили злые языки, исключительно с Кавказа). Огромные коридоры больницы было тоже заполнены койками с пациентами. Мы долго ждали в какой-то нише, пока вдалеке не показалась большая группа людей в халатах. Профессор величественно шел впереди. Володя выскочил из ниши, как чертик из табакерки, и почтительно напомнил ему о том, что, вот, договаривались на минуточку поглядеть. Г. остановился

вместе со свитой; я вышел из укрытия. Никакие бумаги и снимки он не смотрел и пояснения Володи не слушал. Властно приоткрыл мне веко, заглянул в неподвижное око и через плечо сказал ассистенту: «Ну, тут все ясно, выпишите ему пять единиц преднизолона в день, пусть осенью приезжает, сделаем операцию». Прием был окончен. Стайка халатов продолжила движение, мы вернулись в свою нишу.

Вдруг я заметил краем другого глаза, что какая-то женская фигура из сопровождения быстро подошла к Володе, что-то шепнула ему на ухо и сразу вернулась в строй. Я ушел в туалет, к чему давно стремился.

Дома Володя пояснил: «Она сказала, чтобы мы обязательно нашли профессора Штульмана из Первой Пироговской больницы, но чтобы Г. про ее совет ничего не знал. Будем искать?». Самолет был через два дня на третий. Других встреч не предвиделось. Я был очень слаб и безразличен. «Ищи, – сказал я, – одним Штульманом больше, одним меньше».

Давид Рувимович Штульман оказался не профессором, а доцентом, и не в Первой, а во Второй Пироговской, и был он даже не среднего роста, а немного выше стола, сидя за которым, он нам дружелюбно улыбался. Он как-то не удивился неожиданному появлению, выслушал нашу повторенную сотый раз сагу и абсолютно уверенно сказал:

– Да, понятно, это синдром Тулуза-Ханта. Редкая штука, впервые описана в 1956 году. У меня за всю жизнь это второй случай. Обыкновенная простуда, но воспаление возникает не там, где обычно – ухо, горло, нос, – а в мышечной воронке глаза. Все симптомы совпадают. Там проходит восемь нервов. Воспаление их все потихоньку и передавливает. Отсюда и боль не прекращается, и двигательные нервы века не работают. Самый толстый нерв – зрительный, его сложнее всего перекрыть. То, что глаз стал хуже видеть, – плохой симптом, можете потерять зрение. Сделайте так. Купите преднизолон за 6 рублей 2 копейки и примите 60 единиц в шесть утра завтра. Позвоните мне в двенадцать дня.

– 60 единиц?! – воскликнул просвещенный Володя. – Это же очень много!

– Ну да, ударная доза называется. Должно сразу помочь. Потом будем выводить его вниз по определенной схеме.

Мне было все равно. Володя поставил будильник на шесть утра, я еле проснулся, заглотнул таблетки и уснул опять. Проснулся в девять. Боли в глазу не было. Зрение стало каким-то другим. Посмотрел в зеркало – веко почти полностью открылось. Глаз вращался почти как два месяца назад. Кубизм постыдно уступил

завоеванные с такой болью авангардные позиции заезженному реализму. Володи не было дома. Он пришел через час из магазина и с изумлением воззрился на мой широко открытый глаз.

В ликующем состоянии мы позвонили спасителю в двенадцать. Он был рад, но вовсе не удивлен. Мы подъехали к нему домой с заждавшимся ведром. Он принял его с явным удовольствием, сказал, что впервые в жизни видит такие большие яблоки. Я сказал, что впервые вижу такого большого врача. Он вроде оценил юмор и дал расписание приема лекарства. Год после этого я звонил ему домой, получал новые схемы избавления от этой гормональной напасти, потолстел от нее и т.д. Глаз то болел, то нет, и в конце концов успокоился. Но чудо пробуждения абсолютно новым человеком после первого приема больше в жизни как-то не возникало ни по каким поводам.

Вернувшись, я пошел в то отделение больницы, где пролежал месяц до Москвы. Все мне там были знакомы. Пораженным моим молодецким видом врачам я важно говорил: «Синдром Тулуза-Ханта!» Они уважительно записывали на бумажку диковинное название. Никто про синдром не знал. «Теперь узнают!» – с чувством удовлетворения за свой скромный вклад в медицину Казахстана думал я.

Года через два я случайно разговорился с заведующей кафедрой инфекционных болезней в Медицинском институте. Она тоже ничего про синдром не знала, но заявила странную вещь:

– Ну да, жалко, что ты тогда ко мне не попал. Я бы сразу дала единиц 100.

– Как? – воскликнул я. – Так много?! Почему?

– Ну, мы всем так примерно даем. Единственный способ немедленно снять любое воспаление. Некоторым, например больным чумой, – до 3000 единиц.

– Чума?

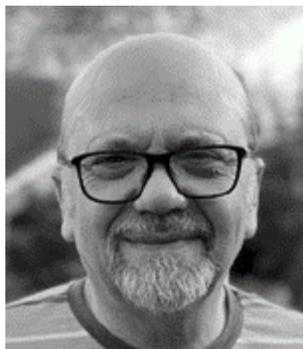
– Чума, – подтвердила она. – Вообще-то, официально ее уже давно нет, но в Казахстане изредка попадает. Степи, грызуны всякие бегают...

Я сидел, потрясенный. В Москве меня спас какой-то немыслимый случай. Что дернуло ту женщину подбежать к Володе, рискуя, быть может, карьерой? Ну, а не прочитай Штульман про этот самый синдром лет двадцать назад, не попадись ему другой больной? Г. был на правильном пути, но ошибся в двенадцать раз, то есть не имел концепции немедленного мощного удара. К осени я бы точно потерял зрение. А эта моя знакомая, наоборот, не зная ничего о

конкретной болезни, знает лишь, что надо давать огромные дозы сильнейшего гормона – работа у нее такая. И она была бы права. А ведь как минимум трое других хотели делать трепанацию черепа – и что бы умного они там нашли?

«Специализация, – подумал я. – Великая убойная сила. Молоток считает, что любая проблема – это гвоздь. И бьет по шляпке. И только Штульман читает про редкие синдромы. И помнит о том, что читал. Давно не разговаривал я с ним, лет так тридцать».

Да. Уже не поговоришь, с 2000 года. Кто теперь лечит синдром Тулуза-Ханга?



Лазарь Мармур - родился в Ленинграде. В 1972 году закончил Кораблестроительный институт. Инженер-механик в области больших грузоподъемных машин. Имеет несколько патентов. Стихи пишет со школы. Посещал литобъединения Давыдова и Горбовского. 30 лет назад эмигрировал в США. В альманахе «День зарубежной русской поэзии - 2019» опубликован отрывок из поэмы «Триптих».

Стихотворения

Того, что пережил,
Ни вспомнить, ни вернуть,
Там солнце по углам
Да беды всякой масти.
От разных лет и зим
Осталось мне чуть-чуть,
Но этого «чуть-чуть»
Достаточно для счастья.

* * *

Как нить тонка,
Как осторожна нить,
Как быстро сердце клонится к печали,
Как тяжело с годами сохранить,
Таким огромным бывшее вначале.

И снег блестит.
И теплый дождь идет.
И лист зеленый вырезан упруго...
И целый мир нас упоенно ждет,
Пока мы держим за руку друг друга.

Счастье

Давным-давно. Еще тогда. В иной уже эпохе.
Цыганка, за руку схватив, гадала на ходу.
Сказала: буду долго жить, и все не так уж плохо.
Куда дорога приведет, там счастье и найду.

Ее, наверно, нет давно, уже тогда - старуха.
Чертям ли, ангелам она гадает день за днем.
А мне б ее сейчас найти, поцеловать ей руку
И целый табор напоить и водкой, и вином.

* * *

Я улыбкой твоею богат до небес,
 Нет нужды мне в богатствах иных.
 В каждой капле – река, в каждой веточке – лес,
 В каждой радости – дети и мы.

Ты не плачь по ушедшим счастливым годам,
 Никуда не исчезли они.
 Ходит доброе время по нашим следам,
 Не считая минуты и дни.

* * *

Примеряя к собственной судьбе
 Чью-нибудь нелепую кончину,
 Понимаю – это не по чину,
 Только вслед, как обещал тебе,
 Этот мир когда-нибудь покину.

Потому и шапка поутру,
 И по льду на лужах осторожно...
 Ты меня там встретишь, если можно,
 Я же здесь за нами приберу.

Внуки и внучки

1. Joshua

Мой старший внук, сокровище мое,
 Поклонник *Harry Potter*'а и *Yankees*,
 Не знает Михалкова и Бианки,
 В *baseball* играет и еще поет.

Мой старший внук, спасение мое,
 Уже свободен в праздниках и буднях,
 Не пионер, и точно им не будет,
 Играет на тромбоне и поет.

Мой старший внук начнет, где я стою.
 И проживет, надеюсь, не стреляя,
 Всегда мне к поцелую подставляя
 Подстриженную голову свою.

2. Rebecca

Потом, возможно, мудрая наука
 На все твои ответит «почему».
 “*Look, Bubba, look!*” – и я спешу «полукать»,
 Открытью удивившись твоему.

Потом придут удачи и обиды.
 Потом придут прощальные года.
 Но твоего победного “*I did it!*”
 Уже я не забуду никогда.

3. Jackson

Мой младший внук улыбкой осенен,
Вокруг все по нему, все интересно,
Среди других людей ему не тесно.
Родительскою лаской окружен,

Он видит мир, каким тот должен быть,
Где все вокруг понятно, справедливо,
В котором так приятно быть счастливым
И всех любить.
Конечно, всех любить.

4. Sydney

Наша Дюймовочка
Так осторожна.
«Поцеловать тебя можно?»
– «Не можно».
Смотрит внимательно,
Припоминая,
Кто ты? Откуда ты?
Я тебя знаю?
Лобик прикрыла
Легкая челочка.
Здравствуй, красавица,
Здравствуй, Дюймовочка.
Годы промчатся,
Опять и опять
Буду без спроса
Тебя целовать.

Пурим

Я починаю платье для Эсфири.
Для внучки – у нее такая роль.
Здесь делаю поуже, там пошире,
В любой починке дед – ее король.

Ей пять уже. Ей надо быть красивой
Ее подруг, прекрасных, как она,
Смешных веселых девочек «Эсфирей»,
К кому с улыбкой жизнь обращена.

Мой дед-портной, тот Мойша из Одессы,
Кто вынес, выжил, выдюжил свой век,
Учил меня, любимого балбеса,
Прокалывать иголкой снизу вверх.

Он много видел. Три войны и голод.
Но улыбался. Век мне не забыть
Его панаму белую и голос:
«Ну, мамочка, чего тебе купить?»

Его родных, литовских и одесских,
 Не переживших долгих черных лет,
 Поставила судьба – где под немецкий,
 Где под энкавэдэшный пистолет.

За весь свой род, в неславном этом мире,
 Ушедший в землю пепельным дождем,
 Я починая платье для Эсфири.
 Считаю, что Аман предупрежден.

* * *

Я – осколок местечка,
 непривычный к оружию,
 не помнящий языка.
 Я – ошибка, осечка
 гетманского хорунжего,
 щирого казака.
 Для чего нашим внукам,
 веселым всезнайкам,
 уверенным в себе,
 эта злая наука
 костра и нагайки
 клеймом на судьбе.

Идиш

Мы отлучены от языка,
 На котором наши предки жили,
 На котором плакали, любили,
 Саваны и распашонки шили,
 Говорили долгие века.

Но однажды выплывет слово,
 Как звезда из облака ночного,
 И сверкнет, как мамино кольцо,
 И склонится над моим лицом,
 И поманит, и заплачет снова.

Погром

Почему это слово в крови, точно гвоздь,
 Будто я в этом мире непрошенный гость,
 Будто страх и бессилие каждого дня
 Через тысячу лет пропитали меня.

Будто сам это слышал и видел я сам,
 Как летел мамин крик высоко к небесам.
 Как забуду, как память об этом сотру,
 Как насиловал лавочник пьяный сестру.

Как забыть мне разорванный талес отца,
 Точно рама вокруг неживого лица.
 Он хотел уберечь от беды, от огня,
 Целый век прикрывая собою меня.

Это подлое слово, проклятье – погром,
 На любом языке, и сейчас, и потом.
 Это пьяных ублюдков и честь, и хвала,
 Звездный час, что дороже бухла и бабла.

Значит, мне, коль придется и выпадет час,
 Защищать и семью, и потомков, и вас,
 И последним стоять у беды на пути,
 И от этого мне никуда не уйти.

Из цикла «Два настроения»

Фонарь

1.

Ночь, цыганкой чернобровой,
 Юбкой новою шуршит.
 В полсвечи фонарь дворовый,
 Беспризор бритоголовый,
 В середину мира вбит.

И вокруг него безленно,
 Вплоть до самого утра,
 Темноты покров нетленный
 И вращение вселенной,
 И ночная мошкара.

2.

Следящий за двором,
 «Смотрящий по двору»,
 Он в эту землю врос,
 Как дерево стальное.
 Он знает все про всех,
 За каждой стеною
 Он шарит по углам,
 И это не к добру.
 Горит летальный глаз
 Под ржавчиной ресниц,
 Плевать ему на ночь
 И правила приличья.
 Ему что адюльтер,
 Что боль, что честь девичья,
 И нет ему конца,
 Коль ночи нет границ.

Старик

1.

Я быть хочу.
 Мне очень надо быть.
 Я знаю сам, что это ненадолго.
 У времени изношена иглолка
 И старая, натруженная нить.

Уже длиннее стали вечера,
Уже короче небо за дождями,
И все, что было правильно вчера,
Сегодня как проклятие над нами.

2.

Утро холодное, тонкое, чистое.
Листья бездомные землю усеяли.
Как невесомо над темными елями
Купол небесный Создателем выстроен.

Высвистит птица эклогу прощания,
Имя черкнет на лету неразборчиво.
Солнце, как шарик, висит над обочиной
Дальней дороги.
Судьбы.
Мироздания.

Все еще будет – и дождь, и распутица,
Зябкие ветки порой безотрадною.
Только б увидеть, как снова распустится
Девушка-вишня за старой оградойю.

* * *

Дождь за окнами мается, некуда деться.
Ходит и ходит кругами, мучает сердце.
Тонкие нити слюнявит, пытается вдеться
В игольное ушко детства.

Там все не так, все не так, все совсем по-другому.
Там совершенно чужие до боли знакомы,
Все еще живы, здоровы, и все еще дома,
В старых семейных альбомах.

* * *

Поздней осенью, дружок,
Голой осенью,
Где и лужи, и дожди во всем правы,
Возвращаются морщинами и проседью
Те, кого мы позабыли до поры.

И скользит по луже лист
Утлой лодочкой,
Треплет ветер флаги и календари.
Поздней осенью, дружок,
Близкой полночью,
Целой вечностью еще до зари.

* * *

Наверно, он был герой.
За друга он встал горой.
Той самой глухой порой,
Когда страна поредела.

Конечно, потом донос.
Кровавый дурдом – допрос,
Поломанный зэком нос.
Обычное, в общем, дело.

Наверно, он был подлец,
Забыв, что уже отец,
Что Петька его, малец,
Поскребыш врага народа.

И как же теперь она,
Не вдовая, не жена,
Клейменная, как должна
Прожить остальные годы.

Тут каждый решает сам,
И веры нет чудесам.
Без разницы небесам,
Куда ты забросишь тело.

У каждого свой порог,
Важнее всего итог...
А другу он не помог,
Обычное, в общем, дело.

* * *

Дом был на Охте, с парадной в углу,
Первая комната около двери.
Там я, расставив солдат на полу,
Ими командовал и гулливерил.

Дворник-татарин гонял нас метлой
Из дровяных полутемных сараев.
С криком летели мы над головой
Мелких ромашек дворовых окраин.

Помнишь: «Враги называли орлом»?
Как в нас тогда и кипело, и пело.
Май откликался теплом и веслом,
Снег был желанным, и вкусным, и белым...

Что – в небесах, что под землю ушло,
Что-то осталось в семейных альбомах.
Светом иным наполняет стекло
Вите Малееву в школе и дома.

* * *

Такое несчастье – живут и не любят друг друга.
И май, и сентябрь пусты и скучны, как зимой.
Обрыдли до рвоты и суп, и второе, и ругань.
И сил больше нет возвращаться с работы домой.

А больше о них ничего и не скажешь плохого,
Нормальные люди у подлой судьбы под пятой.
На кладбище дальнем один похоронит другого
И, словно назло, вскоре ляжет под той же плитой.

* * *

Зачем живем?
Не знаю, добрый друг,
Но верится – душа должна учиться,
Запоминая местности вокруг
И дорогие,
И другие лица.

А там, куда иной доходит свет,
Ученье даст и посох, и дорогу.
А к Богу поведет или от Бога,
Кто знает.
Но конца дороге нет.

* * *

Оно придет, не помнящее зла,
Не знающее боли поколение,
Которое, хоть крови по колено,
Восторженно проголосует «За».

Разыщутся и флаги, и значки,
Найдутся и пророки, и гомеры,
Заплатится за «счастье» полной мерой,
Такой, чтобы под самые зрачки.

А дальше – голод, войны, реки вспять,
Расстрелы, лагеря и лженауки...
Простят их дети, проклянут их внуки,
А правнуки затеют все опять.

* * *

Давайте будем счастливы сейчас.
Не завтра, не потом – сию минуту,
Пока еще мы все нужны кому-то,
Кто не отводит беспокойных глаз.

Давайте будем счастливы сейчас,
Пока мы докторам не надоели,
Пока мы не допили, не доели,
Не отложили сольце про запас.

Давайте будем счастливы сейчас.
Пускай запомнят внуки нас такими.
Пускай у них для счастья будет имя,
Каким сегодня называют нас.

Рабочим полднем, ночью при свечах,
Какая б морось сверху ни летела,
Пока душе не надоело тело,
Давайте будем счастливы. Сейчас.

* * *

Господи, как это было давно,
Все, что задаром нам было дано,
Все, что, казалось, дано на века,
Как эти улицы и облака.

Как эти летние ночи без сна,
Корюшки запах, а значит – весна,
Дождик привычный над головой,
Мама живая и папа живой...

Из цикла «Испанский дневник»

Толедо

Ни свиты, ни стражи ни справа, ни слева,
Ни слуг, ни придворных за длинным столом.
Ей-богу, неважно, пока Королева
По праву считает тебя Королем.

Пускай не родился ты в славном Толедо,
Пускай ты не знаешь, что делать с копьем.
Ей-богу, неважно, пока Королева
По праву считает тебя Королем.

К такой бы похлебке побольше бы хлеба,
Да ветер гуляет в кармане пустом.
Ей-богу, неважно, пока Королева
По праву считает тебя Королем.

Пускай вдалеке от фамильного склепа
Могила твоя заросла ковылем.
Ты в Эскориале, пока Королева
Все так же считает тебя Королем.

Барселона. *Sagrada Familia*

Какой бы ты веры не был,
Каких не имел идей,
Как дерево,
Сразу в небо,
Растешь
И растишь детей.

И строишь
Все выше, выше.
И думаешь –
На века.
На месте забытой крыши
Лишь птицы да облака.

И люди здесь неповинны.
Заканчивать храм такой –
Как Божию пуповину
Земной обрезать рукой.

Севилья. Фламенко

У него,
У него были крепкие руки
И глаза цвета спелой оливы.
С ним не будет,
Решила она,
Ни обмана, ни скуки.
Вот такие,
Подумала,
Делают бабу счастливой.

Ночь
Летела, как ветер,
По кончикам пальцев,
Осторожно влеталась
В объятия горячей рукою.
Ночь
Лежала на стуле отброшенным платьем.
Ночь была
Совершенно другою.

Утром
Птицы развесили новые чистые трели.
Солнце
Не спеша поднималось все выше и выше...
Он коснулся плеча,
Он сказал, улыбнувшись:
«Ты прелесть».
И добавил немного к ночному тарифу.
И вышел.

Мадрид. Прадо

Мне одиннадцать,
Мокрый от страха,
Мы со старым альбомом одни.
Гойя.
Обнаженная Маха.
Неужели
Такие
Они?!
Неужели соседская Танька,
Малолетка, чего с нее взять,
Вот такой же когда-нибудь станет.
И смотреть будет так,
И лежать!
Эта грудь
И откинутый локоть
Так распахнуты горячо.
И цыганский струящийся локон,
Ниспадающий на плечо.

Как смогла она, как сумела,
 И сама не заметив того,
 Переполнить собою пробелы
 Воспитания моего.
 Годы шли
 То гурьбой, то парадом.
 То дарили,
 То брали свое...
 Я пришел на второй этаж Прадо,
 Лишь бы только
 Увидеть ее.
 И дрожа, точно малая птаха,
 Я сказал,
 Свою робость кляня:
 «Здравствуй,
 Обнаженная Маха.
 Я пришел.
 Посмотри на меня».

Окраина

Индустриальная окраина
 Стальным посверкивает зубом.
 На Авеля здесь по три Каина
 И не хватает неба трубам.

Когда-то сльвиная зеленою,
 Плодоносящей по базарам,
 Побита водкою паленою,
 Разведена по мерзлым нарам.

Полуживая, в черных пролежнях
 Закисших луж, немых окон.
 Здесь даже лучший – вечный троечник,
 И все ему выходит боком.

* * *

Снег топтался всю ночь у закрытых дверей.
 Не звонил, не стучал, дожидался рассвета.
 Зайцев, белок и прочих пугливых зверей
 Укрывал, согревал, убаюкивал с ветром.

Снег шел целую ночь и немного устал,
 И прилег отдохнуть на кусты осторожно.
 Он не то чтобы слаб, и, конечно, не стар,
 Но нелегкое дело бродить бездорожьем.

А когда оставалось еще полчаса
 До рождения дня, до начала событий,
 Кто-то там наверху натопил небеса
 И обрывками туч, словно ветошью, вытер.

* * *

Дьявол в деталях, а Бог в мелочах,
В сладких подробностях доброго быта,
Там, где хорошая книга открыта,
Белой подушкой облако взбито,
Смех во дворе и платок на плечах.

В елочной сутолоке, кутерьме,
В предновогодней готовке и спешке,
Где золотые в иголках орешки,
Где королевы – вчерашние пешки,
Золушки – в платьях от кутюрье.

Осень одарит листом, как словом,
Не торопись – разберешься позднее.
Ночи, как водится, стали длиннее,
И потому-то, наверно, сильнее
Хочется сказки с хорошим концом.

* * *

Дождь свил гнездо на старой крыше
И навещает через день.
Стучит там, чинит что-то. Слышишь,
Как тяжело курилка дышит?
Давно пора к врачу, да лень.

Уже весна. Сачки деревьев
Приманивают стаи птиц,
Чтобы потом из старых перьев
Наделать накладных ресниц.

И каждой заваливающей ветке
Зудит расцвеств над головой,
Как будто разослал повестки
Неведомый городовой.

Уже весна. И ветер сладкий,
Забыв хронический бронхит,
Нашьет зеленые заплатки
На наши зимние грехи.

Памяти В. Высоцкого

Не качаются здесь фонари,
Крепко, намертво, вбиты в бетон.
Не будите меня, звонари,
Поднимать до зари – моветон.

Где похмельные спят города,
По-над речкой береза грустит,
Не учите меня, господи,
Языку подневольной Руси.

Не осталось живого огня,
Только дым поднялся к облакам.
Не ищите, ребята, меня
По тоскливым пустым кабакам.

Неужели все было зазря –
Песни, праздники, дружеский стол...
Не гоните меня, егеря,
На горячий натруженный ствол.

Сонет

У дьявола все игры – поддавки...
Прекрасный вечер, соловьи-синички,
И девочка, воздушные реснички,
На мальчика глядит из-под руки.

К вечерней зорьке вышли рыбаки,
С закуски начиная по привычке,
Передают, прикуривая, спички,
Подвязывают к лескам поплавки.

В кустах сирени, на пустой скамье,
Вдруг вспомнив об оставленной семье,
Затих последний пьяный, пригорюнясь.
Погашен свет на третьем этаже,
И вот она закончилась уже,
Суббота,
Двадцать первое июня.

Март 53-го?

А это – я, трехлетка-недомерок,
С любимым самолетиком в руке,
В пальто на вырост: длинном, жарком, сером,
С просохшею слезою на щеке.

А это – мама. В папиной ушанке,
С тяжелой сумкой, брату не поднять.
Она ее прозвала «каторжанкой»,
Но это мне пока что не понять.

А это – папа. Он нам очень нужен,
Он тащит наш огромный чемодан.
Вот он его поставил прямо в лужу
И мне конфету почему-то дал.

А это – брат. Ему уже двенадцать,
Он знает много разного всего,
От книжки он не хочет оторваться
И вслух мне почитать. Да ну его!

А это – Рабиновичи, из пятой
Парадной – тетя Вера, дядя Сём.
А это – наши русские солдаты,
С винтовками стоящие кругом.

А это – поезд наш. Он очень старый,
И мы на нем поедem далеко.
Вот паровоз гудит и дышит паром,
Ему сегодня будет нелегко...

Еще беда не ткнула в бок соседу
Зачочки жало. И хана ему...
Доедут все. Я только не доеду.
Теперь уже не помню почему.



Юрий Солодкин – родился и всю жизнь до отъезда в Америку прожил в Новосибирске. Прошел все ступени научного сотрудника – от аспиранта до доктора технических наук, профессора. В Америке с 1996 года. Работал в метрологической лаборатории в Ньюарке. Рифмованные строчки любил писать всегда, но только в Америке стал заниматься этим серьезно. В итоге в России вышло четыре поэтических сборника, книга прозы и шесть книжек стихов для детей. Кроме того, в интернет-журналах Берковича и в журнале «Время и Место» опубликованы очерки и эссе.

Сквозь бури и грозы

1

Небо над головой. Многие века там обитали боги и ангелы, дьяволы и черти. Оно то радовало солнечным теплом и живительным дождем, то наказывало градом, убивающим посевы, и молнией, устраивающей пожары. Что остается делать? С небом не поспоришь. Умолять, умастить дарами, взывать к жалости? Иногда помогало, чаще нет.

Но вот полетели в небо первые самолеты, а следом и ракеты. Все небесные обитатели исчезли в далеком космосе. А нам осталось любоваться небом в любую погоду и привыкать к умному слову – атмосфера. Дальше – больше. Поскольку небо свободно от высших сил, и атмосфера – только часть природы, то как не похозяйничать в ней себе на пользу.

Это было его предназначением, его судьбой. Когда он говорит об этом, не может сдерживать эмоций:

– Спасибо Тебе, Высший Разум, за то, что создал для человека такую замечательную систему, которая называется Природой. Спасибо Тебе, что сделал моей любовью и страстью физику атмосферы.

– Это про нас, – говорит он про «Иду на грозу» Даниила Гранина.
– И это про нас, – о песне Юрия Кукина «А я еду, а я еду за туманом...»
– Много лет мы реально шли на грозу и гонялись за туманами.

Когда встречаешься с одаренным человеком, не просто состоявшимся в жизни, а чьи достижения весомы и зримы, возникает интерес к тому, как он получился такой, каким он был в детстве и юности, как шел к своей вершине, «через тернии к звездам».

Леонид Диневи́ч родился в 1941 году, за десять дней до начала войны. Это случилось в селе Оноры на Сахалине, куда был направлен

для прохождения службы после окончания Одесского военного училища его отец. В самом начале войны их часть передислоцировали в расположение военного гарнизона близ станции Зима Иркутской области.

Первое, что сохранила память. Ему почти четыре. Весна. Небо плотно укутано облаками, которые принимают самые разные формы, превращаясь во что-то узнаваемое. Он идет по дороге вдоль одноэтажных деревянных домиков, в которых живут семьи офицеров. За домиками лес с высоченными деревьями. У обочины дороги – деревянный столб, на котором висит большой серый колокол. Из него звучит мощный голос, объявляющий об окончании войны и капитуляции фашистской Германии. Победа!

Возле столба собираются женщины, целуются, обнимаются, плачут. Он бежит домой и кричит: «Мама! Победа!» Мама выбегает на улицу и плачет вместе со всеми. А он, гордый, как победитель, идет строевым шагом по укатанной грунтовой дороге. Дорога уходит за горизонт. Там что-то скрыто от глаз, но он обязательно узнает, что, когда вырастет.

Всю жизнь ему будет сниться эта дорога. Она станет для него символом судьбы. Его жизнь – это одоление дороги, по которой суждено идти...

В его рассказе – небольшая пауза. Возможно, он снова видел, как наяву, ту врезавшуюся в память дорогу. Я ждал, когда Леонид продолжит:

– Отца отправили воевать на японский фронт, а все остальное семейство – я, полуторагодовалый младший брат и мама, беременная моей будущей сестрой, – поехали из Сибири в родную Одессу, где оставалась семья моей мамы и где, как решили родители, ей лучше родить и какое-то время пожить с детьми среди своих. Но прошло четыре года страшной войны. Где те, что остались? Успели ли спастись или, не дай Бог, погибли? От них никаких вестей. Едем, а там будет видно.

Лето 45-го года. Мы все стоим у дверей квартиры, в которой выросла мама. Оцепеневшая от ожидания и страха, мама стучит в дверь. Дверь приоткрылась. Я не видел, кто ее открыл, не слышал, что было сказано, но дверь перед нами захлопнулась.

Мы вышли во двор, и тут же высыпали соседи. Многие узнали маму, и она называла их по именам. А дальше мы услышали жуткий рассказ.

В этом дворе от рук фашистов погибли бабушка, старшая

мамина сестра, беременная на последнем месяце, и двое ее детей. Выдала их дворничиха. Мама помнила ее. Она приходила к ним в гости, пила чай с бабушкиными пирожками и благодарила за доброту и гостеприимство.

Когда убежать от захватчиков не удалось, дворничиха обнадежила, что спрячет их и защитит, но в первый же день привела фашистов в квартиру с евреями. Их выгнали на улицу. У сестры начались преждевременные роды. Она не могла идти, упала. Ее добила прикладом. Бабушка с криком упала на нее и тоже получила удар в затылок. Двух ревущих детей поволокли и бросили в машину.

Мама плакала навзрыд, а я, как она рассказывала потом, спросил:

– Почему убили бабушку?

– Потому что она еврейка, – услышал я в ответ.

Слово «еврейка» было для меня новым, и я его сразу забыл.

Мы ушли. Нас не пустили в нашу квартиру. Туда вселился кто-то чужой. Вот был бы папа рядом, он бы восстановил справедливость. Но он далеко, а мама не в силах что-либо сделать...

Мы поселились в полуподвале, в крохотной комнатке, которую уступила нам мамина подруга довоенных лет. Это была коммунальная квартира с общей кухней и длинным коридором, по которому можно было бегать и гонять на оказавшихся нашими трехколесных велосипедах.

Жить трудно. Денег нет. А в августе мама рождает сестренку, и становится совсем тяжело. Она идет в горсовет с просьбой вернуть квартиру и оказать помощь. Молодая красивая женщина, как не воспользоваться ее положением, – и власть имущий намекает, что может помочь, если она... Повернулась и ушла. Как-нибудь проживем, дождемся папу, и он с этими гадами разберется.

У мамы было много молока, хватало и сестренке, и на обмен. За него она получала продукты. Да и сердобольные соседки подкармливали нас, малышей, – то галушками угостят, то варениками, а бывало, и супа горячего нальют.

А папа воюет в это время с японцами на Сахалине и Курильских островах. Японцы быстро признали себя побежденными. К концу августа все было кончено. Курилы теперь наши! Это потом я узнал, что под смертоносным огнем на острова высаживались десанты, шли кровопролитные бои.

Папа жив-здоров, берет короткий отпуск и приезжает за нами в Одессу. У него нет времени разбираться с нашей бывшей квартирой, а тем более – искать дворничиху, которая, скорее всего, сбежала в

родную деревню, и никто не знает, откуда она родом. Папа забирает нас по месту своей службы, на Курильские острова.

– Вот скажите, – Леонид обращается ко мне, – как такое получается. Дворничиха всю жизнь не идет у меня из головы. Люди растут в одинаковых условиях, учатся в одних школах, воспитываются в духе высокой морали, дают клятву пионеров, становятся комсомольцами и коммунистами. Но стоит только измениться условиям, к примеру война, тут же – стяжательство, предательство, ненависть к тем, кого уважали и даже любили.

– Ну это же не все, и даже не большинство. Иначе войну бы не выиграли.

– Согласен, не большинство, но очень многие. Я начинаю думать, что это объективный закон человеческого бытия, человеческая природа. До поры до времени такие качества, как зависть, жестокость, подлость, таятся где-то в глубине, но в подходящий для них момент выходят наружу. Это у всех. Но одни научены подавлять их, загоняя снова внутрь, а у других это не получается.

– Все же бывают люди, изначально не способные на жестокость и подлость.

– Конечно, бывают, но исключительно редко.

– Значит, меньше раз ошибешься, никому не доверяя, чем доверяя всем?

– Могу сказать только про себя. За свою доверчивость я был неоднократно наказан, но изменить себя не мог.

– И вы считаете это своей ущербностью?

– Не знаю насчет ущербности, но жить мешало. Уповать можно только на жизненный опыт и интуицию. Собственно, интуиция и есть жизненный опыт. Я вот чувствую, – смеется Леонид, – что вы человек порядочный.

– Спасибо за доверие. По-житейски все так, а психологи пусть разбираются с нюансами.

– Пусть разбираются, – согласился Леонид, – но дворничиха – сволочь и убийца.

Мы сидим в уютном кафе на короткой и очень красивой улице Мамила, ведущей к Яфским воротам. Это наша первая личная встреча. До этого была переписка, из которой я узнавал о его насыщенной событиями жизни. Мне уже было известно, что он занимал в Союзе высокий пост, имел звание генерал-лейтенанта. В Израиле он тоже нашел приложение своим знаниям и способностям,

но это была не та высота, к которой он привык. Умом все понимал, но душа никак не могла успокоиться. Приходилось просить, а он привык приказывать...

Но это все позже, а пока вся семья – папа, мама и трое детей, мал мала меньше, – поселилась на краю света, на острове Кунашир.

Первое, что вспоминается, – море. В полукилометре от берега, а во время прилива – всего метрах в пятидесяти – ряд одноэтажных деревянных домиков для семей офицеров, точно таких же, как в Сибири, на станции Зима. Возле каждого домика – сарайчик и небольшой двор. За домиками сопка. К ее вершине ведет длинная деревянная лестница. На сопке солдатские казармы, а вокруг густой лес. Вповалку лежат отжившие свой век деревья, покрытые мхом, а рядом уже пробиваются маленькие деревца. Одно уходит, другое является ему на смену.

Чуть подальше – японская деревушка с еще живущими в ней японцами. Там была небольшая деревянная пагода с изогнутой крышей, куда они ходили молиться. Внутри пагода была украшена разноцветными фонариками и гирляндами из бумаги и картона. Мы бегали в эту пагоду, брали фонарики для своих детских игр, и никто нам не препятствовал. Для японцев мы были победителями, а они для нас – побежденными врагами.

– Что еще запомнилось, – Леонид отхлебнул кофе. – Не устали слушать?

– Разве мы не для этого встретились? – отвечаю вопросом на вопрос, и Леонид продолжает.

– После отлива на берегу часто оставалось много рыбы, в основном горбуша. Может, вам более знакомо другое название этой рыбы – лосось. Недалеко от дома папа вырыл яму и поставил сверху железную бочку без дна. В яме разжигали костер, а в бочке подвешивали рыбу для копчения. В копчении рыбы принимала участие вся семья. Даже едва начавшая ходить сестренка подбрасывала щепочки в костер и в восторге пищала, когда они вспыхивали. Из рыбы доставали икру и солили в специальных деревянных бочонках. За нашим домом был небольшой участок, на котором мы сажали картошку, а в сараюшке мама выращивала поросенка...

Леонид немного помолчал. Взгляд его казался устремленным внутрь. Что еще сохранила детская память?

– Землетрясения происходили чуть ли не каждый день. Они были настолько привычными, что никто не обращал на них

внимания. Мебель была соответствующая: массивный стол, шкаф, прикрученный к стене, тяжелые табуретки, в центре которых было отверстие под ладонь, чтобы легко было их перемещать. Под потолком на шнуре висела лампочка без абажура. Табуретки под нами качались, но рядом были спокойные мама и папа, и нам было совсем не страшно.

Надо упомянуть еще про печку, которая выдержала все землетрясения. Ее топили дровами. На ней мама готовила обеды и грела воду для стирки. Но главное – от нее исходило такое тепло, которое ни с каким другим сравнить нельзя. Каким наслаждением было, придя с мороза, расположиться у печки! Похожее ощущение возникало потом только возле костра. Есть что-то завораживающее в горящих дровах. То ли это детская впечатлительность, то ли отзвук пещерных предков, кто знает.

А зима была долгой, с ветрами и снежными бурями. В иные дни ходить можно было только держась за веревки, натянутые между домами. Дома засыпало снегом по самую крышу, и вход в дом раскапывали солдаты.

На острове были дети только из семей офицеров, причем все – дошкольного возраста. Школы не было, и старшие дети отправлялись учиться к бабушкам и дедушкам на материк. Поэтому в свои шесть с небольшим лет я был самым старшим и в авторитете, как нынче принято говорить.

Свобода наших перемещений была очень ограничена. Это были или набеги на соседнюю японскую пагоду, о чем я уже говорил, или игры на берегу во все, что мы только могли придумать. Родители изредка поглядывали за нами издали, не особенно волнуясь.

Хорошо помню один момент, который мог закончиться трагически. На берегу стояла небольшая просмоленная японская лодка, больше похожая на ящик. Мы решили все залезть в эту лодку. Пусть она будет большим военным кораблем. Мы – это мой брат, соседские друзья и даже моя маленькая сестренка, которая сама залезть не смогла, пришлось ее затащить. Капитаном был я, и мы плыли воевать с фашистами. Мы настолько увлеклись игрой, что не заметили, как прилив поднял нашу лодку и потянул в море. Никто не испугался. Ведь мы плыли на войну и трусами быть не могли. Родители заметили наш морской поход, когда мы были уже далеко от берега. Им пришлось вызывать пограничный катер, который вернул героев домой...

После нескольких лет службы на Курилах отца направили в подмосковный Солнечногорск, на курсы высшего командного состава «Выстрел». По окончании курсов его не вернули на Курилы,

а направили для продолжения службы в Волынскую область Западной Украины, на борьбу с бандеровцами. Это означало, что с Кунашира до Солнечногорска нам нужно было добираться самим.

Наша дорога в Солнечногорск – это отдельная повесть. Дело к зиме. От пирса уходит последний в навигации грузовой пароход. Если на нем не уплыть, придется ждать до весны. А меня надо отдавать в школу. Мать мечется, не зная, за что хвататься. Спасибо папиному ординарцу – он помог собрать вещи и подвез нас к пирсу.

Холодно и сильный ветер. Из-за шторма пароход не может причалить к пирсу и стоит на рейде. К пароходу всех доставляет специальный катер. Катер и пароход сильно качаются на волнах. Всех пассажиров и вещи приходится поднимать с катера на веревке. Нас по очереди обвязывают веревкой и поднимают на палубу.

Пассажиров не так много. Всех разместили в трюме, ведь пароход-то грузовой. Запомнилась гора соли в середине трюма. Наконец, отплыли. Качка такая сильная, что все лежат пластом и не могут подняться. А меня почему-то не укачивало, и я помогал всем, кто просил что-то принести или унести. Это продолжалось больше двух суток, до прибытия во Владивосток.

Нас высадили на привокзальный берег, прямо на грунт. Встречать нас некому, дальше сами, как хотите. Маме нужно пойти на вокзал и по воинскому билету получить места на поезд Владивосток – Москва. Она оставляет нас на берегу. Мне семь лет, на мне лежит ответственность за брата и сестру, пока нет мамы. Мне нравится чувствовать себя взрослым.

Мама возвращается. Все в порядке, но поезд отправляется почти через двое суток. Что делать? Уже поздний вечер. В комнате матери и ребенка нам отказали – нет мест. Куда деваться с детьми?

Выручил молодой моряк. Увидев нашу беду, он предложил переночевать в деревянном строении, которое было когда-то общественным туалетом. Из толстых матов была сооружена стенка, отделяющая туалетные дыры от небольшого входного пространства. На полу лежали такие же маты, на них мы и переночевали. Наутро тот же моряк получил для нас место в комнате матери и ребенка, а потом помог нам сесть на поезд.

В общем плацкартном вагоне мы ехали до Москвы семь суток. В Москве нас встретил папа с подарками каждому. Мама светилась от счастья, и мы все поехали в Солнечногорск.

Солнечногорск мне не запомнился. Там мы были очень недолго, а потом поехали по новому назначению – в Западный военный округ, в небольшой городок Любомль Волынской области, в 17 км от

польской границы. 1949-й год. В лесах и на хуторах еще полно бандеровцев, которые вешали и убивали коммунистов, сжигали колхозную собственность. Их ликвидацией и должен был заниматься отец. А для меня начиналась моя школьная жизнь. Я начал учиться в русской школе в Любомле, а заканчивал школу в соседнем городке, Владимире-Волынском, куда мы переехали вслед за отцом.

Что сказать об этом времени? Оно было беззаботным и счастливым. В окрестном лесу росли ягоды и грибы. В палисадниках зрели яблоки и груши. Огороды краснели помидорами и зеленели огурцами. По сравнению с Кунаширом это был райский сад.

Учился я легко, получал по всем предметам только пятерки. Исключением был украинский язык, считавшийся вторым после русского. Говорил я неплохо, но писал с ошибками. Из-за отметки по украинскому мне не дали медаль после окончания школы. При том, что в десятом классе на областной школьной олимпиаде я получил первые места по математике, физике и химии. Мне и в голову не приходило, что это могло быть связано с моим еврейством. Никакой обиды – надо было лучше учить украинский, – думал я, и родители даже не пытались мне объяснить, что могут быть иные причины.

Памятными в школьные годы были дни, когда отец брал нас с собой на полевые учения. Мы жили в палатках, ели солдатскую кашу, стреляли из всех видов оружия. Это был немаловажный фактор в воспитании настоящих мужчин.

Мне нравилось быть авторитетом среди учеников и чувствовать уважение учителей. Мне поручали возглавлять ученические отряды в походах по окрестным местам, и всегда был полный порядок, никаких эксцессов. Надо ли говорить, что я был искренне преданным пионером и комсомольцем.

В семье мы никогда не слышали никакой критики советской власти. Она всегда была права. Помню венгерские события. Со всех сторон – осуждение попытки фашистского переворота. Отцовский полк в полной боевой готовности выведен на польскую границу. Фашизм не пройдет!

Еще одно событие – Дело врачей. Врачи-убийцы. Еврейский заговор. Вокруг нас немало евреев – и среди родительских друзей, и среди учеников в школе. Взрослые перешептываются о возможных проблемах для евреев. Мне, ученику четвертого класса, завуч школы задает вопрос, что я сделал бы с врачами-отравителями. Я пионерски уверенно ответил, что их всех надо расстрелять. Много позже я понял, насколько подло было задать этот вопрос именно мне. А тогда я не сомневался в справедливости обвинений, в преступном заговоре. Но я-то лично при чем? Меня может ждать только светлое

будущее.

Ближайшее светлое будущее должно наступить, кто бы сомневался, после окончания школы. Меня поздравил с победой на олимпиаде школьников морской офицер в красивом мундире и предложил поступать в Ленинградскую Военно-морскую медицинскую академию. Это было больше, чем мечта. Это звучало как песня. Я обрадовал родителей и дал согласие.

Прежде чем поехать в Ленинград сдавать экзамены, надо было пройти медицинскую и мандатную комиссии в Луцком облвоенкомате. Медицинскую комиссию я прошел легко. На мандатную комиссию шел с полной уверенностью: сын боевого офицера, круглый отличник, политически грамотный и общественно активный.

Большущая комната. Длинный стол. За ним в центре сидит военком, по обе стороны от него – члены комиссии. Перед военкомом папка с моим личным делом. Незаметно я заглянул в открытую папку. Одно короткое слово подчеркнуто красным карандашом. Четко не вижу, но догадываюсь, что это слово «еврей».

Обращаясь ко мне, военком говорит, что не может послать меня в Ленинградскую академию, и предлагает Высшее техническое училище бронетехники. Причиной он называет то, что я еще очень молод, а в Академию требуются студенты, уже имеющие опыт работы или службы в армии.

В полной растерянности заявляюсь домой. Родители тоже расстроены, но ни слова про антисемитизм. Они отправляют меня в Одессу. Там мамина сестра, есть кому принять, и полно ВУЗов – есть где учиться...

Я подал документы в Технологический институт пищевой промышленности. Первые три экзамена – математика письменно и устно и физика – отлично. За сочинение на русском получил четыре. Последний экзамен – немецкий язык. «Немка» в школе меня всегда хвалила. Я не был свободен в языке, но школьную программу освоил на отлично. Понял все, что меня спрашивали по-немецки. Ответил на все вопросы. Перевел и написал какие-то предложения. Мне не сделали ни одного замечания, не указали ни на одну ошибку, но поставили тройку. Это означало, что я не набрал проходного балла.

Сегодня я понимаю, что была задача не пропустить меня по конкурсу, но тогда я все еще не допускал мысли об антисемитизме по отношению ко мне. Верите или нет, но я решил, что надо лучше готовиться. Сейчас трудно в это поверить, но так было.

Следующая попытка возможна только через год, но если и она будет неудачной, тогда заберут на три года в армию. А пока надо устраиваться на работу.

Дядя, муж маминой сестры, устроил меня слесарем на завод «Металлист». Работа не была мне в тягость. Когда я ехал в трамвае домой, мне казалось, что люди с уважением смотрят на мою замасленную одежду и на ладони с застрявшими кусочками стружки. А как же иначе – едет рабочий человек!

Одновременно я поступил на подготовительные курсы Одесского гидрометеорологического института. Этот выбор не был случайным. Атмосфера, моря и океаны, погода и климат, – все это уже начинало овладевать моими мыслями, увлекало возможностями новых достижений в овладении природой.

Через год снова сдаю вступительные экзамены. Переживаю не только я, но близкие и дальние родственники. У меня уже есть повестка явиться в военкомат. Но... все экзамены сданы на пятерки, и я зачислен на первый курс. В институте есть военная кафедра, поэтому я освобожден от призыва в армию.

Первая сессия сдана на отлично. Я получил повышенную стипендию и место в общежитии. Не остались незамеченными и мои организаторские способности. Вскоре я стал заместителем председателя Объединенного комитета профсоюзов, а еще через год – председателем Студенческого научного общества нашего института.

Тут хочу рассказать о том, о чем мне больно вспоминать, но чего никак не могу забыть. Мой младший брат после окончания школы решил поступать в тот же институт, где учился я. Все экзамены сдал на пять, а за сочинение по русскому языку и литературе – тройка. Ситуация повторяется с очевидной закономерностью. Мы идем, подавленные результатом, а навстречу – моя преподавательница, куратор нашей группы, очень хорошо ко мне относившаяся: «Что, ребята, голову повесили?» Рассказываю, что случилось. «Надо проверить. Не исключено, что можно помочь».

Но попытка таким путем исправить оценку казалась мне бесчестной. И брат молча стоял рядом, был того же поля ягода, что и я. Почему мне в голову, вроде совсем неглупую, не приходило, что «тройка» брата, как ранее моя, была бесчестной и несправедливой, что исправить ее было бы как раз справедливым и правильным. «Но комсомолец Леонид Диневич, – с горькой усмешкой сказал он о себе в третьем лице, – ответил: «Спасибо, не надо. Пусть готовится к экзаменам лучше». Можно ссылаться на время, на воспитание из нас павликов морозовых, на наше полное незнание реальной жизни, –

все так. Но помните, у Твардовского: «...и все же, все же, все же» ...

Про институтские годы рассказывать особенно нечего. Круглый отличник, круглее не бывает. Про общественную работу уже говорил. Кроме этого, научная работа на кафедре. Даже по просьбе профессора несколько лекций прочитал по теоретической механике. Все шло к тому, что после окончания меня оставят на работе в Институте.

Так бы оно и было. Но жизнь распорядилась по-другому... Это случилось в колхозе, куда нас, студентов, отправляли на помощь в уборке урожая. Я, как ответственный за работу студентов, собираю вечером народ, чтобы обсудить итоги дня. И вот девочки жалуются, что две подруги делают существенно меньше остальных, и это снижает общий показатель.

Не буду вдаваться в подробности, но одну из них звали Соня. И вот я, студент третьего курса, почти каждый вечер хожу полчаса пешком к ней в гости. Соня жила вместе с подругой Анютой. Я не могу не упомянуть Анюту, поскольку ее мама была акушеркой и принимала роды у Сониной мамы в Винницком гетто. Так и дружили с тех пор и мамы, и дочки.

Однажды я застал в гостях у Сони с Аней парня, который приехал на служебной машине откуда-то из Винницкой области. Парень вел себя как жених и всем видом показывал, что у них с Соней вопрос уже решен. Меня это настолько разозлило, что я, зажав вилку в руке, сломал ее большим пальцем, и обломок полетел в сторону соперника. Это был вызов. Мы вышли. Он пытался мне объяснить, что Соня его любит и будет его женой. А я ему сказал, чтобы он про Соню забыл и больше не попадался мне на глаза.

Решение было принято, и в конце апреля я стал семейным студентом. Это была первая студенческая свадьба на курсе. Соня стала моей любовью на всю жизнь, моим счастьем, моей жизненной удачей...

После окончания института было несколько возможностей, включая аспирантуру. Но на распределение приехал профессор Гайворонский Иван Иванович из Центральной аэрологической обсерватории в Долгопрудном. Соня проходила у него производственную практику. Я тоже одновременно проходил эту практику, но в другой организации, в Москве. Мы, естественно, жили вместе, но я часто бывал в обсерватории, и Иван Иванович меня знал.

Так вот, он уговорил нас распределиться к ним на работу, но не в

Долгопрудном, а на полигоне в Молдавии. Расписал, что мы будем работать на переднем крае науки и техники, что в короткое время защитим кандидатские, а затем и докторские диссертации, но главное – нам в ближайшее время обещана квартира. Это же такой подарок для молодой семьи! И вдобавок в Тирасполе жили теперь мои родители, значит, с ними можно будет чаще встречаться.

Несколько слов – о том, как родители оказались в Тирасполе. В 1960 году Никита Хрущев решил сократить Вооруженные силы СССР почти на треть. Отец был уволен в запас. Жилья нет, гражданской профессии нет. Где жить, на что жить – кого это волнует? Пройти войну, отслужить более четверти века верой и правдой и оказаться никому не нужным. Это к вопросу, как заботилась Советская власть о человеке.

Приехали в родную Одессу. О возвращении украденной по сути дела квартиры никто и слышать не хотел. Более того, отказались даже прописать в городе, если не найдут квартиру, соответствующую минимальной норме на пять человек. Иначе чем издевательством это не назовешь. Пришлось уехать к отцовским сестрам в Тирасполь.

2

«Облака плывут, облака...» Пар поднимается с поверхности воды. Туман стелется по земле. Теплые потоки воздуха поднимают его выше и выше, и вот он превращается в белые облака, принимающие самые причудливые формы. А пар продолжает подниматься. Температура воздуха все ниже и ниже. Образуются капли и градинки, которые становятся все тяжелее и тяжелее. Облака превращаются в тучи. Капли и градинки становятся настолько большими, что сила тяжести превышает подъемную силу потока воздуха, и туча проливается дождем или градом. Великий круговорот воды в природе!

Такая картина вполне устраивает поэтов, но не ученых, которым надо иметь формулы и уравнения. Объект очень сложный, ежесекундно меняющийся. Тут без высшей математики, без исчисления вероятностей не обойтись. А если мы хотим еще и вмешаться в естественный ход процесса, надо создавать новые технологии и технические средства. Это уже требует экспериментальных исследований и создания больших коллективов, объединяющих ученых, инженеров и других сотрудников, которые им сопутствуют.

Все это я рассказал Леониду, который с улыбкой выслушал мое популярное изложение того, на что он потратил годы тяжелого, с полной самоотдачей, труда.

Еще в институте, в начале шестидесятых, он услышал об активных воздействиях на облака. Первые успехи, как это часто бывает, вызвали непомерные ожидания. Град больше не будет уничтожать урожаи, дождь и снег будут выпадать где надо и в нужное время, ураганы будут менять свои пути и уменьшать разрушительную силу. Да что там осадки и ураганы! Будем управлять атмосферой и менять климат.

Эйфория быстро прошла. Экспериментальный полигон, на котором он начал работать в Молдавии, был в зачаточном состоянии. Они прибыли сюда в конце июня 1965 года, всего через полгода после его создания. Вышли на железнодорожной станции Корнешты, спросили, как дойти до полигона. «До ракетной базы?» – уточнил местный житель. Так здесь именовали полигон.

Ему запомнилась липкая черная грязь, которая приклеивалась к подошвам и отваливалась кусками при ходьбе. На окраине поселка – длинный глинобитный сарай, служивший раньше складом, несколько палаток, радиолокатор и две пусковые ракетные установки. Сотрудников – десяток с небольшим, вместе с командированными.

Через 28 лет своей работы он мог с гордостью перечислить содеянное: 12-этажный производственно-лабораторный корпус в Кишиневе, командно-диспетчерский пункт совместного управления воздушным движением и запусками ракет и Центр для рассеивания туманов в аэропорту Кишинева, 250 ракетных пунктов, 15 экспериментальных баз в различных районах республики с комплексами служебных зданий, с десятками километров подъездных дорог и линий связи, с собственными электростанциями на случай отключения электричества при грозах, с жилыми домами и базами отдыха для сотрудников, число которых достигло почти трех тысяч человек.

Создание такого большого коллектива, способного на высоком научном и техническом уровне решать поставленные задачи, Леонид считает главным достижением в своей жизни.

На двух заводах Молдавии шло освоение производства пусковых установок под новые типы ракет. Количество используемых ракет превысило 50 тысяч ежегодно. По его инициативе началась подготовка специалистов в Кишиневском университете. Он взял на себя чтение курсов физики атмосферы и радиолокационной метеорологии.

Накапливались экспериментальные результаты, которые стимулировали новые научные разработки и более совершенные технологии. Доктор физ-мат наук, профессор Леонид Диневиц

вместе с сотрудниками публиковал статьи и книги. Всего им опубликовано пять книг и более ста статей по проблемам активных воздействий, а также по радиолокации птичьих стай. Но речь о птичьих стаях еще впереди.

Широкий спектр профессионально и эффективно выполняемых задач, техническое оснащение новыми разработанными средствами воздействия сделали *Службу* – так коротко называл Леонид свою организацию – авторитетной не только в Союзе, но и в мире. В Молдавию учиться и перенимать опыт приезжали специалисты из многих стран: США, Китай, Аргентина, Бразилия, Италия... – далеко не полный перечень. И Леонид Диневич неоднократно бывал в этих странах, выступал с докладами на конференциях, обсуждал со специалистами состояние работ по активным воздействиям.

Все это звучит победными гимнами. Но его свершения – это не только результат собственных знаний и таланта, это еще и работа с людьми, среди которых он обрел много друзей; однако были и соперники без чести и совести, были и враги, подлые и мерзкие. Во время долгих разговоров Леонид вспоминал то один, то другой эпизод из его жизни. Было видно, что он переживает их заново...

Леонид вспоминает, как после обещания почти манной небесной его, Соню и маленькую дочку поселили в девятиметровой комнатке в двухкомнатной квартире. После отъезда соседа они переселились в его четырнадцать квадратных метров. Большое спасибо! А когда получили для себя и родителей Сони, с которыми стали жить вместе, отдельную двухкомнатную малометражку, это был праздник.

Не случайно он вспомнил про жилищные условия. Когда ему было предложено написать книгу, он с энтузиазмом взялся за эту работу, но на службе – а она длилась с утра до вечера – времени для книги не оставалось. Он писал ее до поздней ночи дома. В одной комнате жена с ребенком, в другой – ее родители. Оставалась ванная. На ванную была положена доска, приставлена табуретка. Чем не рабочий кабинет!

Леонид продолжает:

– И вот книга готова. Отправляю ее московским начальникам, по инициативе которых она была написана. Включаю их в число авторов – от меня не убудет, а делу поможет. Вдруг получаю от них предложение – в это трудно поверить: исключить меня из авторского коллектива. Какой-то жалкий лепет по поводу примирения «артиллерийского» и «ракетного» направления, а я непримиримый

сторонник второго, и первые могут обидеться, увидев меня среди авторов.

- Действительно, жалкий лепет. И что вы ответили?

- Я отказался от авторства. Подумал – хрен с ними! Я молод, мои книги еще впереди. Зато буду иметь поддержку из Москвы во всех своих начинаниях, включая финансирование работ, укомплектование кадрами и прочее.

- Сегодня не жалеете об этом?

- Жалею только о том, что этот поступок не делает мне чести. А для меня быть честным во всем было жизненным кредо.

- Разрешите с вами не согласиться. К чести это не имеет отношения. Вы играете в шахматы и жертвуете фигуру, чтобы одержать победу. Вы отказались от авторства, но в итоге победили.

- Теперь я с вами не согласен. Аналогия с шахматами хромает. Люди – это не шахматные фигурки.

В другой раз снова возник разговор о чести и достоинстве. Для Леонида это всегда были наиважнейшие понятия в жизни. Он неоднократно говорил мне, что никогда не добивался должностей, не пробивал себе дорогу иным путем, кроме собственного труда.

- Но честолюбие все-таки было? – спрашиваю я.

- Конечно. Мне нравилось, что мой труд ценят, что я поднимаюсь по служебной лестнице. Это нормально. Вот тщеславие – это порок, а честолюбие свойственно всем творческим людям, признаются они в этом или нет.

- Все это верно. Но мы росли с вами в одно время, и я помню, что коррупции в нашем сегодняшнем понимании не было, поскольку ни у кого не было денег, но были подарки, были взаимные услуги, было так называемое «позвонковое» право. Неужели никогда не приходилось сталкиваться?

- Приходилось, конечно. Про мою первую книгу, в которой я числюсь автором, вы уже знаете. А вот другой случай.

Для сбора экспериментальных данных позарез нужна немецкая климатическая камера. Помочь приобрести ее может только Госплан СССР. Полетел в Москву с одним авторитетом из Госплана Молдовы. С нами ящик коньяка и два ящика вишни. Поселились в гостинице «Москва», пригласили в номер сотрудника Госплана СССР, поговорили, вместе поужинали. Вскоре мы получили две климатические камеры.

- Знакомая ситуация. Но это для общего дела – а для себя, для

семьи неужели никогда не приходилось о чем-то кого-то просить?

– Никогда. Было одно исключение, но я не мог его не сделать. Наша дочь закончила филологический факультет Кишиневского университета. Выпускные экзамены она сдавала, будучи беременной нашей внучкой. Молодую семью распределили на работу в какую-то далекую деревню. Соня была в ужасе и настояла, чтобы я вмешался. К тому времени я был депутатом Кишиневского совета, еще и приглашенным профессором в том же университете, только на другом факультете. И вот в генеральской форме я явился к ректору. Был встречен с уважением, получил от него обещание решить вопрос. И он решил. Дочь направили преподавать английский язык в школу-интернат рядом с нашим домом.

– Кто ж вас за это осудит. А как вы дослужились до генерала?

– Дело в том, что наша *Служба* – это та же самая армейская: ракеты, пусковые установки, радиолокаторы, средства связи, круглосуточные дежурства. Все это требует военной дисциплины, и наши гражданские организации были преобразованы в военные. Был разработан устав, введена форма одежды, отменены профсоюзы. Все сотрудники получили различные воинские звания. Я, как глава *Службы* в Молдавии, получил звание генерал-лейтенанта. Так что я, – смеется, – из младшего офицера запаса скакнул сразу в генералы.

– Леонид, – меняю я тему разговора. – вам приходилось обманываться в людях?

– И неоднократно. Излишняя доверчивость всегда была моим недостатком. На меня и доносы писали. То утаиваю получаемые в университете деньги при уплате партийных взносов, то развел семейственность (жена и брат работали в моей *Службе*), то продал госимущества чуть ли не на миллион долларов. И комиссии присылали, и инвентаризации проводили. Выяснялось, что взносы я даже переплачивал, что брат и жена – высококвалифицированные специалисты и не находятся в прямом моем подчинении, что госимущество все на своем месте. Но сколько все это стоило нервов и горького разочарования в людях!

А вспомните 1991-й год. Горбачевский беспредел. Нашлись сотрудники, которые стали требовать выборности руководителя. Они собирались и обсуждали, как заставить меня пойти на это. Мол, руководи, как нам нравится, иначе не выберем. Может, надо было принять участие в их обсуждениях, объяснить им, что *Служба* не государство, а я не президент. Я этого не сделал.

Более того, нашлась группа специалистов, которая направила письмо в «Литературку». Помните, была такая толстая газета,

публиковавшая острые материалы в перестроечное время. В письме говорилось о недостаточной эффективности наших работ. Конкретно меня не обвиняли, но кто же еще может быть в этом виноват.

Из Москвы прислали комиссию, которая целую неделю разбиралась с жалобой. Беседовали со всеми жалобщиками. И они лепетали, что имеющийся состав специалистов в сменах работает очень тяжело, и надо увеличить штаты (а кто против?), что надо повысить оплату труда (конечно, надо), что необходимо выявлять причины пропуска града и думать о технологическом прогрессе (так это моя основная забота). Словом, гора родила мышь, хоть и маленькую, но противную.

- Дорогой Леонид, - мне захотелось выразить свое отношение к только что сказанному. - Ваша *Служба* была гражданской по сути и военной по содержанию. Четкая субординация, беспрекословное подчинение старшему по званию. Вы впитали эти отношения с детства. У вас даже был замполит, который должен был заботиться о нравственном здоровье сотрудников. И люди принимали это за данность, с которой надо жить, нравится она им или нет.

И вдруг перемены. Рушатся устои. Люди понимают, что можно открывать рот, не задумываясь о последствиях, что генерал Диневиц должен считаться с их мнением и выполнять волю большинства, иначе не выберут. Вы можете сказать, что в науке и технике один может быть прав, а все остальные неправы, и это верно. В таких ситуациях всегда нужен компромисс. У меня сложилось впечатление, что компромисс - это не про вас. Так?

- Не совсем. Компромисс хорош тогда, когда он помогает реализовать задуманное, и мне не раз приходилось на него идти. А если он мешает или тормозит, то такой компромисс не для меня.

- У вас было 15 экспериментальных баз и 3000 работников, в среднем по 200 человек на базе. Огромное хозяйство! Во главе каждой базы - вами подобранный специалист, а это означает, что под стать вам: грамотный, деловой, со своими взглядами и амбициями. Наступает момент, когда база становится для него тесной, но на пути - уважаемый, заслуженный, сотворивший всю *Службу*, незаменимый... и на пути. Важно это почувствовать и найти для него, именно вам найти, достойную работу вне *Службы*.

- Легко сказать. И почувствовать, и найти - очень непросто. Я не заметил, как у ряда специалистов накапливается энергия творческой неудовлетворенности. Ошибался, конечно, но как было, так было. Я очень сильно переживал по этому поводу.

В качестве оправдания могу добавить, что я безумно устал.

Напомню про почти тридцать лет без выходных и отпусков, в постоянном напряжении, с ощущением огромной ответственности за все, происходящее на *Службе*. Я мотался по республике, проводил многочисленные, иногда ночные совещания, вникал в проблемы строительства, а спал зачастую на заднем сиденье в машине. При этом я оставался ученым, действующим на переднем крае науки в своей области.

Будете смеяться, но меня заботило даже то, чтобы на число молодых специалистов-юношей было примерно такое же число специалистов-девушек. Пусть влюбляются, женятся и остаются верными профессии. Я всегда был счастлив, что мы с Соней занимаемся одним делом и живем одними интересами.

Короче, я был не только строгим руководителям, но и заботливым папой-мамой. Вот только вовремя не осознал, что дети, повзрослев, должны покидать родительское гнездо.

- Вы упомянули про горбачевский беспредел. Вам виделось что-то другое?

- Я не принял ни Горбачева, ни Ельцина. Я видел в них разрушителей страны, предавших идею. Когда мне предложили на сессии Кишиневского совета во всеуслышание отказаться от членства в Коммунистической партии, я категорически отверг это предложение. Да, нужен был капитальный ремонт системы, но «разрушать до основания, а затем»... Никто и представить не мог, что будет затем. Я был убежденным советским человеком.

- Разве вы не знали о репрессиях 37-го, о Деле врачей, о культе личности?

- Знал, конечно, но это было не вследствие, а вопреки идее светлого коммунистического будущего. Борьба за власть вынесла наверх людей лживых, циничных, преступных. За прекрасными лозунгами, в которые верили одураченные люди, скрывалась жесткая диктатура, и совсем не пролетариата, а кучки доживающих свой век тщеславных стариков.

- А могло быть иначе? Или это закономерный исход, когда не учитывается человеческий фактор?

- Да, мы с вами говорили о подлости и низости человеческой природы. Но будущее, хочется верить, за людьми, исповедующими высокие моральные ценности.

- Блажен, кто верует.

- Верую, хотя не так безоглядно, как раньше. Я наблюдал, как вчерашние идеологи заискивают перед новой властью, сдают без борьбы свои идеалы, заботясь лишь о личном благополучии. На

сессии депутатов я обратился к первому секретарю Кишиневского горкома, призвал его встать на защиту идеалов партии. Он не просто не прореагировал, а перестал со мной разговаривать.

Я не разочаровался в моральных ценностях, которые исповедовал всю жизнь, но начал сомневаться в том, что они станут для всех такими же важными, как для меня. Стоило измениться условиям, и дворничиха предала семью, и секретарь горкома предал партию.

- Вряд ли эти поступки сравнимы. Секретарь никого не убил.

- Как сказать. После распада Союза возник горячий конфликт между Молдовой и отделившимся от нее Приднестровьем. Со стороны Молдовы через Днестр полетели сотни моих ракет «Алазань», головки которых содержали не реагент для борьбы с градом, а взрывчатку с гвоздями. Мне оставалось посыпать голову пеплом...

Однажды у нас возник разговор о всемирном потеплении. Мне очень хотелось узнать его мнение по этому поводу. Он с атмосферой на ты. Он жил не в ней, а с нею. Он изучал ее со всей страстью ученого. Она была с ним и наяву и во сне. Ему слово.

- Существует множество естественных причин, влияющих на изменение климата. Вклад каждой из них может быть оценен весьма приблизительно. Поэтому количественные выводы на основании имеющихся данных не могут быть точными и достоверными.

Выбросы от вредных производств, конечно, надо ограничивать. Это и делается установленными нормами. Но устраивать истерику по поводу автомобилей и самолетов, мягко говоря, не стоит.

Какие ученые установили связь между количеством сжигаемого топлива и изменением среднегодовой температуры на Земле? Некоторые договорились до того, что знают, насколько нужно уменьшить выбросы, чтобы предотвратить потепление климата на два градуса. Чушь! Нам еще предстоит создать специальные спутниковые системы, получить базы данных по многим параметрам хотя бы с точностью до процента. Предстоит огромная работа. Только после нее можно будет серьезно говорить, влияют ли выбросы углекислого газа на изменение климата, или это естественные его колебания, которые были в прошлом и которые неминуемы в будущем.

3

Не раз мы с Леонидом говорили о судьбе еврейского народа, к которому оба принадлежим. Он неплохо знал историю, но ее

еврейская составляющая была от него далека. Его не обзывали жидом в детстве. Откуда было взяться антисемитизму в маленьких военных городках, где отец был уважаемым командиром. В украинской школе с ним вместе училось много еврейских ребят, тоже не разгуляться антисемитам. Даже при поступлении в институт он не мог поверить, что проблемы возникли из-за его еврейства. Но со временем поверить пришлось. Жизнь повернулась к нему и этой стороной. Леонид признается, что ему тяжело вспоминать об этом, но из песни слова не выкинуть.

После развала Советского Союза в бывших союзных республиках сильно выросли национальные амбиции. Уже не было Москвы, которая командовала парадом. И не где-то на улице, а во время своих выступлений на депутатских сессиях он дважды услышал из зала крик: «Убирайся в свой Израиль!» У кричащих не хватило смелости подняться с места, но и соседи не поспешили вывести их из зала. По улицам чуть ли не ежедневно проходили митингующие толпы с плакатами и речевками: «Чемодан, вокзал, Россия, а с евреями разберемся сами».

Один откровенный молдавский националист, профессор Кишиневского университета, назначенный отвечать за экологию в стране, стал поносить *Службу* за то, что она загрязняет поля и водные источники. Это было абсолютно голословное утверждение, но его целью была не защита экологии, а замена руководителя национальным кадром.

– Я пошел к Предсовмина Молдавии и спросил его напрямик, чего мне ожидать. «Тебе, вероятно, предложат место зама», – ответил он. Такое предложение, единственной причиной которого была не та запись в пятом пункте паспорта, я счел обидным для себя. За много лет работы я сложился в лидера. Быть заместителем не умею. Дожить до этого не хочу.

Все шло к тому, что надо уезжать. Была еще одна причина, не главная, но существенная. Семья столкнулась с медицинскими проблемами. Родители – и мои, и Сонины – были уже старыми людьми, да и мы не первой молодости. Подкрались болезни, и очень серьезные.

Столкновение с молдавской медициной повергло меня в шок. Я-то лечился в спецполиклинике, а обычные больницы были в жутком состоянии. У мамы обнаружили опухоль в груди. В республиканской онкологической больнице она лежала в палате на пять человек. Грязные стены с отколовшейся штукатуркой и такой густой запах мочи и использованных бинтов, что трудно дышать. Мы согласились на резекцию груди, и маме сделали какой-то проверочный укол,

который вызвал ужасную реакцию. После этого я забрал ее из этой «ведущей» больницы.

Забегая вперед, могу сказать, что кардинально вопрос был решен уже в Израиле. Без резекции груди хирург убрал маме опухоль и сказал, что можно забыть о ее существовании в прошлом...

Когда стало известно, что я решил эмигрировать в Израиль, все, от сотрудников *Службы* до руководителей Молдавии, принялись отговаривать меня, улаждали мой слух моей значимостью для *Службы* и страны, уверяли, что нынешние неприятности времени перемен надо пережить, а дальше все будет хорошо. Я выслушивал всех, благодарил, нескромно уверял, что знаю себе цену и не сомневаюсь в своей нужности стране. Однако хочу, чтобы мои дети и внуки росли в другой стране, где их национальная принадлежность никогда не будет отягчающим обстоятельством...

На протяжении моей службы в Молдавии я имел несколько предложений сменить место работы. Одно предложение было получено от ректора моей «альма матер» – Одесского гидрометеорологического института. Ректор просил меня занять место завкафедрой активных воздействий на атмосферные процессы. Это совпало с моментом, когда у меня на *Службе* случилось ЧП.

Во время запуска ракета застряла в направляющей. Бойцы доложили об этом командиру. Командир, вместо того чтобы направить на ракетный пункт руководителя группы ракетной техники, приказал снять ракету с установки. Просто так вытащить ракету бойцам не удалось. Опуская подробности, что они не так делали, но ракета взорвалась в руках этих ребят. Жуткий случай! Ребята прошли войну в Афганистане и погибли у себя в Молдавии.

Непосредственной моей вины нет, но я руководитель и отвечаю за все, что происходит в *Службе*. Чувствую себя подавленным неимоверно. И тут – предложение из Одессы. А что, думаю, не бросить ли мне *Службу* к чертовой матери и не стать ли заведующим кафедрой. После *Службы* – просто курорт!

Звоню в Москву, в Госкомгидромет, начальнику Управления и докладываю, что думаю принять предложение из Одессы. Меня начали убеждать, что это неразумно, что они уже запускают бумаги о присвоении мне звания Героя Соцтруда, что меня ждет персональная пенсия, что моя *Служба* – ведущая во всей системе Госкомгидромета. Уговорили. «Героя» я, конечно, не получил, но

дали орден «Знак Почета». Однако самыми дорогими для меня наградами являются золотая медаль ВДНХ СССР и золотая медаль лауреата Государственной премии Совета Министров СССР.

В другой раз мне предложили переехать в Москву, возглавить вновь организуемый Центр авиационных работ по воздействию на облачные процессы. И квартиру обещали, и Москва не Кишинев и не Одесса, центр всего и вся. И опять те же ребята из Госкомгидромета сыграли на тех же струнах. Да и сам я, честно признаться, не мог себе представить, как смогу расстаться с детищем, которое растил всю свою творческую жизнь, которое обрело славу в стране и за рубежом, и отблеск этой славы падал на меня, радуя душу.

Вместо меня главой *Службы* стал мой заместитель, которого я обучал профессии с третьего курса, провел по всем должностям, от рядового инженера до своего зама, дал ему квартиру, защищал в конфликтах с коллегами. Он клялся мне в верности, но когда получил бумагу с предложением оставить за мной научное руководство, написал на ней: «Нецелесообразно». До сих пор не могу спокойно говорить об этом предательстве.

4

2 июля 1991 года они приземлились в аэропорту им. Бен-Гуриона. Они – это Леонид с женой, их дочь с мужем и маленькой внучкой, его родители и сестра. Леониду пятьдесят лет – самый трудный возраст для эмиграции: слишком далеко до пенсионного и слишком много для устройства на работу. Их поселили в Яффо, где уже жили родственники, приехавшие раньше.

А перед отъездом они сдали свои паспорта и подписали отказ от гражданства, отдали свои великолепные квартиры государству, получили право из всего имущества, нажитого за многие годы, взять не более 500 кг (вместе с упаковочным деревянным ящиком) и по сто долларов на человека. Иначе чем государственный бандитизм это не назовешь.

При укладке в ящик все тщательно проверялось. Он взял с собой большой кусок коралла как память о друге, который привез этот коралл из экспедиции в Южно-Китайское море и подарил ему. Проверяющие решили, что внутри могут быть спрятаны драгоценности, и распилили коралл на несколько частей. Леонид показал мне стоящие на виду и сложенные вместе куски красивого коралла. Теперь это память не только о друге, но и об издевательствах на таможне.

После Кишинева Яффо произвел гнетущее впечатление. Убогость, дошедшая из далеких веков, может привлекать туристов,

но не их, приехавших стать жителями. От дома, где началась их новая жизнь, было минут двадцать неспешной ходьбы до берега Средиземного моря...

– Мы собрались и пошли, – вспоминает Леонид. – К морю было несколько путей. Мы, естественно, пошли самым коротким. Кто бы нам объяснил, что это путь через арабскую деревушку, и евреям лучше через нее не ходить. На нас высыпала ватага арабских мальшей с камнями. Я пошел им навстречу и начал орать на них по-русски. Не знаю, что их напугало – то ли мой грозный вид, то ли непонятный русский, – но они разбежались. Возвращались с моря мы уже другим путем.

Не однажды во время рассказов Леонида о первых месяцах эмиграции я вспоминал то, что слышал много раз: эмиграция – это трагедия одного поколения.

Они ходили на тель-авивский рынок пешком километра четыре в одну сторону, экономя на автобусных билетах. Иногда возле рынка бедным раздавали пакеты с оставшимися после продажи овощами и фруктами, и они старались их получить. По дороге с рынка была столовая для малоимущих, и они заходили туда пообедать. Они шли по Яффо мимо овощных лавок и из ящиков с отбракованными фруктами и овощами выбирали еще съедобные, которые продавали почти задаром. Он мыл лестницы в подъезде, а Соня ухаживала за больной женщиной. Было очень тяжело, причем морально гораздо тяжелее, чем физически.

– Пришло осознание, – вспоминает Леонид, – что мы не понимаем, куда приехали, не знаем страну и не можем общаться на ее языке. К этому добавляются наши старики, которые нуждаются в лечении и сами о себе позаботиться не могут. Состояние, близкое к депрессивному.

Как и все эмигранты, мы пытаемся учить в ульпане иврит и слушаем, как правильно себя вести, чтобы быть успешными. На интервью надо следить за движениями рук и ног, за выражением лица, за манерой речи. Боже мой! Я принял на работу несколько тысяч специалистов, и меня интересовал только профессиональный уровень человека.

Тут мне захотелось не то что возразить, но спросить его:

– Все так, Леонид, но представьте себе, что вы взяли интервью у двух человек. На самом деле в то время конкурентов было гораздо больше. И вот оба примерно равной квалификации, но один шмыгает носом, суетливый, а другой спокойный, уверенный в себе. Кого вы примете на работу? У вас была совершенно другая ситуация.

– Может, и так, но в тот момент я чувствовал, что унижен до последней степени.

В таком состоянии Леонид получает приглашение от Предсовмина Молдовы встретиться с ним в гостинице в Тель-Авиве, куда тот прилетел для решения каких-то израильско-молдовских дел. Сам факт приглашения говорит за себя и тешит честолюбие, но одно дело – там, а здесь-то он никто. О чем они могут говорить?

Выпили коньяку за встречу. В ответ на расспросы Леонид не жаловался, ограничивался общими словами, а на предложение о сотрудничестве ответил, что пока рано об этом говорить, он еще не совсем освоился на новом месте. Предсовмина, похоже, почувствовал его состояние и на прощанье сказал, что если он пожелает, то может в любое время вернуться на свою должность. Леонид искренне его поблагодарил, на том и закончилась встреча. Возвращался домой с тяжелым сердцем. Какое сотрудничество, найти бы хоть какую-то работу!

Через несколько месяцев к нему домой явился профессор Тель-Авивского университета Шалва Цевиян, который эмигрировал в Израиль из Грузии на двадцать лет раньше Леонида. Они познакомились в Москве, куда Шалва с еще одним профессором прилетел из Израйля, а Леонида вызвали из Кишинева для обсуждения возможных совместных работ. В приватном разговоре Шалва тогда спросил, нет ли у него планов уехать в Израиль. В то время Леонид и представить себе этого не мог.

И вот Шалва по-приятельски раскинул руки, заключил Леонида в объятия и поздравил с возвращением на родину предков. На следующий день он повез Леонида на одну из метеослужб. На поле стояли три маленьких самолетика, которые на основании данных синоптиков и радиолокационной службы должны были взлетать и засеять атмосферу реагентом так, чтобы ожидаемые осадки выпадали в Кинерете.

– С моей профессиональной точки зрения, эффект от такой технологии может носить только случайный характер. Мы еще в Союзе испробовали этот путь и отказались от него. Я об этом не проронил ни слова – зачем рубить сук, если на нем какое-то время можно посидеть. Но Шалва не был уполномочен тут же предложить мне работу. Мы поехали на встречу с научным руководителем водной компании «Мекарот». После обстоятельного разговора, в котором Шалва был переводчиком, мне было предложено, и это было полной неожиданностью, на выбор три места работы: метеослужба, которую показал Шалва, или университетская лаборатория – одна в Иерусалимском, другая – в Тель-Авивском

университете. Ближе всего по профессиональным интересам мне была лаборатория профессора Розенфельда в Иерусалимском университете. Ее я и выбрал...

На первой встрече с профессором Дани Розенфельдом, руководителем лаборатории, мы несколько часов обсуждали то, чем я занимался. Разговор шел медленно из-за перевода с русского на иврит, и наоборот. Профессор слушал рассеянно. Чувствовалось, что он соблюдает формальность, спрашивая меня, поскольку абсолютно уверен, что передний край технологии – в Израиле и США. Мне-то было известно, что наши работы значительно впереди, и я еле сдерживал себя, чтобы не сказать об этом.

Дани объявил мне, что я принят в университет на стипендию Шапиро – это фамилия чиновника из Министерства абсорбции. Три года я буду получать эту стипендию, ни шекеля не стоя университету, и за это время проверят, действительно ли я ученый. Это меня, у которого активным воздействием учились специалисты из разных стран мира, будет проверять этот недавно оперившийся молодой человек?! Разве это не унижительно? Но надо терпеть и соглашаться. Спасибо! И мы пожали друг другу руки.

Через полгода после начала моей работы в Иерусалимском университете я выступил на очередной научной конференции с докладом, в котором объяснял свое критическое отношение к разработанному в Израиле методу воздействия. Доклад длился двадцать минут, а вопросы и комментарии с мест держали меня на сцене два с половиной часа. Мне казалось, что я выступал скромно, но в привычном для себя энергичном и уверенном стиле. Я предлагал поднять работы в области активных воздействий на облачные процессы на самый высокий мировой уровень.

После конференции мои коллеги в лаборатории сказали: «Ты выступал так, как будто ты уже научный руководитель этих работ. Розенфельд тебе этого не простит». От Розенфельда прямой реакции не последовало, но он полностью закрыл мне дорогу в тему, заявленную на конференции.

По сути дела, я был отделен от науки и использовался как квалифицированный снабженец. Розенфельд просил меня добыть тот или иной прибор, и я занимался этим, привлекая свои прежние контакты. Иногда это были чисто детективные истории. Давайте расскажу вам одну.

Прибор для измерения концентрации частиц я решил попросить

в ЦАО (Центральной Аэрологической Обсерватории). Директора, профессора Черникова, я не просто хорошо знал, – мы с ним стали друзьями за многие годы сотрудничества. Он согласился отдать прибор бесплатно. Звоню Дани Розенфельду. Тот не хочет бесплатно. Черников называет формально очень небольшую сумму. Опять звоню Дани. Он просит уменьшить цену в два раза. Снова иду к директору. Он смеется: «С вами, евреями, не соскучишься!» Подписали, наконец, соглашение.

Но это поддела. Как доставить тяжеленую аппаратуру из Москвы в Израиль? ЦАО не имеет права торговать с Израилем. Звоню другому своему другу, профессору Медведеву из Одесского гидрометеорологического института, говорю о проблеме. Он отвечает: «Не волнуйся, сделаем». По каким-то своим делам он на своей машине поехал в Москву, взял в ЦАО прибор, перевез его через границу в Украину, а в Одессе со знакомым пассажиром на корабле отправил в Хайфу. Чем не детектив?

Показательный эпизод моих отношений с Розенфельдом случился на конференции в Кишиневе, которая собрала ведущих специалистов из всех республик бывшего Союза. Из Израиля по приглашению приехали я, Розенфельд и два специалиста по радиолокации. Мы с Дани поселились в гостевой квартире, принадлежащей моей бывшей *Службе*. Ко мне приходили с вином и закуской большие начальники, бывшие и нынешние. Вспоминали живых и ушедших, обсуждали новые времена, делились анекдотами, произносили тосты. Дани не понимал по-русски, но видел отношение ко мне и перед сном вдруг сказал – в переводе на русский: «Ты думаешь, что испугаешь меня своей значимостью?» Что я мог ему ответить?! Только посмотрел с недоумением и подумал, что Дани не перестает видеть во мне конкурента.

Там же, в Кишиневе, Розенфельд обратился ко мне с просьбой купить радиолокатор. Именно эта покупка сыграла важную роль в моей дальнейшей работе. Но это уже была работа не с Дани Розенфельдом.

А пока мы вместе летим на конференцию в Италию. «Мы» не означает, что Дани привлек меня к участию в конференции. Ко мне обратились аргентинские коллеги с просьбой сделать на конференции доклад по результатам работ в Молдавии. Они полностью оплатили мне командировку. Это было не случайно. Я оставался у них научным консультантом, периодически за их счет летал в Аргентину и получал существенную добавку к своей «шапировской» стипендии.

Было смешно, когда профессор Розенфельд решил представить меня делегации ученых из США. Американцы остановили его и сказали, что скорее профессор Диневич должен представить его, чем наоборот.

Мой доклад получил высокую оценку. Редактор авторитетного журнала попросил подготовить его для печати. К сожалению, статья не была опубликована. В этом есть доля и моей вины, но Розенфельд мог помочь мне и не захотел...

Возвращаюсь к радиолокатору. Привез я этот радиолокатор не только по просьбе Розенфельда. Дани познакомил меня с Председателем общества охраны природы, заведующим орнитологической лабораторией Тель-Авивского университета Йоси Лешемом.

Йоси сыграл особую роль в моем становлении в Израиле и стал моим близким другом. Чрезвычайно активный, дружелюбный и увлеченный своим делом, он уговорил меня перейти на работу к нему в лабораторию и решать задачу радиолокации птичьих стай для того, чтобы избежать столкновения с ними самолетов.

Меня и не надо было уговаривать. Закончились три года моей работы с Розенфельдом на «шапировской» стипендии, и Дани даже не посчитал возможным дать мне рекомендации для продолжения работы. Тот случай, когда мы оба были довольны: Дани – потому что я от него ушел, а я – потому что нашел, наконец, интересную работу...

В наше время все чаще возникают конфликты между техническим прогрессом и природой. Один из них – конфликт между птицами и самолетами. Для Израиля эта проблема особенно актуальна. Над его крохотной территорией веками сложился путь межконтинентальной сезонной миграции сотен миллионов птиц. В результате столкновения терпят катастрофу самолеты, погибают пилоты и птицы. Задачей было создание радиолокационной орнитологической системы с целью обеспечения безопасности полетов. Для этого необходимо было использовать современную компьютерную технику, разработать нужные алгоритмы и программы, различающие радиоэхо от птиц и от облаков или других объектов в небе.

Далее была многолетняя, непростая в техническом и научном отношении, но такая любимая работа. На начальном этапе Леонид привлек к ней своего младшего брата Владимира, который был

специалистом высокого класса в радиолокации и имел большой опыт работы в его *Службе* с радиолокатором именно такого типа, какой они получили из Молдовы. Более того, у брата был опыт наблюдения радиозаха от птиц, но тогда это было побочным эффектом.

Не быстро дело делается, но кому интересны научно-технические подробности, оригинальные решения, преодоление организационных трудностей? Только профессионалам. А для остальных важен итог. Система была создана и развернута на территории музея бронетанковых войск в Латруне. Она в оперативном режиме каждые 10–15 минут передавала орнитологические карты руководителям полетов военной авиации, а те на их основании принимали решения о зонах и высотах, на которых могут совершать тренировочные полеты самолеты и вертолеты.

На открытии станции присутствовали Президент Израиля Эзер Вейцман, министр экологии Йоси Сарид и некоторые военачальники. Но самое дорогое признание Леонид ощутил, когда в большом зале Тель-Авивского университета в присутствии высших офицеров авиации он получил почетный диплом и премию за работы по радиолокации птиц из рук семи летчика, погибшего после столкновения его самолета с птицами...

Не мог Леонид со своим характером остаться в Израиле в стороне от участия в решении проблем научной и профессиональной алии. Он присоединился к общественному движению, стал играть в нем одну из ведущих ролей, вошел в ученые советы при министерствах инфраструктуры и транспорта. С его именем связаны десятки конференций и семинаров, на которых репатрианты могли показать себя заинтересованным работодателям. На них зачастую присутствовали министры, генеральные директора, депутаты Кнессета. В результате десятки специалистов оказались востребованными. В Израиле любят рассказывать о том, как бывшие дворники стали одними из создателей «железного купола».

Много теплых слов я услышал от Леонида о Юрии Штерне и Авидоре Либермане. С ними он был в постоянном контакте, и они делали все, что могли, чтобы направить в желаемое русло хлынувший поток алии. Замечательной идеей было создание так называемых «теплиц», где в течение трех лет приехавший ученый мог реализовать свой проект, представленный и принятый специальной комиссией. Через «теплицы» получили путевку в жизнь до тысячи специалистов. А их в потоке десятки тысяч. Что делать с остальными? На эту тему у нас с Леонидом возникло много споров.

– На страну упал золотой ливень талантов, – говорил он, – и только малая часть заняла достойное место. А те, кто не смогли? Конечно, были и такие, кто не заслуживал. Не о них речь. Речь о настоящих талантах, оставшихся не у дел. И это результат бесталанности принимающей стороны.

– Помните Высоцкого, – возразил я, – «...где на всех зубов найти?» Страна маленькая, зубов мало. Есть два выхода – приобрести другую квалификацию или, если уже возраст не тот, смириться с жизнью и радоваться успехам детей и внуков. Никто не жил на улице и не голодал. Один из таких смирившихся неудачников сказал мне по этому поводу: «Значит, не по таланту».

– Так я же не о том. Я говорю, что среди оставшихся за бортом были настоящие таланты, способные принести огромную пользу стране, и ошибочная политика привела к тому, что этого не случилось. Люди, не имевшие представления о рынке труда, на нем оказались. Они понятия не имели, что на этом рынке надо работать не только головой, но и локтями.

– В таком большом деле ошибки неизбежны. Вопрос, насколько их было много. Вы же сами говорили, как много сделали для алии такие государственные мужи, как Юрий Штерн и Авидор Либерман.

– Много, но недостаточно. И не все было в их силах. А ошибки, сколько бы их ни было, означали трагедии живых людей, которые могли принести пользу стране и не принесли. Я был Президентом форума ученых-репатриантов и знаком со многими такими трагедиями.

– Я тоже знаком, Леонид. А о чем думали эти талантливые ученые, когда прибыли в страну, не говоря ни на иврите, ни на английском, не имея представления, насколько их специальность нужна стране, не зная ни друзей, ни коллег, которые могут замолвить слово? Вы же знаете, какое значение имеют рекомендации.

– Я не отрицаю, что многие были в полном неведении, куда они попали. Я и сам, как вы помните, оказался в такой ситуации. А по поводу рекомендаций я вас удивлю.

Мы пытались привлечь к нашей общественной работе тех, кто успешно прошел через программы отбора и трудился на разных постах. Надо было видеть, какое ожесточенное сопротивление вызывала у них всякая инициатива, направленная на поиск путей интеграции оставшихся за бортом ученых. Почему? Выдающиеся – конечно, они – и уже работают. Остальные пусть решают свою судьбу сами. Не стоит больше тратить на них государственные деньги и придумывать новые проекты и программы. Только что они сами

были репатриантами, и такой поворот. Объяснить его могу только тем, что теперь им стала не нужна конкуренция.

- Удивили, Леонид. Но вы же знаете, что у тех, кто едет в трамвае, и тех, кто пытается в него сесть, разная психология. С этим ничего не поделаешь.

- Почему же. Надо прицепить второй вагон, и всем хватит места.

- Если бы было так просто. Но второй вагон означает новые производства, новые направления в науке. Чтобы в него сесть, недостаточно старых знаний и прошлых заслуг. Для молодой алии нет проблемы – если надо, она переучивается. Проблема для тех, кому за пятьдесят. Вы, Леонид, исключение. Далеко не все, упавшие, как вы часто говорите о себе, с большой высоты до нулевого уровня, обладают такой силой воли, таким упорством, таким стремлением одолеть и достичь.

- Спасибо на добром слове, но таких, как я, приехало много.

- При всем к вам уважении не могу согласиться. Таких, как вы, приехало мало...

В 2009 году Леонида Диневича проводили на пенсию. Присутствовало много высокопоставленных гостей – бывший командующий авиацией Израиля Амос Лапидот, министр иностранных дел Авидгор Либерман, министр абсорбции Софа Ландвер, профессора, среди которых Дани Розенфельд. Он услышал много радующих душу слов, ощутил сладостный вкус признания. Софа Ландвер сказала, что Леонид Диневич включен в список ста самых выдающихся ученых-репатриантов большой алии, и вручила ему диплом. От имени министра обороны он получил высокую награду – «Знак почета».

- Не удержался от выступления и Дани Розенфельд, – вспоминает Леонид. – Он захлеб рассказал, что годы нашей совместной работы были для него большой удачей, что я не только высочайшего уровня ученый, но и талантливый практик, реализующий свои идеи. А я слушал и думал про себя – где же ты был раньше, мать твою. Вслух же поблагодарил Дани и подарил ему свою книгу, посвященную радиолокации птиц.

В год семидесятилетия Израиля Леонид Диневич получил самую высокую государственную награду – «Знак отличия».

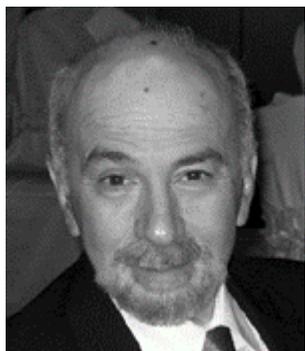
Однажды у Леонида Диневича спросили:

- Стала ли страна Израиль вашей?

- Да, однозначно стала. Но не потому, что я прожил в ней почти тридцать лет и оказался востребованным. Это имеет значение, но не главное. Самая большая моя радость и гордость - внучка Олечка. Когда она училась в школе, ее, как одну из лучших учениц, премировали поездкой в США. Там она общалась со своими сверстниками, бывала у них дома, поучилась немного с ними в школе, существенно улучшила свой английский. После возвращения она сказала, что было очень интересно, но на вопрос, хотела бы она там жить, последовал ответ: «Моя страна - Израиль!»

Оля летала стюардессой в компании «Эль-Аль», служила в авиационных частях, получила "*master degree*" по специальности «психология и управление производством». Сейчас она офицер, вышла замуж и родила нам правнука. Его назвали Эйтан. На древнееврейском это имя означает постоянство, неизменность. С иврита оно переводится как прочный, сильный. Надо ли к этому еще что-то добавлять, почему Израиль - моя страна?

Май, 2019



Аркадий Шпильский –

родился в 1949 году в Киеве. Еще подростком начал сочинять стихи. С 1963 года посещал киевский литературный клуб старшеклассников «Джерело» («Родник»), закрытый в 1965 году партийными органами. В 1972 году окончил Киевский политехнический институт по специальности теплофизика. Там же в 1980 году получил второе высшее образование по теории информации и прикладной статистике. Работал в Ленинграде и Киеве. В 1992 году эмигрировал в США, где специализировался в области биостатистики. Работал в научно-исследовательских институтах при Пенсильванском университете, в фармацевтической промышленности (*Pfizer, Sanofi, Novartis*). Пишет малую прозу, стихи, стихотворные переводы и пародии. Рассказы опубликованы в журналах «Слово/Word» и «Чайка» и альманахах «Егупец» (Киев) и «Страницы Миллбурнского клуба».

Первая командировка

На самом деле это была вторая: в середине 90-х, вскоре после перехода на фирму из университетской группы, Алекс набрался храбрости и попросился на академический митинг. К этому слову он всегда мысленно добавлял «... в защиту мира» – советское прошлое глубоко въелось в сознание. Как там у Галича: «как мать, – говорю, – и как женщина, требую их к ответу». Начальница Никол поддержала его тогда, и Алекс из чувства благодарности решил сэкономить фирме на дорожных расходах – вместо скоростного «Амтрака» поехал на собственном автомобиле, от первой столицы до нынешней по хайвею всего-то не больше пяти часов. Алекс всячески старался вжиться в образ американца: одет был неброско, по-дорожному, костюм в чемоданчике, говорить старался нечетко, произносятся слова не ртом, а нутром, но на регистрации в отеле прокололся – поинтересовался между прочим, по привычке советского командировочного, поделят ли к нему кого-нибудь в номер. Регистраторша, молодая женщина, покраснела, сказала, что это на его усмотрение, и на всякий случай выдала второй ключ. О-у-пс! Штирлиц был на грани провала!

А в эту командировку, уже по проекту, предстояло лететь на юго-запад, два часа, выступать содокладчиком перед представителями заказчика, и хотя текст и слайды были подготовлены заранее, а выступление отрепетировано перед Никол, все-таки впервые надо было докладывать по-английски. Начальница, добрая душа, отвергла его сомнения категорически: «Нет, поедешь ты. Если я буду тебя прикрывать, никогда не научишься плавать. Не утонешь! Тем более, что такой прекрасный план придумал!» Это был один из проектов, начатых Алексом с нуля в составе новой команды.

Предстояло разработать план эксперимента, распределение видеogramм сердечной деятельности, сделанных с помощью нового контрастного вещества – изобретения заказчика. Головоломка была не из простых, не давала спать по ночам, но уже к концу недели спецификация была готова. Джим, менеджер группы, доктор-кардиолог, симпатичный парень лет тридцати пяти, передал спек программистам, но там забуксовало. Вскоре пришла Никол и, извиняясь, сказала, что программу придется писать Алексу самому, компания только формируется, математического программирования никто не знает. Ну да, собственно, об этом был разговор во время интервью, когда Алекс подал заявление на работу. Многое тогда удивило. Небольшой коллектив в 70 человек этого, по сути прикладного, НИИ считался средним по размеру среди фирм такого класса. Алекс вспомнил советские институты с их тысячными коллективами и надуманными экономэфектами, а в реальности – оторванные от производства. Здесь же... Да что говорить, разве не за этой энергетикой стремился он в ожидании выезда из совка? Фирма «Всемирная кардиология» помещалась в историческом центре города, в трехэтажном здании, взятом в аренду у хозяев бывшей адвокатской конторы. Вся эта Сосновая улица была заполнена подобными конторами, и, словно в масть лоерскому стилю, президент фирмы доктор Хенри Розенталь носил галстук-бабочку, а его первый зам по науке доктор Нэйтан Прага щеголял в цветастых подтяжках – как у знаменитого телеведущего Ларри Кинга. В сочетании с коротко подстриженными усиками и круглыми очками его облик напоминал коммивояжеров из фильмов ретро. Знакомясь с Нэйтаном, Алекс блеснул знаниями географии и спросил, из какой Праги его род: чешской или польской. Нэйтан был в восторге: впервые попался человек, знавший о пригороде Варшавы, вот что значит – европейское образование! «Нет, это случайно, – поскромничал Алекс, – это от бывшего коллеги, ветерана войны. Его часть стояла в пригороде во время Варшавского восстания, утопленного немцами в польской крови при хладнокровном неучастии Сталина». «Они получили свое, – прокомментировал Нэйтан, – за их звериный польский антисемитизм. А на идише мы можем с тобой поговорить? Нет? Жаль! Ну да, у вас там это было под запретом, а у нас его вытеснил иврит»... Именно к Нэйтану пришла Никол с готовой программой, написанной Алексом в кодах статистического приложения, и они вдвоем рекламировали нового сотрудника, который, оказывается, и швец, и жнец. «Только пусть не говорят, как прежний босс, что я лучший программист среди статистиков», – волновался Алекс. Пришлось рассказать боссу о ленинградском гроссмейстере и музыканте Марке Тайманове, продувшем всухую турнир с Боби Фишером. Острые на язык

питерцы запустили тогда шутку: «Лучший пианист среди шахматистов и лучший шахматист среди пианистов»... Но нет, опасения были напрасными, американцы ценили многосторонние навыки, каждый человек был на счету. Отчасти поэтому на митинг с заказчиком летели только трое: Нэйтан, Джим и Алекс.

Перед вылетом Алекс, как это часто бывало, созвонился с Гариком, приятелем по киевским кухонным посиделкам. «Юстас – Алексу, – привычно ответил Гарик, подтрунивавший над его американизацией, – или ты уже опять поменял имя?» Алекс в свое время объяснил резоны – мол, полное имя звучит заносчиво, тут даже президента страны зовут Биллом. Шурой, как в Киеве, называться не хотелось, звучит необычно, а Сашами здесь зовут черных девочек. Алекс ценил дружбу с Гариком: тот приехал в Штаты на год раньше, быстрее освоился в бизнесе и был неиссякаемым источником подсказок и советов, хоть и декларировал, что страна советов осталась в прошлом. Джим снабдил Алекса всеми инструкциями, но лететь ему предстояло одному – у Нэйтана, как и у Джима, были дополнительные дела с заездами к другим заказчикам. Так что мелочи и детали предстоящего полета, такси-сервиса и поселения в отеле Гарик с удовольствием покровителя растолковывал Алексу:

– Ты смотри, не проколись опять с этим своим «подселением в номер»!

– Да уж, ладно...

– Кстати, к вопросу о подселении: невероятное совпадение – живет там, в этой южной дыре, одна моя бывшая сослуживица, разведенная, лет сорока, программистка, сын – старшеклассник.

– Шутишь? У меня номер в «Рице».

– Ну и что? Задержишься на выходные, ты же сказал – митинг в четверг. Не упускай шанс – девушка симпатичная и вполне приличная. С мужем развелась по идейным соображениям – ехать в Штаты не захотел, патриот хренов!.. Кто знает, может, сгодится в невесты. В общем, записывай телефон...

В аэропорту Алекс быстро сориентировался, все радовало глаз – газетные киоски, лавки с сувенирами, буфеты со вкусно пахнущим кофе. «Там было все изящно, комфортабельно и до изнеможенья элегантно», – вспомнилось из раннего Евтушенко. Алекс купил свежий выпуск журнала «Нью-Йоркер», самого элитного литературного журнала, впрочем, своей худобой и оформлением сильно отличавшегося от «Нового мира». Прилетели вовремя. На выходе из багажного отсека стояли шоферы с именами клиентов на плакатиках, и Алекс быстро заметил своего, хотя фамилия, как это часто случалось, была слегка исковеркана. Не без внутреннего

замешательства он дал шоферу катить свой чемоданчик, вспомнив наставление Гарика: это его работа, не мелочись, дай пару баксов на чай. У стойки регистрации в отеле его быстро оформили и снабдили конвертом от фирмы заказчика. Там были подробные инструкции о месте и времени заседания, видеотехнике, ланче и ужине. Все было запланировано в этом же «Рице», в нескольких милях от аэропорта. Войдя в номер, Алекс был потрясен: половину комнаты занимала гигантская кровать с декоративными подушками. Еще были дополнительный диван и кресла, письменный стол, лампы и прочие символы благополучия. Вот оно – скромное обаяние буржуазии! Алекс не выдержал и решил поделиться с Гариком, набрав номер по своей личной карточке:

– Хэрри Айзен слушает.

– Эй, звоню тебе из отеля, номер – полный п***ец! Эта кровать, видимо, для группового секса!

– Хммм... Наверное, кинг-сайз, рассчитано на пару. Было бы чему удивляться.

– Это ладно еще, но ванная комната! Их там целых три в одной: центральная, с умывальниками, и две боковые – с туалетом и с душевой. На такой территории можно было бы поселить небольшую советскую семью!

– Да ладно тебе, смотри только, не делись впечатлениями с америкасами. И вообще – сосредоточься на докладе.

До ланча оставался час. Алекс принял душ, переоделся в пиджачную пару и, прихватив «дипломат» с докладом и слайдами, направился в малый конференц-зал. Оказывается, его уже ждали. Женщина, отдававшая распоряжения официантам, в ответ на предъявленное приглашение приветливо улыбнулась:

– Мы вас распознали – по описанию доктора Прага. Вы можете сразу приступить к ланчу.

Алекс окинул взглядом диспозицию: длинный обеденный стол, персон на двадцать, был уже сервирован, в торце стояла тренога с пустыми ватманами и фломастерами и висел экран проектора.

– Спасибо, вот только проверю проектор, заранее, чтобы убедиться, что все ОК...

– Конечно-конечно, в случае чего – дайте знать.

С проектором был порядок, и Алекс направился к стоявшим у стены металлическим судкам, подогревавшимся спиртовками и издававшим аппетитный аромат: рыба, мясо, курица – на выбор, салаты и разные закуски, и главное – ведерки со льдом, в которых

стояло несколько бутылок вина. Вот он, соблазн! Алекс заметил знакомые этикетки «шардоне» и «кьянти», но твердо решил – после доклада. Он уже доедал салат, когда в дверях показался Джим. Оба обрадовались встрече, Джим сообщил, что все идет по плану, Нэйтан еще в полете, но сказал, чтобы начинали без него, по расписанию. Стали подтягиваться сотрудники фирмы, брали себе еду и присаживались к столу. Джим, знавший большинство из них, прекрасно справлялся с обязанностями «шмузера» (так, по словам Гарика, нью-йоркские делегаты называют переговорщиков, от слова “smooth”, то есть «сглаживать»), представлял Алекса фирмачам, шутил, комментировал новости на бирже. Ланч уже подходил к концу, а Нэйтана все не было. Вице-президент по науке, главный от заказчика, постучал ножом по пустому бокалу и сказал несколько вступительных слов, открывая заседание. Он представил руководителя проекта и дал ему слово, но тут появился Нэйтан. Тихо извинившись, он пробрался к Джиму и Алексу и, заняв кресло между ними, плеснул себе в бокал «шардоне», сказав шепотом: «Это придаст мне сил!» Джим только вздохнул: «О боже!» Нэйтан, не закусывая, показал, что готов к выступлению, и направился к торцу стола, где размещался проектор. Оказалось, однако, что у него не было ни доклада, ни слайдов. Тем удивительнее было слышать прекрасно артикулированную речь, напоминавшую чем-то введение к докладу соискателя на докторскую степень. От общего состояния дел в кардиологии Нэйтан перешел к проблемам диагностики вообще и состоянию дел в области контрастных веществ, в частности. Не забыв при этом подчеркнуть лидирующее положение заказчика на маркете подобных материалов, Нэйтан заявил, что в лице его НИИ заказчик нашел лучшего партнера по испытаниям: сформирована группа по проекту, состоящая из лучших специалистов в области кардиологии, компьютерных средств и информатики, – Нэйтан многозначительно кивнул в сторону своих. Он предоставил слово Джиму, сам сел к столу и быстро начал поедать стейк. Филе-миньон, машинально про себя отметил Алекс. Вырезка очень кстати, учитывая уже третий бокал вина, на этот раз – «кьянти». Между тем Джим показывал схемы проведения проекта, приборы, записывающие устройства. Продемонстрировал на видеке эхокардиограмму, отдельно остановился на выборе кардиологов для «чтения» картинок. С этого момента началось обсуждение кандидатур, вопросов конфиденциальности, юридических аспектов. Наконец слово перешло к Алексу. За те несколько секунд, пока он вставал из-за стола и продвигался к проектору, Алекс вдруг спонтанно поменял план: отказался от чтения по написанному и изменил преамбулу – была не была!

– Я позволю себе вначале несколько общих замечаний. Во-первых, план построен на статистических приемах. Но это не для того, чтобы внести хаос в процесс. Мы отдаем дань стохастической природе явлений, не забывая при этом, что, как сказал один известный философ, именно через случайность пробивает себе дорогу закономерность! Кроме того, как говорил великий Эйнштейн, бог не играет в кости.

Легкий перезвон вилок и ножей прекратился. Алекс перевел дыхание и продолжал:

– Хочу также подчеркнуть отличие этого проекта от типичных клинических испытаний: объектами эксперимента являются не пациенты, а врачи...

– Шутка? – спросил менеджер проекта. – Мы собираемся хорошо заплатить врачам за диагностику пациентов!

На мгновение Алекс растерялся – он не привык, что докладчика перебивают, в Союзе это было признаком невоспитанности, но здесь важно было не подать виду.

– Правильно, важно оценить объективно состояние каждого больного, но не это является ключевым вопросом нашего эксперимента. Главное, что мы должны установить, это – отличается ли оценка эксперта от оценки новичка, для чего мы применим парную статистику Стьюдента.

– Извините, при чем тут студенты? – встрял вице по науке. – Мы найдем дипломированных кардиологов...

– Нет-нет, я поясню: Стьюдент – это псевдоним великого британского статистика Уильяма Госсета!

Все заулыбались, и Алекс приступил к демонстрации слайдов. Несколько картинок смотрели, не прерывая его, – видно, слушателям было интересно, как он объяснял на пальцах циклические «петли» программы. Когда он дошел до генератора случайных чисел, вновь возник вопрос:

– То есть ты нам сейчас рассказал про русскую рулетку, – предположил менеджер, – не так ли?

– Ну если угодно, что-то типа того, только их две, чтение идет в парах, это как в фильме «Охотник на оленей» с Робертом Де Ниро.

– Крутой фильм! – воскликнул один из фирмачей, – смотрел его трижды!

В зале одобрительно загудели. Алекс добавил, что в алгоритм рандомизации введены ограничители, исключаящие тенденциозность в оценках, и привел пример. Больше вопросов не

было. Алекс вернулся на свое место. Нэйтан, незаметно пожав руку, плеснул ему в бокал «кьянти»: «Надеюсь, не против?» Да как же против – любимое вино старины Хэма! С заключительным словом выступил главный. Он поблагодарил докладчиков за великолепные выступления, продемонстрировавшие высокий профессионализм и глубину проработки задания. И добавил, кивнув в сторону Алекса:

– Меня приятно удивил доклад вашего русского математика! Вот, смотрите: раньше мы были врагами, а теперь, оказывается, можем плодотворно сотрудничать...

– Да, мы рады, – тут же ответил Нэйтан, – но лично Алекс никогда не был врагом Америки, он был диссидентом, критиковал Горби и поддержал Ельцина!

Господи, что он несет! Какие еще там мифические диссиденты?! Алекс, памятуя добрый совет Гарика, на работе о политике ни с кем никогда не беседовал, это считалось бы некорректным. По залу прошел легкий смешок, главный одобрительно хмыкнул и добавил:

– Тем более приятно! Итак, наш ланч постепенно переходит в ужин, тут вот принесли свежие закуски и десерт, и я предлагаю тост за наших гостей!

Потом, с подачи Нэйтана, выпили за успех проекта, пошли общие разговоры. Нэйтан переговорил о чем-то с главным в конце зала, и вернувшись, доел десерт. Участники стали постепенно расходиться, и Алекс, попрощавшись со своими, ушел к себе в номер. Только сейчас, когда напряжение спало, он почувствовал, что выжат, как лимон. На столе мигал красной лампочкой телефон – это было сообщение от Гарика: «Позвони, когда вернешься».

– Ну, как прошло? Отстрелялся? Душа все еще в пятках?

– Полный порядок! И отстрелялся, и поел, и даже выпил. Твоего любимого «божол» не было, зато «кьянти» было шикарное!

А о чем было говорить? Гарик знал о его первых годах в эмиграции, о безуспешных попытках найти работу, о том, как он ценил предыдущую, первую постоянную, на кафедре престижного колледжа, о страхе потерять ее, не преуспев на новой. Алекс взял себе за правило постоянно обновлять резюме – каждое новое удачно выполненное задание описывалось сжатой фразой в послужном списке. Американский опыт занимал все больше места в *curriculum*, бывший советский сокращался... Вот и сейчас он мысленно добавил к списку достижений новый параграф. Алекс уже засыпал, когда вдруг раздался телефонный звонок. Это был Нэйтан:

– Слушай, извини, я хотел сказать тебе, что ты прекрасно выступил, я только что сообщил об этом президенту, и он просил

передать тебе благодарность... Да, как насчет того, чтобы позавтракать вместе? Не возражаешь? Прекрасно, завтра в восемь встречаемся в ресторане. Спокойной ночи!

Утром за завтраком Нэйтан поинтересовался, на какого философа ссылался Алекс, когда говорил о случайности. Алекс слегка смешался:

- Плеханов, первый русский марксист, я читал его в оригинале, еще когда готовился к кандидатскому экзамену по философии. Без него не давали ученой степени. Тогда думал – это все впустую, но вот сейчас вдруг всплыло.

- Молодец! Звучало эффектно. И правильно, что не назвал автора. Кстати, надеюсь, тебя не обидели слова о врагах – у нас многие еще под влиянием холодной войны, помнят, как надо было в школах прятаться под парты во время Карибского кризиса. Но это не ксенофобия, говорю тебе как сын эмигрантов.

Нэйтан рассказал о родителях, польских евреях, чудом спасшихся во время Холокоста. Их семьи были расстреляны польскими партизанами, сами они попали в лагеря смерти, потом, после войны, в американский лагерь ди-пи, где спасались от польских погромов. Там встретились и поженились. В 50-м их впустили в Америку, и они сначала осели в еврейском квартале Нью-Йорка, где все говорили на идиш. Это был основной язык родившегося там мальчика Нэйтана. Только поступив в школу, он по-настоящему освоил английский.

- Было не просто, – на мгновение задумавшись, добавил Нэйтан, – но Америка прекрасная страна, мы приветствуем всех хороших парней, так что тебе повезло!

...Такси до аэропорта было последней услугой за счет фирмы. За дальнейшее пребывание в этом южном городе Алексу предстояло платить из своего кармана. В аэропорту он взял напрокат «тойоту короллу» и отправился в центр города. Еще утром зарезервировал номер в скромном мотеле «Красная крыша». Алекс впервые попал в гостиницу, где окна номеров выходили в общий коридор, а уж оттуда – во двор. Ничего, есть занавески, не барин, зато дешево. Если б только не запах куруева, оставшийся от прежнего постояльца. Ну да ладно... Он позвонил Лене и представился.

- Гарик звонил, я знаю. Где вы? В центре? Я заканчиваю в четыре. Ну вы, как нагуляетесь по городу, приезжайте к нам, часам к шести, как раз к шаббату.

Шаббат? Странно! Гарик ничего не говорил о религиозности

своей сослуживицы. Впрочем, может быть, это она шутя. Он вышел из гостиницы и пошел бродить по городу – любимое занятие с юных лет. Так когда-то мальчишкой исходил он центр Москвы, позднее, студентом, – Ленинград и прибалтийские столицы. Все они так или иначе отражали европейскую культуру. Здесь же, после похожих северо-восточных городов Америки, чувствовалась какая-то иная среда: неброская малоэтажная архитектура, приглушенные тона, полусонная провинция. Удивили памятники героям поверженных южан: вот, оказывается, что значит настоящая толерантность – уважение к бывшему противнику. Путеводитель с гордостью сообщал, что в этом городе начинали свою карьеру звезды рок-н-ролла, кантри музыки и блюза. Между прочим, как бы вскользь, упоминались события расовых стычек 60-х годов и движения за гражданские права черных. Алекс заглянул в сувенирную лавку, торгующую атрибутикой Среднего Запада – широкополыми шляпами, узорчато скроенными остроносыми сапожками и другими ковбойскими прибабасами. Купил кожаный брелок. Рядом как нельзя кстати оказался цветочный магазин.

В шесть вечера он уже стоял с букетом гвоздик на пороге двухэтажного домика, где жила Лена. Дверь открыла миловидная женщина лет сорока. Средний рост, вьющиеся каштановые волосы до плеч, скромное платье.

– Шура? Будем знакомы! Ох, цветы, мои любимые, – спасибо!

– Илья, сын, – представился в прихожей паренек лет восемнадцати, вежливо принимая у Алекса кожаную куртку. На макушке у него была едва заметная черная кипа. Н-даа... Видимо, и в самом деле предстоит шаббат. Лена предложила посмотреть дом, и они прошли сначала по первому этажу – гостиная, столовая, кухня – и потом заглянули на второй, где были две спальни. Колониальный дизайн, скорее всего – довоенная постройка. У нас такие называют «кейп-код», подумал Алекс. Американская мечта...

– Кладовок маловато, – пожаловалась Лена, – приходится держать сезонную одежду в бейсменте.

– Да, когда-то средний американец обходился парой костюмов, жили бедновато.

Между тем близился закат солнца, и надо было начинать шаббат. Лена зажгла свечи, стоявшие на уже убранном столе, а Илья, в роли главы семьи, произнес молитву. Затем следовало омовение рук – из специального серебряного сосуда, с произнесением короткой молитвы. Алекс внимательно следил за действиями Лены и ее сына, стараясь повторять все за ними. Об этих процедурах он знал только понаслышке: вырос в семье атеистов, где если кто и помнил, что и как

делается в субботу, – это бабушка и дедушка. Советская безбожная действительность допускала послабления разве что в виде мацы на пасху, которой Алекс хрустел, жуя как сухое печенье... Илья произнес еще одну молитву – над халой, и, разрезав ее, дал каждому по куску. Наконец началась трапеза. Были вкусные салаты и овощи и затем лосось, запеченный в духовке и называемый в Америке салманом.

– О!!! Салман Ружди! – обрадовался Алекс и в ответ на недоуменный взгляд Лены пояснил:

– Это моя шутка, у меня на нее копирайт: имя писателя, проклятого аятоллой Хомейни, – Салман, ну и рыба называется так же. Забавное совпадение!

Лена с Ильей переглянулись. Наверное, подумали, что сумасшедший. Алекс похвалил еду, от добавки отказался. Перешли в гостиную, Илья ушел к себе. Начали смотреть фотки общего друга Гарика, привезенные Алексом. Лена деликатно отметила, что он возмужал. Сидя рядом на диване и украдкой бросая взгляд на Лену, Алекс про себя подумал, что ось времени у всех направлена в одну сторону, хотя, скорее всего, Лена выглядит моложе своих лет.

– Мы с ним были знакомы шапочно, работали в одном отделе, – вспоминала Лена, – Гарик уже был старшим инженером, а я – еще молодым специалистом. Ну, пару раз встретились в общей компании, в Новый год и Восьмого марта. Меня вскоре увлекли эмигрантские идеи – тогда, в конце семидесятых, много писем приходило из Израиля и Штатов, хотелось вырваться на свободу. Мне удалось зажечь родителей, а вот муж и его родня встали на дыбы. Свекор был большим начальником: дача, машина, пайки, ну, сами понимаете. Кончилось все разводом, хорошо, что дали увезти сына. Он тогда маленький был. А мы выехали, как говорится, под занавес, в начале восьмидесятого.

– Значит: Вена, Ладисполи, Штаты?

– Да, у нас здесь, на Юге, были дальние родственники, они внесли деньги за гарант, госдеповские чиновники нас пожалели – все же с ребенком, так что отсидка в Италии была совсем недолгой.

Первые месяцы в Штатах можно было бы назвать порой открытий. Главное из них – осознание того, что никто здесь эмигрантов не ждал. Конечно, помогли краткосрочные курсы при Еврейском клубе – немного английского, немного про быт и, конечно, как искать работу. Вот с ней-то и было туго...

Пособия на жизнь не хватало, и Лена использовала любую возможность подработать: где-то уборкой жилья, где-то нянкой. Помогли родители, присматривавшие за Илюшей. Потом, когда,

отчаявшись от полного тупика, поплакалась ведущей в Джулке, та подсказала, как получить грант на образование, и посоветовала пойти на компьютерные курсы. Там она немного подучилась по базам данных и айбизмовским машинам. По совету той же ведущей стала посещать местную синагогу, и однажды рабай представил ее одному из прихожан, хозяину небольшой программистской конторы. Он-то и нанял ее на первую работу, десять долларов в час, неплохие деньги на старте в начале 80-х. С тех пор Лена не прерывала контактов с синагогой и постепенно втянулась в еврейские обычаи. Илюшу она отдала в обычную школу, но по воскресеньям он ходил в еврейский класс, так что теперь и язык знает, и молитвы, и обычаи. «Ну да, ксендзы охмуряли Адама, – вспомнил Алекс любимый роман, – сделал рабай мицву, заполучил заблудшую душу в свои сети и наставил на путь истинный».

О своих мытарствах в Америке Алекс решил не плакаться. Конечно, многое было бы иначе, если бы он приехал в начале 80-х, а не на десять лет позже, в период рецессии. Но это не от любви к совку – родители были невыездные, в диссидентских кругах таких называли «ящичковыми» евреями, то есть работавшими в секретных «почтовых ящиках». Оставить их, пожилых и больных, он не мог. Сказал только, что было трудно, но ни о чем не жалеет, тем более сейчас, с новой работой в престижной научной фирме. Бог и его не забыл, хотя в синагоге он был только один раз, во время начальных курсов.

– Знаете что, – а почему бы вам не составить мне компанию? – предложила Лена. – Сходим вместе на утреннюю службу в синагогу. Если, конечно, у вас нет других планов.

Алекс посмотрел ей в глаза, и ее взгляд понравился ему: вызов, предполагавший немедленный ответ. Такой вот путь к сердцу женщины – а почему бы и нет? Ведь красивая... и вообще.

– Да, конечно, тем более что хоть как-то восполню пробелы в воспитании. Надеюсь, как неофита, вы не осудите меня за езду на машине.

– Ну я-то что, главное – это чтобы бог... Хотите, постелю вам у нас здесь, на этом диване?

– О нет, спасибо, не стоит, лишние хлопоты, до отеля пятнадцать минут, а вы меня не выдадите...

Субботним утром Алекс проснулся пораньше и после некоторых сомнений все же решил надеть костюм, в котором выступал на митинге с заказчиком. По пути к Лене он заскочил в ресторанчик,

простенькую едальню, где заказал себе объемистый завтрак: омлет с помидорами, сыром и – эх, нарушать так нарушать! – ветчиной. Набор был стандартным, такой заказ обычно выполняется за десять минут, но прошло уже двадцать, и Алекс забеспокоился. Он подошел к барной стойке, у которой одиноко примостился местный мужик в широкополой шляпе, надвинутой на глаза, и вроде дремал. Алекс, извинившись, поинтересовался у бармена насчет омлета. Мужик повернулся к нему и сонным голосом спросил:

– Эй, парень, ты, наверное, из Нью-Йорка, не правда ли?

– Да, из тех мест, – Алекс сразу решил не включаться в разговор.

Тут принесли омлет, он наспех позавтракал, оставил чаевые на столе и расплатился в кассе. Уходя, услышал вдогонку от мужика у стойки:

– Куда спешишь, парень? Ох уж эти янки, всегда куда-то спешат!

Лена уже ждала его на крыльце. На ней было темное платье ниже колен и черная кружевная накидка на голове. До синагоги было десять минут ходу. Пока шли, Лена объяснила, что синагога не ортодоксальная, скорее консервативная – как по порядкам, так и по архитектуре: без привычного второго этажа для женщин; они уравниены с мужчинами, но сидят в отдельной секции. И в самом деле, зал скорее напоминал конференц-холл или большую университетскую аудиторию – с рядами, ступенчато поднимающимися от сцены с кафедрой до галерки. Вышел рабай и начал формальную часть – молитву. Алекс послушно переворачивал страницы молитвенника, следуя указаниям рабая, но смысл прочитанного как-то не доходил. Нет, ну это абсурд, как это – с одного захода вдруг из атеиста превратиться в верующего?! Между тем молитва закончилась, и рабай перешел к проповеди. По сути, это была речь о международном положении. Разумеется, под еврейским углом зрения. Он напомнил о приближающейся годовщине покушения на Ицхака Рабина, затем, обобщая тему терроризма, перешел к ситуации в Югославии и миротворческой миссии США на Балканах и даже упомянул Чеченскую войну, заметив, между прочим, что в зале присутствуют беженцы из бывшего Советского Союза. И, наконец, сменив тональность на более оптимистичную, рабай уделил несколько минут предстоящим выборам Президента США, подчеркнув, что все три кандидата – достойные граждане, и в конечном счете победит демократия.

После окончания службы Алекс встретился с Леной в вестибюле синагоги, где она беседовала с пожилой парой американцев. Она познакомилась с ними Алекса, представив его как соотечественника, из того же Киева. Закруглившись общими фразами о хорошей речи

рабая и не менее хорошей мягкой осенней погоде, американцы распрощались. На обратном пути Лена поинтересовалась о впечатлениях. Что ж, было интересно. Наверное, современная архитектура и проповедь на современные темы должны привлекать людей. Лена предложила зайти к родителям, до их билдинга тоже было недалеко. Дом родителей Лены, где у них была односпальная квартира, напоминал жилье его стариков – комфортабельный, многоэтажный, тоже на попечении местной Еврейской Федерации и с доплатой от государства. Родители сразу понравились Алексу. С ее отцом, работавшим в прошлой жизни в академическом институте, у него оказались общие знакомые. Алекс в двух словах описал свой новый проект, и Борис Самойлович быстро ухватил суть: «Мы в физических опытах тоже применяли рандомизацию». Съев по кошерному бутерброду, сохранявшему тепло в специальном термосе со вчерашнего вечера – готовить-то нельзя! – они вышли погулять в парке вокруг дома. На дворе было теплое индейское лето. Они шли парами: Алекс с отцом впереди, Лена с мамой – за ними. С научных тем перешли к общим, житейским. Алекс рассказал о своей любви к путешествиям, новым городам, музеям. Признался, что религиозные дела прошли как-то мимо. Борис Самойлович, оторвавшись достаточно далеко от женщин, рассказал, как это проходило у них. Для его поколения, возвращенного на атеизме, возрождение еврейской традиции было в Союзе скорее формой протеста против антисемитизма. Но здесь, на свободе, свести все ее возможности к религии, окунуться в это, – он снизил тон, – мракобесие, да еще задурить голову Илюшке, – нет, это было непросто. Но! Смирились. Теперь это еще и принадлежность к местной комьюнити – все же нельзя жить вне общества. Алекс согласился: в конце концов, это лучше, чем марксизм-ленинизм.

– Так, значит, вы любите путешествия? – спросила Лена, когда они снова сидели в ее доме, и он понял этот полувопрос как предложение побольше раскрыться.

– Ну, еще я люблю книги, кино, посиделки с друзьями... Гарик, наверное, рассказывал о нашей компании. Но, да, конечно, путешествия, при любой возможности, это еще с детских лет, когда родители брали с собой в командировки и в отпуск. Впрочем, здесь не совсем так, есть у меня для этого эмигрантского варианта свое определение: «эффект Ниагарского водопада». Ездил я недавно с русской тургруппой в Канаду – Торонто, Оттава, острова и, наконец, Ниагара. Посмотрел я на водопад и подумал: вроде меньше нашего Днепрогэса. В Запорожье я был подростком, со школьной экскурсией. А водопад долгими невыездными годами представлялся мне чем-то фантастически гигантским – так работало воображение.

А теперь, когда уже дорвался до чуда, оно оказалось существенно скромнее. То есть, не то что не впечатлило – огромность ощущалась, особенно когда приплыли на катерке близко, и все грохотало и бурлило, – но все-таки как-то слегка девальвировано.

– Эта девальвация у вас только на достопримечательности? – она улыбнулась.

– Знаете, кто-то из здешних наших писателей, не помню кто, сказал, что эмиграция – это репетиция собственной смерти. За первые два года безработицы я остался не только без подруги дней моих суровых, но и растерял почти всех старых знакомых. Вы же сами знаете, насколько важен статус для новых иммигрантов. Люди перегруппировались, но я никого не виню, только констатирую, так сказать. Наш с вами общий друг Гарик оказался единственным, кто поддерживал со мной контакт, хотя в Киеве был одним из многих шапочных знакомых. Впрочем, появились новые, такие же шлимазлы, как и я, не бродяги, не пропойцы. И еще, на удивление, волонтеры – как американцы, так и наши, кто уже устроился и готов был чем-то помочь. Один из них, наш земляк, по-прежнему звонит, конструктор, когда-то быстро нашел работу, а со мной познакомился в местном Бней-Брите. С интересом выслушивает байки о моих служебных перипетиях. Это важно, когда есть кому выговориться.

– Ну, вы, наверное, хотели бы такого и от жены. А все ли к этому готовы?

– Вот в чем вопрос!

Интересно, куда пойдет разговор? Не пора ли просто перейти к уровню тестостерона? Что держит эту женщину на плаву – неужели только судьба сына? Впрочем, о своей личной жизни она не стала бы распространяться, а Гарик ничего толком не рассказал. Самым нелепым сейчас было бы что-то форсировать. Он незаметно свернул на кино и книги. Оказалось, что Лена читает в основном по-английски, а он предпочитает русских – английского ему с избытком хватает в документации и общении с коллегами. Сошлись в оценке Спилберга – эстетикой своих фильмов очень напоминает советское кино. Оказалось, что оба ценят Мерил Стрип.

– Наверное, это ваш тип женщины, – она улыбнулась.

– Нет, скорее Элизабет Макговерн, ну та, что в «Рэгтайме» и «Однажды в Америке». Кстати, вы похожи. Вам не говорили? – оба рассмеялись. – Она сыграла недавно в одной из новелл «Истории соблазнений».

– Не видела, но звучит многообещающе, – она слегка покраснела.

– Но живем-то, говорю, не на облаке, – он почувствовал, что они

возвращаются на скользкую почву.

– Конечно, и это, но должно ведь быть что-то еще. Там, в стране советов, учили, что куда иголочка, туда и ниточка. Но как много все-таки порвалось, а здесь и вовсе не разберешь, кто за кем.

– Да и мне не безразлично, кто оказался на соседней подушке поздней ночью.

Возникла пауза. Она спохватилась, что начинается заход солнца, скоро конец шавбата, и позвала Илюшу. Они перешли в столовую. Смеркалось. Сын произнес молитву, и надо было зажечь специальную свечу, символизирующую переход к будням. Подпалив кусок газеты от уже горевшей свечи, он попытался одним движением перенести огонь, но не рассчитал, вызвав небольшой переполох. Алекс ловко погасил остаток бумаги, плеснув на него водой из стакана. После ужина он заторопился, ссылаясь на ранний вылет и не собранный чемодан. Лена вышла с ним на крыльцо.

– Спасибо за все! И знаете – прилетайте к нам, в первую столицу, я хорошо знаю даунтаун, покажу вам главные достопримечательности. Договорились?

– Я подумаю. Вот вы, когда прилетите в Филадельфию, позвоните мне, чтобы я не волновалась, а я вам тогда отвечу. Но – спасибо за приглашение, энвивэй. И счастливого полета.

Проезжая по вечернему городу, по дороге в мотель, он вспомнил о причудливом зажигании свечи. Не затем ли, что не было уверенности во времени окончания шавбата? Что-то в этом роде, о первых трех звездах, он слышал когда-то от деда. А может, просто кончились спички? Зайдя в мотель, Алекс поинтересовался у дежурной, есть ли у них побудка по телефону – удобный сервис, не надо возить с собой будильник. Женщина слегка удивилась, но подтвердила, что да, конечно, вэйк-ап-колл в четыре утра – не проблема, этот сервис круглосуточно и бесплатно. Укладывая вещи в чемодан, он снова вспомнил о Лене. Весь этот уикэнд показался ему каким-то странным отклонением от привычного хода вещей, сложившегося в прошедшие годы эмиграции и подчиненного одной цели – всплытию из безработного небытия. Он быстро заснул. Телефонный звонок разбудил его, он снял трубку и поблагодарил.

– Секундочку, – сказал хриловатый женский голос, – какого цвета?

– О чем вы? – Алекс протер глаза, зажег лампу и посмотрел на часы. Было три часа ночи.

– Вы же заказывали колл-герл, я и спрашиваю, какую вам: типа, белую, черную, латину?

- Что за бред! Какие еще девушки?! Да, я заказывал, но не колл-герл, а вэйк-ап-колл, и не в три, а в четыре!
- Секундочку, это семнадцатый номер?
- Черт, - нет! Двадцать седьмой!
- Ох, наши извинения, мы напортачили, сделаем вэйк-ап-колл через час.

Он с досадой бросил трубку на аппарат, снова лег и погасил свет. Но сон не шел. Идиоты! Надо же так напутать! И вообще, это мотель или бордель?! Он немного поваялся на кровати и решил, что лучше потратить это время на что-то полезное – побриться.

На дворе было по-осеннему прохладно. Алекс быстро нырнул в машину и завел двигатель. Через пять минут он уже выруливал на хайвей, ведущий в аэропорт. Шоссе в этот ранний час было еще пустое. Волны от одиночных авто, пролетавших мимо, казалось, передавали позывные сигналы НЛО. Он припарковался на обочине и вышел. Светало и гасли звезды. В оба конца простиралась трасса, казавшаяся бесконечной. Она началась когда-то, много лет назад, на другом континенте, вынырнула здесь, в этом огромном нигде, и теперь главное – не соскользнуть. Он сел в машину и, вписавшись в трафик, быстро добрался до аэропорта. Возврат арендованной «короллы» занял несколько минут. Зарегистрировавшись и сдав чемодан, он позавтракал в кафе куском пиццы с крепким кофе, купил в киоске свежую *“USA Today”*. Уже сидя в самолете, заглянул в раздел предвыборной гонки. Клинтон лидировал с солидным отрывом в десять пунктов. Что ж, молодым везде у нас дорога, да и рецессия позади, значит – справедливо. Самолет стронулся со стоянки, стюардесса попросила пристегнуть ремни.

Ньютаун, 2019



Бен-Эф (Еся Коган) – родился и всю жизнь прожил в Москве, пока в 1992 году не переехал в Штаты. По образованию математик, кончил мехмат МГУ и позже защитил кандидатскую диссертацию. Приехав в Нью-Йорк, читал вводные курсы лекций по статистике в Курантовском институте, потом работал в Чикагском и Иллинойском университетах, а затем – статистиком в фармацевтических компаниях. Участвовал в пяти сборниках «Страницы Миллбурнского клуба».

Стирая грани

Сотрем все грани

Новым и старым строителям социализма

Сотрем все грани
В пустом стакане
С тобой в предбаннике
Социализма,
Чтоб стал он шаром,
Верней, цилиндром,
Почти как клизма
Со скипидаром –
Нашим поллитром.

Путем огранки
Сотрем все граньки
Мы в той же баньке
У Миньки с Манькой,
У Дуньки с Данькой –
Новых строителей социализма,
Сверху до низа
Подчистив гранки их ДНК,
Чтоб стали квирами они слегка
Под радужным флагом,
Трансгендерным трахом
Вспорхнув в небеса
Бесами,
Беспольными мэнэсами.

Под тем же углом
Молотом и серпом
Между городом и селом
Самые старые скосим трения
Между градом престольным и деревней,
Вспотев от прений,
Соц-ком-зрения,
Как завещал нам дедушка Ленин!

Сотрем все грани и спилим углы,
 Робомобилям дорогу ослы
 Уступят вслед за козлами,
 Равенства став послами
 Или послицами
 С новыми лицами
 Беззаботными,
 Севшими в беспилотные
 Лайнеры солнечно-электрические,
 Политкорректно – экологические,
 Бесплатные социалистические!

Между Эйнштейном и роботом Ваней –
 Смартфоном с искусственным интеллектом –
 Нейронные сети сотрут все грани
 Не этой зимой, так будущим летом,
 Скорейшим спуском по градиенту
 Распознающие речь.
 Всем под него нам захочется лечь,
 Чтоб родились дети
 Сквозь перцептронные сети
 С обратной связью,
 Смазанные соцмазью –
 Чтоб больше их не мучить
 Учить читать и считать,
 Ручку в руках держать
 И даже стрелять,
 Как завещал наш дуче.

Все сделает за них
 Робот Ваня,
 Выйдя из бани,
 Поскрипывая скрытыми
 Марковскими цепями –
 Музыкаю социализма *for dummy*,
 Трубочкой сталинскую пых-пых.

Чтобы кухарка Дуня
 Закон принимала в Думе,
 Управляла бы государством,
 Как бартендерша Окасио –
 Такая вот оказия! –
 В Штатах, как в русском царстве.
 Сотрем все грани,
 Приняв 100 граммов!
 Все сделаем колхозным,
 Все сделаем ничьим,
 Как туалеты – общими
 Для счастья всеобщего,
 Всем доступного,
 Гендер-нейтрального
 И совокупного.

Ну а главное –
 Чтобы славная
 Между правдой и кривдой грань
 Стала б мертвою
 Гранью стертою
 В коммунизма просрачную рань.

Смешаем Правду с Ложью,
 Перемешав Информацию с Дезинформацией
 Еврейской либеральной ложкой,
 Приправив Диффамацией
 В бульоне CNN and MSNBC –
 Si!

* * *

Соловковые совки,
 До чего ж вы далеки –
 Кольма придет в Аляску
 Новой ленинскою сказкой?!

НИИ «Совок» **(Совковая ода)**

I

Мы свято верили в Науку –
 Нас подкузьмила эта «скука»,
 Служанка наша коммунизма
 Нам вставила Чернобыльскую клизму.

Наш академик Доллежалъ,
 Под кем в ЦК ты там лежал,
 Наш мирный атом
 С крепким задом?

Из Академии наук
 Наш пролетарский Князь Дундук:
 Всем ликвидаторам был друг,
 Регалий саркофаг-сундук.

II

Ты Маркса для чего долбил,
 Зачем на Ленина молился?
 Совок ученый наш почил
 И женским органом накрылся.

О, женский орган, самый главный,
 Ответь, где наш Совочек славный?!
 Воспетый в песнях и поэмах,
 И в операх, и... в теоремах
 Передоказан сотню раз:
 Кем ночью спущен в унитаз?

Куда ты улетел от нас?
 На Марс?
 За Стрелкой с Белкою, наверно.
 Растаял где ты, эфемерный,
 Где вместе с ними ты сгорел,
 Свой не окончивший отстрел?!

III

Наскрозь научный и усатый,
 На уравнения разъятый,
 Куда сокрылся ты, наш Свет,
 Ученый, где же твой Совет?

Десятки тысяч диссертаций,
 Не избежавшие кастраций,
 АСУ «СоСу», НИИ «Ни-Ни» –
 Соревнований маяки,
 От дел отделы далеки,
 Все заседания полны

Парткомов, местных комитетов,
 Ученых – старых сундуков,
 Набитых хламом дундуков,
 Архинаучных импотентов

Бесчисленные институты,
 Их академики – все тута,
 Все доктора и кандидаты –
 Они нас обманули, гады:

Сибирских переброской рек
 Свой не сумели кончить век.

IV

Ученый главный в мавзолее
 Огурчиком лежит в елее,
 С Ученыем – не было сильнее!
 Над нами флагами алеет,
 Под нами нет его живее –
 С политнаукой беспощадной,
 С ЧК, Гулагом кровожадным.
 И Сталин рядышком в аллее,
 За ним Кремлевская стена,
 Героев пламенных полна.
 В том колумбарии Совок
 С генсиками...

Спаси нас Б-г!

V

Совковая пальма дознаний
 В лубяньских подвалах зла
 От вырванных с кровью признаний
 И троек расстрельных цвела.

Познания деревце совковое,
 За протоколом протокол,
 Расстрелов яблочко Цэковое
 Сорвал...

и смерть себе нашел.

С 1/2 на 1/4

Пожелтела наука,
Посинела любовь,
Голубая порука,
Получерная кровь.

Половинка да четверть,
Полурусский язык,
Синагога как церковь
– Ко всему ты привык?

То ли чет, то ли нечет,
Между ними мечеть.
– Дождик радугой лечит?
Милу-другу ответь.

Черная цифирь

*Chapin Hall,**
где я считал бездомных,
беспризорных деточек считал.
подавившись цифирью огромной,
мой десктоп железный зарыдал.

Шоколадных, в крапинку и прочих
проводами, дисками обнял
брошенных младенчиков полночных –
никому ни дочки, ни сыночки –
постсовковой глухой чикагской ночью
жизней перечеркнутых подстрочник
в электронной памяти смешал.

Как им всем безмозглою цифирью,
мертвыми отчетами помочь?
подавившись электронной пылью,
программист-статистик обесточь.

Из детдомов, из приютов в тюрьмы
черною цифирью потекут.
Всей ученою профессорскою дурью
диссеры программы не спасут.

**Chapin Hall Center for Children* – Центр для детей при Чикагском
Университете.

Собачий нос

Собачий нос все чует, гном,
Он чует рак и мрак,
Погоду чует за окном,
Не то что ты, дурак.

Хоть он медвузов не кончал,
Не потрошил жмуров,
Журналов сроду не читал
Для вумных докторов.

Он в телик твой не тычет нос,
Отстал от новостей,
Совсем дремучий этот пес
Всех CNN умней.

Детский психолог

Памяти Ани П-н

Профессорша, старая дева,
Сиротство еврейской Москвы,
Мы с ней не ходили налево,
Сидели, молчали на «Вы».

Нет, нет... мы не целовались,
Не говоря о другом.
Ни строчкой не срифмовались
Той осенью с синим чулком.

Тревожности детской темница,
Решетка трехсот статей,
За нею заложница-птица –
Ни птенчиков, ни детей.

Кривой пирожок не поднялся,
На разных диванах сидим.
Чай теплый... Никто не прижался
До смерти, до самых седин.

Реки деревьев

Фрактальные руки деревьев,
Как реки, текущие в синь,
Апрелю непараллельные,
Попробуй из неба их вынь.

Фрактальные реки деревьев
В небесный бегут океан,
В апреле холодном и ветреном
Ручьями звенят без лекал.

Фрактальные кроны и корни,
Текущие из-под земли,
И рифмы, и ритмы горные,
Грачей и скворцов словари.

Мечтою непараллельною
Из сучьев плетя решето,
Фрактальные ветви деревьев,
Как пальцы, уходят в ничто,

Как галки, зиму пережившие,
У Господа просят тепла,
Замерзшие, лето забывшие,
Дрожат на ветру без числа.

В апреле холодном и ветреном
 Ветвями уходят в ничто.
 В ладонях у этих деревьев
 Пустое зажато гнездо.

Сквозь ветра потоки спиральные
 Размерностью дробной дрожа,
 В миры убегая астральные
 Фрактальной песней чижа,

Суставы ветвей угловатые,
 Корявые локти торчат.
 Без листьев в апреле пархатые
 Еврейские кловы скворчат.

Фрактальный порядок – мой хаос,
 Деревьев прозрачная вязь,
 Пустое гнездо – птичий хауз
 И с родиной старою связь.

На день Бастилии

Не нарушай идиллию:
 штурмуй его Бастилию!

Пусть вы с ним не французишки
 и заржавели ружьешки,
 кремнем их с ним прочисть,
 а заодно и честь,
 если такая есть,
 осталась в наличии, –
 ты вместе с ним отбличь ее,
 на праздник простирни,
 под зад свой подстели,
 войдя к нему в загашник
 Эйфелевой башней,
 включив огни
 на Елисейском поле,
 как вас учили в школе:

за Равенство и Братство
 ложитесь с ним сражаться
 и за Свободу:
 Пли!

* * *

Что такое, скажите мне, – старость?
 ...Ничего своего не осталось:
 Не своими зубами жую,
 Не своими ногами хожу,
 Не своим... этим самым... люблю.

Но тебя все равно обнимаю,
 Этот воздух последний глотаю,
 Сколько там мне осталось, не знаю
 (Даже думать о том не хочу).

Поцелую – прижмусь – закричу!
 Полечу я по белому свету,
 На котором меня уже нету.

*Smart Museum**

Картины смотрят на меня,
 а я – на них.
 За 70, где взять огня,
 чтоб загорелся стих?

Висеть картиной на стене,
 забытою в пыли...
 Не говори мне только: «Не...»,
 на Эверест не шли.

Что на картине той: портрет,
 а может быть, пейзаж?
 Не говори мне только: «Нет!» –
 тот натюрморт не наш.

Картину трогать мне нельзя
 ни пальцем, ни губой...
 У ней ведь тоже есть глаза,
 вдруг спросит: «Ты живой?»

Потянется ко мне рукой,
 в простенке оживет,
 пусть век совсем уже другой,
 в музее все не в счет.

Пока еще я не портрет,
 не прогоняй меня.
 Не говори мне только: «Нет!» –
 не нарисован я.

* *Smart Museum* – на кампусе Чикагского университета.

